prose_contemporary

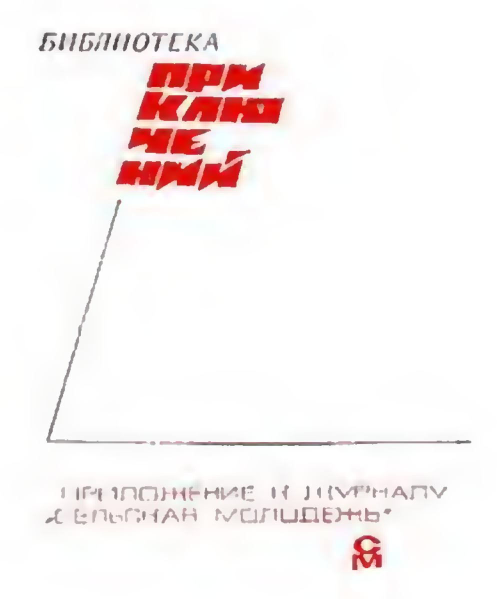
Журнал

«Подвиг» 1968 № 02

Борцам против фашизма

посвящается

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Мы полны решимости… стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира.
Из Заявления Глав Правительств США, Советского Союза и Великобритании на Ялтинской конференции в феврале 1045 года.
Уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду.
Из Потсдамского соглашения 1045 года.
…В Западной Германии создана самая благоприятная среда для деятельности нацистских организаций и группировок, для возрождения идеологии милитаризма и реваншизма, для формирования агрессивных внешнеполитических и военных доктрин.
Сегодня народы поставлены перед новым фактом) на политическую и государственную арену ФРГ вышла национал-демократическая партия — прямая наследница гитлеровской национал-социалистической партии.
Чего добивается национал-демократическая партия ФРГ? Прежде всего — открыто выдвигается требование перестройки границ европейских государств, Захвата территорий других государств. Австрийская нация объявляется «искусственным изобретением». Неонацисты замахиваются на Северную Италию (Южный Тироль), на все территории, где мало-мальски звучит немецкая речь.
Из Заявления Советского правительства правительству США от 8 декабря 1067 года.



ru

FictionBook Editor Release 2.6
23 March 2012
3FDA59DC-C29A-42B2-959A-C1A81AF4124C
1.0

Ю.Фучик. Репортаж с петлей на шее



В концентрационном лагере в Равенсбрюке я узнала от товарищей по заключению, что мой муж, Юлиус Фучик, редактор «Руде право» и «Творбы», 25 августа 1943 года был приговорен к смертной казни нацистским судом в Берлине.
На вопросы о его дальнейшей судьбе высокие стены лагеря мне отвечали молчанием.
В мае 1945 года, после поражения гитлеровской Германии, из ее тюрем и концентрационных лагерей вышли на полю заключенные, которых фашисты не успели замучить или убить. В числе дождавшихся свободы была и я.
Я вернулась на освобожденную родину и тотчас же стала наводить справки о муже, подобно сотням тысяч других, которые разыскивали и еще продолжают разыскивать своих мужей, жен, детей, отцов, матерей, томившихся в бесчисленных застенках немецко-фашистских оккупантов.
Я узнала, что через две недели после приговора, 8 сентября 1943 года, Юлиус Фучик был казнен в Берлине.
Я узнала также, что Юлиус Фучик писал, когда сидел в Панкраце. Эту возможность дал ему надзиратель А.Колинский, приносивший в камеру бумагу и карандаш, а затем тайком выносивший исписанные листки из тюрьмы.
Я встретилась с этим надзирателем. Постепенно я собрала тюремные записки Юлиуса Фучика. Перенумерованные страницы, которые были спрятаны в разных местах и у разных людей, я привела в порядок и теперь предлагаю вниманию читателей. Это последняя книга Юлиуса Фучика.

Густа Фучикова. Прага, сентябрь 1945 г.

Написано в тюрьме гестапо

в Панкраце весной 1943 года

Сидеть навытяжку, прижав руки к коленям и уставив неподвижный взгляд в пожелтевшую стену комнаты для подследственных во дворце Печека, — это далеко не самая удобная поза для размышлений. Но можно ли заставить мысль сидеть навытяжку?
Кто-то, когда-то — теперь уж, пожалуй, и не узнать когда и кто именно — назвал комнату для подследственных во дворце Печека «кинотеатром». Здорово придумано! Просторное помещение, длинные скамьи в шесть рядов, па скамьях неподвижные фигуры людей, перед ними голая стена, похожая на экран. Все киностудии мира не накрутили столько фильмов, сколько их спроецировали на эту стену глаза людей, ожидавших нового допроса, новых мучений, смерти. Целые биографии и мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене, о детях, о разоренном очаге, о погибшей жизни, фильмы о мужественном товарище и о предательстве, о том, кому я передал последнюю листовку, о крови, которая прольется снова, о крепком рукопожатии, которое обязывает, фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, сомнения и надежды. Оставив жизнь позади, каждый здесь ежедневно умирает у себя на глазах, но не каждый рождается вновь.
Сотни раз видел я здесь фильм о себе, тысячи его деталей, теперь попробую рассказать о нем. Если же палач затянет петлю раньше, чем я закончу рассказ, останутся миллионы людей, которые допишут happy end.

Глава I. Двадцать четыре часа

Без пяти десять. Чудесный теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года.
Я тороплюсь, насколько это возможно для почтенного, прихрамывающего господина, которого я изображаю, — тороплюсь, чтобы поспеть к Елинекам до того, как запрут подъезд на ночь. Там ждет меня мой «адъютант» Мирек. Я знаю, что на jtot раз он не сообщит мне ничего важного, мне ему тоже нечего сказать, но не прийти на условленное свидание — значит вызвать переполох, а главное, мне не хочется доставлять напрасного беспокойства двум добрым душам, хозяевам квартиры
Мне радушно предлагают чашку чаю. Мирек давно меня дожидается, а с ним и супруги Фрид. Опять неосторожность.
— Товарищи, рад вас видеть, но не так, не всех сразу. Это прямая порога в тюрьму и на смерть. Или соблюдайте правила конспирации, или бросайте работу, иначе вы подвергаете опасности и себя и других. Поняли?
— Поняли.
— Что вы мне принесли?
— Майский номер «Руде право».
— Отлично. У тебя что, Мирек?
— Да ничего нового. Работа идет хорошо…
— Ладно. Все. Увидимся после Первого мая. Я дам знать. И до свидания!
— Еще чашечку чаю?
— Нет, нет, пани Елинкова, нас здесь слишком много.
— Ну, одну чашечку, прошу вас.
Из чашки с горячим чаем поднимается пар.
Кто-то звонит.
Сейчас, ночью? Кто бы это мог быть?
Гости не из терпеливых. Колотят в дверь.
— Откройте! Полиция!
— К окнам, скорее! Спасайтесь! У меня револьвер, я прикрою ваше бегство…
Поздно! Под окнами гестаповцы, они целятся из револьверов в комнату. Через сорванную с петель входную дверь гестаповцы врываются в кухню, потом в комнату. Один, два, три… девять человек. Они не видят меня, я стою в углу за распахнутой дверью, у них за спиной. Могу отсюда стрелять беспрепятственно. Но девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду

стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, час будут мучить. От меня ничего не добьются, а от Мирека? Человек, который сражался в Испании, два года пробыл в концентрационном лагере во Франции и во время войны нелегально пробрался оттуда в Прагу, — нет, такой не подведет. У меня две секунды на размышление. Или, может быть, три?
Мой выстрел ничего не спасет, я лишь избавлюсь от пыток, но зато напрасно пожертвую жизнью четырех товарищей. Так? Да. Решено.
Я выхожу из укрытия.
— А-а, еще один!
Удар по лицу. Таким ударом можно уложить на месте.

— Hдnde auf!
[1]

Второй удар. Третий.
Так я себе это и представлял.
Образцово прибранная квартира превращается в груду перевернутой мебели и осколков.
Снова бьют кулаками, ногами.
— Марш!
Вталкивают в машину. На меня все время направлены револьверы. По дороге начинается допрос.
— Ты кто такой?
— Учитель Горак.
— Врешь!
Я пожимаю плечами.
— Сиди смирно или застрелю!
— Стреляйте!
Вместо выстрела удар кулаком.
Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется, что вагон разукрашен белыми гирляндами.
Свадебный трамвай сейчас, ночью? Должно быть, у меня начинается бред.
Дворец Печека. Не думал я, что когда-нибудь попаду в него живым. Почти бегом на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел II-AI по борьбе с коммунистами. Пожалуй, это даже любопытно.
Долговязый, тощий гестаповец, руководивший налетом, прячет револьвер в карман и ведет меня в свой кабинет. Угощает сигаретой.
— Ты кто?
— Учитель Горак.
— Врешь!
Часы на его руке показывают одиннадцать.
— Обыскать!
Начинается обыск. С меня срывают одежду.
— У него есть удостоверение личности.
— На чье имя?
— Учителя Горака.
— Проверить!
Телефонный звонок.
— Ну, конечно, не прописан. Удостоверение фальшивое. Кто тебе выдал его?
— Полицейское управление.
Удар палкой. Другой. Третий. Вести счет? Едва ли тебе, брат, когда-нибудь понадобится эта статистика.
— Фамилия? Говори! Адрес? Говори! С кем встречался? Говори! Явки? Говори! Говори! Говори! Заколотим насмерть!
Сколько примерно ударов может выдержать здоровый человек?
По радио сигнал полуночи. Кафе закрываются, последние посетители расходятся по домам, влюбленные медлят у ворот и никак не могут расстаться. Долговязый, тощий гестаповец, весело улыбаясь, входит в помещение.

— Все в порядке… господин редактор?
Кто им сказал? Елинеки? Фриды? Но ведь они даже не знают моей фамилии.
— Видишь, нам все известно. Говори! Будь благоразумен.
Оригинальный словарь. Быть благоразумным — значит изменить
Я неблагоразумен.
— Связать его! И покажите ему!
Час. Тащатся последние трамваи, улицы опустели, радио желает спокойной ночи своим самым усердным слушателям.
— Кто еще, кроме тебя, в Центральном Комитете? Где ваши радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!
Теперь я могу более хладнокровно считать удары. Болят только искусанные губы, больше ничего я уже не ощущаю.
— Разуть его!
В ступнях боль еще не притупилась. Это я чувствую. Пять, шесть, семь… кажется, что палка пропихает до самого мозга.
Два часа. Прага спит, разве только где-нибудь во сне заплачет ребенок и муж приласкает жену.
— Говори! Говори!
Провожу языком по деснам, пытаюсь сосчитать, сколько зубов выбито. Никак не удается. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать? Нет, это меня «допрашивает» столько гестаповцев. Некоторые, очевидно, уже устали. А смерть все еще медлит.
Три часа. С окраин в город пробирается утро. Зеленщики тянутся на рынки, дворники выходят подметать улицы. Видно, мне суждено пролить еще один день. Приводят мою жену.
— Вы его знаете?
Глотаю кровь, чтобы она не видела… Собственно, это бесполезно, потому что кровь всюду, течет по лицу, каплет даже с кончиков пальцев.
— Вы его знаете?
— Нет, не знаю!
Сказала и даже взглядом не выдала ужаса. Милая! Сдержала слово ни при каких обстоятельствах не узнавать меня, хотя теперь уже в этом мало смысла. Кто же все-таки выдал меня?
Ее увели. Я простился с иен самым веселым взглядом, на какой только был способен. Вероятно, он был вовсе не весел. Не знаю.
Четыре часа. Светает? Или еще нет? Затемненные окна не отвечают. А смерть все еще не приходит. Ускорить ее? Но как?
Я кого-то ударил и свалился на пол. Меня бьют ногами. Топчут мое тело. Да, так, теперь все кончится быстро. Черный гестаповец хватает меня за бороду и самодовольно усмехается, показывая клок вырванных волос. Это действительно смешно. И боли я уже не чувствую никакой.
Пять часов, шесть, семь, десять, полдень, рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, дома готовят обед, вероятно, мама сейчас вспомнила обо мне, товарищи, может быть, уже знают о моем аресте и принимают меры предосторожности… на случай, если я заговорю… Нет, не бойтесь, не выдам, поверьте! И конец ведь уже близок. Все как во сне, в тяжелом, лихорадочном сне. Сыплются удары, потом на меня льется вода, потом снова удары, и снова: «Говори, говори, говори!» А я все еще никак не могу умереть. Отец, мать, зачем вы родили меня таким сильным?
День кончается. Пять часов. Все уже устали Бьют теперь изредка, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг издалека, из какой-то бесконечной дали звучит тихий, ласкающий голос:

— Er har schon genug!
[2]

И вот я сижу, мне кажется, что стол передо мной раскачивается, кто-то дает пить, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах удержать, кто-то пробует натянуть мне па ноги

башмаки и говорит, что они не налезают, потом меня наполовину ведут, наполовину несут по лестнице вниз к автомобилю; мы едем, кто то опять наводит на меня револьвер, мне смешно, мы опять проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая, увитого гирляндами белых цветов, но, вероятно, все это только сон, только лихорадочный бред, агония или, может быть, сама смерть. Ведь умирать все-таки тяжело, а я уже не чувствую никакой тяжести, вообще ничего; такая легкость, как у одуванчика; еще один вздох — и конец. Конец? Нет, еще не конец, все еще нет. Я снова стою, да, да, стою, один, без посторонней помощи, и прямо передо мной грязная желтая стена, обрызганная — чем? — кажется, кровью… да, это кровь, я поднимаю руку, пробую размазать кровь пальцем… получается… ну да, кровь, свежая, моя.
Кто-то бьет меня сзади по голове и приказывает поднять руки и приседать; на третьем приседании я падаю…
Долговязый эсэсовец стоит надо мной и старается поднять меня пинками; напрасный труд; кто-то опять обливает меня водой, я опять сижу, какая-то женщина подает мне лекарство и спрашивает, что у меня болит, и тут мне кажется, что вся боль у меня в сердце.
— У тебя нет сердца, — говорит долговязый эсэсовец.
— Ну, положим, есть! — отвечаю я и чувствую внезапную гордость оттого, что у меня еще есть достаточно сил, чтобы заступиться за свое сердце.
И снова все исчезает и стена, и женщина с лекарством, и долговязый эсэсовец…
Теперь передо мной открытая дверь в камеру. Толстый эсэсовец волочит меня внутрь, стаскивает с меня лохмотья рубашки, кладет на соломенный тюфяк, ощупывает мое опухшее тело и приказывает приложить компрессы.
— Посмотри-ка, — говорит он другому и качает головой, — ну и мастера отделывать!
И снова издалека, из какой-то бесконечной дали, я слышу тихий, ласкающий голос, несущий мне облегчение
— До утра не доживет.
Без пяти минут десять. Чудесный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года.

Глава II. Агония

Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть…
Два человека со сложенными для молитвы руками тяжелой, медленной поступью ходят под белыми сводами склепа и протяжными, нестройными голосами поют грустную церковную песнь:
…Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть.
Туда, где мрака ночи нет.
Нас призовет господь…
Кто-то умер. Кто? Я стараюсь повернуть голову… Увижу, наверное, гроб с покойником и две свечи у изголовья.
Туда, где мрака ночи нет.
Нас призовет господь
Мне удалось поднять глаза Но я никого больше не вижу. Нет никого, только они и я. Кому же они поют отходную?
Туда, где светится всегда
Господняя звезда.
Это панихида Самая настоящая панихида Кого же они хоронят? Кто здесь? Только они и я. Ах да, я! Значит, это мои похороны? Послушайте, люди, это недоразумение! Ведь я все таки не мертвый, я живой! Видите, я смотрю на вас, разговариваю с вами! Бросьте! Не хороните меня!
Сказав последнее «прости»
Всем тем, кто дорог нам…

Не слышат. Глухие, что ли? Разве я говорю так тихо? Или, может быть, я и вправду мертв, и до них не доходит загробный голос? А мое тело лежит пластом, и я гляжу на собственные похороны? Забавно!
Мы с упованием свой взгляд
Подъемлем к небесам.
Я вспоминаю, что произошло. Кто то с трудом поднимал и одевал меня, потом меня несли на носилках, стук тяжелых кованых сапог гулко отдавался в коридоре… Потом… Это все. Больше я ничего не знаю. Ничего не помню.
Туда, где мрака ночи пет…
Но это вздор. Я жив. Я смутно чувствую боль и жажду. Разве мертвым хочется пить? Я напрягаю все силы, пытаясь шевельнуть рукой, и чей-то чужой, неестественный голос произносит:
— Пить!
Наконец-то! Оба человека перестают ходить по кругу. Они наклоняются надо мной, один из них поднимает мне голову и подносит к губам ковшик с водой.
— Парень, ты бы поел чего-нибудь. Вот уже двое суток ты только пьешь да пьешь.
Что он говорит? Двое суток? Какой же сегодня день?
— Понедельник.
Понедельник!
А меня арестовали в пятницу. Какая тяжелая голова! И как освежает вода! Спать! Дайте мне спать. Капля замутила ясную водную гладь. Это родник на лужайке в горах. Я знаю, это тот, что близ сторожки под Рокланом… Мелкий непрерывный дождь шумит в хвое деревьев… Как сладко спать!
Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной стоит собака. Овчарка. Она пристально смотрит на меня красивыми умными глазами и спрашивает.
— Где ты жил?
Нет, это не собака. Чей же это голос? А-а, еще кто-то стоит надо мной Я вижу пару сапог… и другую пару, и форменные брюки, но взглянуть выше мне не удается, голова кружится, эх, все это неважно, дайте мне спать.
Среда.
Два человека, которые пели псалмы, сейчас сидят у стола и едят из глиняных мисок. Теперь я различаю их. Один помоложе, другой совсем пожилой. На монахов они, кажется, не похожи. И склеп уже не склеп, а тюремная камера, как сотни других: дощатый пол, тяжелая темная дверь…
В замке гремит ключ, оба вскакивают и становятся навытяжку, два эсэсовца входят и велят одеть меня. Никогда не думал я, сколько боли может причинить каждый рукав и каждая штанина. Меня кладут на носилки и несут вниз по лестнице. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдается в коридоре… Кажется, этим путем меня уже несли однажды и принесли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю?
В полутемную, неприветливую канцелярию по приему арестованных панкрацкой тюрьмы. Носилки ставят на пол, и деланно-добродушный голос переводит свирепое немецкое рявкание:
— Ты знаешь ее?
Я подпираю подбородок рукой. Рядом с носилками стоит молодая круглолицая девушка. Стоит гордо, вся выпрямившись. с высоко поднятой головой; держится не вызывающе, но с достоинством. Только глаза ее слегка опущены, ровно настолько, чтобы видеть меня и поздороваться взглядом.
— Нет, не знаю.
Помнится, я видел ее мельком в ту сумасшедшую ночь во дворце Печека. Теперь мы видимся во второй раз. Жаль, что третьей встречи уже не будет и мне не удастся пожать ей руку за то, что она держала себя с таким достоинством. Это была жена Арноштa Лоренца. Ее казнили в первые же дни осадного положения в 1942 году.
— Ну, эту ты наверняка знаешь.
Аничка Ираскова! Боже мой, Аничка, вы-то как сюда попали? Нет, нет, я не называл вашего имени, вы не знаете меня, и я с вамп незнаком. Понимаете, незнаком!
— И ее не знаю.

— Будь благоразумен!
— Не знаю.
— Юлиус, это ни к чему, — говорит Аничка, и лишь неприметное движение пальцев, комкающих носовой платок, выдает ее волнение. — Это ни к чему. Меня уже «опознали».
— Кто?
— Молчать! — обрывают ее и торопливо отталкивают, когда она загибается и протягивает мне руку.
Аничка!
Остальных вопросов я уже не слышу.
Как-то со стороны, совсем не ощущая боли, словно я только зритель, чувствую, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру и, грубо встряхивая носилки, со смехом осведомляются, не предпочту ли я качаться в петле.
Четверг.
Я уже начинаю воспринимать окружающее. Одного из моих товарищей по камере зовут Карел. Старшего он называет «папаша». Он что-то рассказывает о себе, но у меня все путается в голове. какая-то шахта, дети за партами… слышится колокол, уж не пожар ли?
Говорят, ко мне каждый день ходят врач и эсэсовский фельдшер. Я, дескать, не так уж плох, скоро буду опять молодцом. Это настойчиво твердит мне «папаша», а Карел так усердно поддакивает, что, несмотря на свое состояние, я понимаю: это святая ложь.
Славные ребята! Жаль, что я ив могу им поверить.
Вторая половина дня.
Дверь камеры открывается, и бесшумно, словно на цыпочках, вбегает пес, останавливается у моего изголовья и снова пристально рассматривает меня.
Рядом снова две пары сапог. Теперь я уже знаю — одна пара принадлежит хозяину пса, начальнику тюрьмы Панкрац, другая — начальнику отдела по борьбе с коммунистами, гестаповцу, который меня допрашивал тогда ночью. А вот еще штатские брюки. Мой взгляд скользит вверх, да, я знаю и этого долговязого, тощего комиссара, который руководил оперативной группой, арестовавшей меня.
Он садится на стул и начинает допрос:
— Ты свою игру проиграл, подумай хотя бы о себе.
Говори. Он предлагает мне папиросу. Не хочу. Мне не удержать ее в пальцах.
— Как долго ты жил у Баксов?
У Баксов! И это им известно! Кто же им сказал?
— Видишь, нам все известно. Говори.
Если вам все известно, зачем же мне говорить? Я жил не напрасно и не опозорю свои последние дни.
Допрос длится час. Допрашивающий не кричит, он терпеливо повторяет один и тот же вопрос, потом, не дождавшись ответа, задает второй, третий, десятый.
— Неужели ты не понимаешь? Все кончено, понимаешь ли, вы все проиграли. Вы все.
— Проиграл только я.
— Ты еще веришь в победу коммуны?
— Конечно.
— Он еще верит? — спрашивает по-немецки начальник отдела, а долговязый гестаповец переводит.
— …он еще верит в победу России.
— Конечно. Иного конца быть не может.
Я утомлен. Я напрягал все силы, чтобы быть начеку, но сейчас сознание быстро покидает меня, как кровь, текущая из глубокой раны. Напоследок я еще вижу, как мне протягивают руку, — должно быть, тюремщики заметили печать смерти на моем лице. В самом деле, в некоторых странах у палачей даже было в обыкновении целовать осужденного перед казнью.
Вечер.
Два человека со сложенными руками ходят по кругу и протяжными, нестройными голосами тянут грустную песнь.
Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть…

Эй, люди, люди, бросьте же! Может, эта песня и неплоха, но сегодня… сегодня канун Первого мая, самого прекрасного, самого радостного праздника Я пытаюсь запеть что-нибудь веселое, но, видно, это звучит еще мрачнее, потому что Карел отворачивается, а «папаша» вытирает глаза. Пускай, я не сдаюсь и продолжаю петь. Постепенно они присоединяются ко мне. Удовлетворенный, я засыпаю.
Раннее утро Первого мая.
Часы на тюремной башне бьют три. Впервые я ясно слышу бой часов. Впервые после ареста я в полном сознании. Я чувствую, как через открытое окно проникает свежий воздух, как он обдувает мой тюфяк на полу, как стебли соломы колют мне грудь и живот. Каждая клетка моего тела болит на тысячу разных ладов. Мне трудно дышать. Внезапно, как будто свет из распахнувшегося окна, меня озаряет мысль: это конец, я умираю. Долгонько же ты не приходила, смерть! А я, признаться, надеялся, что мы встретимся с тобой через много лет, что я еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я только сейчас достиг зрелости, у меня было еще много, много сил. Их больше нет. Мой путь окончен.
Я любил жизнь и за ее красоту вступил в бон. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы меня не понимали. Кого я обидел — простите, кого порадовал — не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Это мой завет вам, отец, мать и сестры мои, тебе, Густина моя, вам, товарищи, всем, кого я любил. Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте. Но не жалейте. Жил я для радости, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить па моей могиле ангела скорби.
Первое мая! В этот час мы уже строились в ряды на окраинах городов и развертывали свои знамена. В этот час на улицах Москвы уже шагают на майский парад первые шеренги войск. И сейчас миллионы людей ведут последний бон за свободу человечества. Тысячи гибнут в этом бою. Я — один из них. Быть одним из воинов последней битвы — это прекрасно.
Но агония совсем не прекрасна. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха. Я слышу хрип и клокотание у себя в горле. Чего доброго, еще разбужу товарищей. Промочить бы горло глотком воды! Но вся вода в ковше выпита. В шести шагах от меня в унитазе, в углу камеры, вода есть. Но хватит ли у мня сил добраться туда?
Я ползу на животе, тихо, тихо, словно истинное геройство заключается в том, чтобы, умирая, никого не разбудить. Дополз. Пью, захлебываясь, воду со дна унитаза.
Не знаю, сколько это продолжалось, сколько времени я полз обратно. Сознание снова оставляет меня. Я ищу у себя пульс. Не нахожу его. Сердце поднялось к горлу и стремительно падает вниз. Я падаю тоже. Падаю медленно. И при этом слышу голос Карела:
— Папаша, папаша! Бедняга кончается!
Угром пришел врач (об этом я узнал много позже). Он осмотрел меня и покачал головой. Потом вернулся к себе, в лазарет, разорвал рапортичку о смерти, которую заполнил еще накануне, и сказал с уважением специалиста:
— Силен, как лошадь!

Глава III. Номера № 267

Семь шагов от двери до окна, семь шагов от окна до двери.
Это я знаю.

Сколько раз я отмерил это расстояние по дощатому полу тюремной камеры! И может быть, именно в этой самой камере я сидел когда-то за то, что слишком ясно видел, как губительна для народа политика чешской буржуазии! И вот сейчас мой народ распинают на кресте, в коридоре за дверью ходят фашистские надзиратели, а где-то за пределами тюрьмы слепые парки
[3]

от политики снова прядут нить измены. Сколько столетий нужно человечеству, чтобы прозреть!

Через сколько тысяч тюремных камер прошло оно по пути к прогрессу? И через сколько еще пройдет?
О, нерудовский младенец — Христос! «Долгий путь человечества к спасенью все еще не пройден, нет, конца еще не видно», но уже не спи, не спи!
Семь шагов туда, семь обратно. У одной стены откидная койка, на другой — коричневая унылая полочка с глиняной посудой. Да, все это мне знакомо. Теперь, правда, тут кое-что механизировано: проведено центральное отопление, вместо параши — стоит унитаз. А главное — механизированы люди! Как автоматы. Нажмите кнопку, то есть загремите ключом в замке или откройте «глазок», и узники вскочат, чем бы они ип были замяты, станут друг за другом и вытянутся в струнку; распахивается дверь, и староста камеры выпаливает единым духом:
— Achtung! Celecvozibnzechcikbelegtmittreimarialesinordriung!
Итак, № 267. Это наша камера. Но у нас автомат с изъяном: вскакивают только двое. Я пока лежу на тюфяке под окном, лежу ничком неделю, две недели, месяц, полтора месяца и снова возвращаюсь к жизни: уже поворачиваю голову, уже поднимаю руку, уже приподнимаюсь на локтях и даже пытаюсь перевернуться на спину. Разумеется, легче описать, чем пережить это.
Изменилась и камера. Вместо тройки на дверях висит двойка, нас теперь только двое. Исчез Карел, младший из тех двоих, что с грустной песней хоронили меня. Осталась лишь память о его добром сердце. Собственно, я помню, и то очень смутно, только последние два дня его пребывания с нами. Он в который раз терпеливо рассказывает мне свою историю, а я то и дело засыпаю, не дослушав до конца.
Звали его Карел Малец, по профессии он машинист, работал у клети в рудной шахте где-то около Гудлиц и выносил оттуда взрывчатку для подпольщиков. Сидит он уже около двух лет, а теперь его повезут на суд, вероятно в Берлин. Арестованных по этому делу много, целая группа. Кто знает, что с ними будет… У Карела жена и двое детей, он их любит, крепко любит… «но это был мой долг, сам понимаешь, иначе было нельзя».
Он подолгу сидит около меня и старается заставить меня поесть. Не могу. В субботу — неужели я здесь уже восьмой день? — он решается на крайнюю меру: докладывает тюремному фельдшеру, что я за все время ничего не съел. Фельдшер, вечно озабоченный человек в эсэсовской форме, без ведома которого врач-чех не имеет права прописать даже аспирин, сам приносит миску больничной похлебки и стоит около меня, пока я не съедаю все. Карел очень доволен своим успешным вмешательством и на другой день сам вливает в меня миску воскресного супа.
Но со вторым блюдом ничего не выходит: изуродованными деснами нельзя жевать даже разваренный картофель воскресного гуляша, а распухшее горло отказывается пропустить сколько-нибудь твердый кусок.
— Даже гуляш, даже гуляш — и тот не ест! — жалуется Карел и грустно покачивает головой.
Потом с аппетитом набрасывается на мою порцию, честно поделив ее с «папашей».
Кто не побывал в 1942 году в Панкраце, тот не знает и не может знать, что такое гуляш! Регулярно, даже в самые трудные времена, когда у всех заключенных бурчало в желудке от голода, когда в бане мылись ходячие скелеты, когда каждый — хотя бы глазами — покушался на порцию товарища, когда и противная каша из сушеных овощей, разбавленная жиденьким помидорным соком, казалась желанным деликатесом, в эти трудные времена регулярно, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, раздатчики вытряхивали в наши миски порцию картофеля и поливали ее ложкой мясного соуса с несколькими волокнами мяса. Это было сказочно вкусно! Но не только в этом дело: гуляш был ощутимым напоминанием о мирной человеческой жизни, был чем-то нормальным в жестокой противоестественности гестаповской тюрьмы. О гуляше говорили нежно и с наслаждением — о, кто поймет, как дорога ложка хорошего соуса, приправленного ужасом постепенного угасания!

Прошло два месяца, и я хорошо понял удивление Карела! Даже гуляша я не хотел! Могли ли быть для него еще более убедительные признаки моей близкой смерти?
Той же ночью, в два часа, Карела разбудили. За пять минут ему было велено приготовиться к отправке с транспортом, слоено предстояло отлучиться куда-то рядом, словно перед ним не лежал путь, из которого нет возврата, — в другую тюрьму, в концлагерь, к месту казни… неведомо куда.
Карел еще успел опуститься около меня на колени, обнять и поцеловать в голову.
Из коридора раздался резкий окрик погонщика в мундире, напоминавший, что в тюрьме нет места чувствам.
Карел исчез за дверью, щелкнул замок…
Мы остались вдвоем.
Увидимся ли мы когда-нибудь, друг? И когда разлучимся мы, оставшиеся? Кто из нас двоих покинет эту камеру первым? Куда он пойдет? Кто позовет его? Надзиратель в эсэсовской форме? Или сама смерть, которая не носит формы?..
Сейчас, когда я пишу, во мне остались лишь отголоски чувств, волновавших нас при этом первом расставании. С тех пор прошел уже год, и мысли, с которыми мы провожали товарища, возвращались не раз, порою очень навязчиво. Двойка на дверях камеры заменялась тройкой, тройка снова уступала место двойке, пятом опять появлялось «3», «2», «3», «2», приходили новые узники и вновь уходили, и только те двое, что впервые остались вдвоем в камере № 267, все еще не расстаются друг с другом: «папаша» и я.
«Папаша» — это шестидесятилетний учитель Йозеф Пешек. Глава школьного учительского совета. Его арестовали на восемьдесят пять дней раньше меня за «заговор против Германской империи», выразившийся в работе над проектом свободной чешской школы.
«Папаша» — это…
Но как его описать? Трудное это дело! Два человека, одна камера и год жизни. За этот год отпали кавычки у слова «папаша», за этот год два арестанта разного возраста стали действительно отцом и сыном, за этот год мы усвоили привычки друг друга, излюбленные словечки и даже интонации. Различи-ка сейчас, что мое и что его, «папашино», с чем он пришел в камеру и с чем я…
Ночами он бодрствовал надо мной и белыми, мокрыми компрессами отгонял подходившую смерть. Он самоотверженно удалял гной из моих ран и ни разу не подал вида, что слышит гнилостный запах, исходивший от тюфяка. Он стирал и чинил жалкие лохмотья моей рубашки, которая стала жертвой первого допроса, а когда она окончательно развалилась, натянул на меня свою. Рискуя получить взыскание, он принес мне маргаритку и стебелек травы, сорвав их во дворе во время получасовой утренней прогулки. Когда меня уводили па новые допросы, он провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, прикладывал новые компрессы к моим новым ранам. Он ждал моего возвращения с ночных допросов и не ложился спать, пока не уложит меня, заботливо укрыв одеялом.
Так началась наша дружба. Она не изменилась и потом, когда я смог держаться на ногах и платить сыновний долг.
Но так, единым духом, всего не опишешь. В камере № 267 в том году было оживленно, и все, что случалось, по-своему переживал и папаша. Обо всем этом надо рассказать, и повествование мое еще не окончено (что даже звучит некоторой надеждой).
В камере № 267 было оживленно.
Чуть ли не каждый час отворялась дверь и приходили надзиратели. Это был полагающийся по правилам усиленный надзор за крупным «коммунистическим преступником», но, кроме того, я просто возбуждал любопытство. В тюрьме часто умирали люди, которые не должны были умереть! Но редко случалось, чтобы не умер тот, в чьей неизбежной смерти были уверены все.
В нашу камеру приходили даже надзиратели с других этажей и заводили разговор или молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали мои раны, а потом, в зависимости от характера, либо отпускали циничные шутки, либо принимали почти дружеский тон.
Один из них — мы прозвали его Мельником — приходит чаще других и, широко усмехаясь, осведомляется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Через несколько дней Мельник решает, что все-таки «красному дьяволу»

кое-что нужно, а именно — побриться. И он приводит парикмахера. Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я здесь знакомлюсь: товарищ Бочек. Добросердечная услуга Мельника оказалась медвежьей услугой; папаша поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях около моего тюфяка, пытается тупой безопасной бритвой прорубить просеку в моих мощных зарослях. Руки у него дрожат и на глазах выступают слезы; он уверен, что бреет умирающего. Я стараюсь успокоить его:
— Не робей, парень! Уж коли я выдержал допрос во дворце Печека, авось выдержу и твое бритье.
Но сил у меня все-таки мало, и нам обоим часто приходится делать передышку.

Через два дня я знакомлюсь еще с двумя заключенными. Гестаповскому начальству дворца Печека не терпится; они посылают за мной, а так как фельдшер всякий раз пишет при вызове «Transportunfдhig» (не способен к передвижению), они распоряжаются доставить меня любым способом. И вот два арестанта в костюмах коридорных (или хаусарбайтеров) ставят носилки у нашей двери. Папаша с трудом натягивает на меня одежду, они кладут меня на носилки и несут. Один из них — это товарищ Скоршепа, будущий заботливый хаусарбай-тер (служитель из числа заключенных), другой…
[4]
Когда мы спускаемся по лестнице и я соскальзываю с накренившихся носилок, один из несущих наклоняется ко мне и многозначительно говорит:

— Держись!
Потом добавляет совсем тихо:
— Держись и не сдавайся!
На этот раз мы не задерживаемся в канцелярии. Длинным коридором меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей — сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются на безрадостное шествие с носилками, во всех взглядах жалость и сострадание, это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен, не хватает сил.
На тюремном дворе носилки поставили на грузовик, двое эсэсовцев сели с шофером, двое других, держа руку на расстегнутой кобуре, стали у моего изголовья, и мы поехали. Дорога далеко не образцовая: одна выбоина, другая… Не проехали мы и двухсот метров, как я потерял сознание. Забавная это была поездка по пражским улицам: пятитонка, предназначенная для тридцати арестованных, расходует бензин на единственного узника, и двое эсэсовцев впереди, двое сзади, с револьверами в руках, хищными взглядами стерегут его полумертвое тело, чтобы оно не сбежало.
На другой день комедия повторилась. На этот раз я выдержал до самого дворца Печека. Допрос был недолгим. Комиссар Фридрих несколько неосторожно прикоснулся ко мне, и меня опять увозят в беспамятстве.
Настали дни, когда уже не было сомнения в том, что я жив: боль — родная сестра жизни — весьма ощутительно напоминала мне об этом.
Панкрац уже знал, что по какому-то недосмотру я остался жив, и посылал мне привет. Он приходил перестукиванием через толстые стены, я видел его в глазах коридорных, разносивших еду.
Только моя жена не знала обо мне ничего. В одиночке, всего одним этажом ниже меня и на три — четыре камеры дальше, она жила в тревоге и надежде до того дня, когда соседка шепнула ей на утренней прогулке, что, избитый на допросе, я умер в камере. Густа шла по двору, все кружилось у нее перед глазами, она не чувствовала, как «утешала» ее надзирательница, тыча кулаком в лицо и загоняя в шеренгу, чтобы поддержать тюремную дисциплину. Что видела она, глядя без слез на белые стены камеры своими большими добрыми глазами?
А на другой день новая весть — я не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился в камере.

В это время я валялся на тощем тюфяке и каждый вечер и каждое утро упорно поворачивался на бок, чтобы пропеть Густе песни, которые она так любила. Как она могла их не слышать, ведь я вкладывал в них столько чувства!
Теперь она уже знает обо мне, теперь она уже слышит мои песни, хотя мы сейчас дальше друг от друга, чем тогда. Теперь уже и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере № 267 поют.
Надзиратели уже не стучат в дверь, требуя тишины.
Камера № 267 поет. Всю свою жизнь я пел песни и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро.
А папаша Пешек? Ну, это особый случай: он тоже очень любит петь. У него ни слуха, ни голоса, никакой музыкальной памяти, но он любит песню такой хорошей и верной любовью и находит в пей столько радости, что я даже не замечаю, как он перескакивает с одного тона на другой и упорно берет «соль» там, где прямо просится «ля».
И мы поем. Поем, когда нам взгрустнется, поем, когда выдается веселый день, песней провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся, песней приветствуем добрые вести о боях на востоке, поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми.
Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается — камера № 267 выходит на север. Только летом на восточную стену камеры на мгновение ложится солнечный луч вместе с тенью решетки.
Папаша стоит, опершись на койку, и смотрит на мимолетные солнечные блики… и это самый грустный взгляд, какой здесь только можно увидеть.
Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей! Но так мало людей живет в солнечном свете…
Солнце будет, да, будет светить, и люди будут жить в его лучах.
Как чудесно сознавать это! И все же хочется знать еще кое-что, неизмеримо менее важное: будет ли оно еще светить и для нас?
Наша камера выходит на север. Лишь изредка, летом, в ясный день, видим мы заходящее солнце. Эх, папаша, хотелось бы когда-нибудь все-таки увидеть восход солнца!

Глава IV. «Четырехсотка»

Воскресение из мертвых — явление довольно своеобразное. Настолько своеобразное, что и объяснить трудно. Мир привлекателен, когда в погожий день ты только что встал после доброго сна. Но если ты встал со смертного одра, день кажется прекрасным, как никогда, и ты чувствуешь, что выспался лучше, чем когда бы то ни было. Ты думаешь, что хорошо знаешь сцену жизни. Но после воскресения из мертвых тебе кажется, что осветитель включил все юпитеры и внезапно перед тобой появилась сцена, вся залитая светом. Ты думал, что у тебя хорошее зрение. Но сейчас ты видишь мир так, словно тебе приставили к глазу телескоп, а к нему еще и микроскоп. Воскресение из мертвых подобно весне: оно открывает нежданные прелести и в самом обыденном.
Так бывает даже тогда, когда ты знаешь, что все это ненадолго. Даже тогда, когда открывающийся тебе мир так «привлекателен» и «богат», как камера в Панкраце.
Настает день, когда тебя выводят из камеры. Настает день, когда на допрос ты не отправляешься на носилках, а, хотя тебе это кажется невозможным, идешь сам. Держась за стены коридора, за перила лестницы, ты почти ползешь на четвереньках. Внизу товарищи по заключению усаживают тебя в закрытый арестантский автомобиль. Ты оказался в темной передвижной камере, рядом новые лица, десять, двенадцать человек. Они улыбаются тебе, ты им, кто-то шепчет тебе, кто — неизвестно, ты жмешь кому-то руку, не знаешь кому…
Машина с грохотом въезжает в ворота дворца Печека, товарищи выносят тебя, мы входим в просторное помещение с голыми стенами: шесть рядов скамеек. На скамейках, выпрямившись и сложив руки на коленях, недвижно сидят люди и глядят на пустую стену перед собой. Вот, парень, частица твоего нового мира, которая прозвана «кинотеатром».

Майское интермеццо 1943 года

Сегодня Первое мая 1943 года. И дежурит тот, при ком можно писать. Счастье! Какое счастье быть в этот день снова хотя бы на минуту коммунистическим журналистом и писать о майском смотре боевых сил нового мира!
Не жди рассказа о развевающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не смогу рассказать и о захватывающих событиях, о которых ты бы с удовольствием послушал. Сегодня все было много проще. Не было шумного многотысячного потока людей, который в прежние годы бурлил па улицах Праги, не было того, что я видел в Москве: необозримого моря голов на Красной площади. Здесь нет ни миллионов, ни сотен. Здесь всего лишь несколько коммунистов — мужчин и женщин.
И все же чувствуешь, что значение нашего смотра от этого не меньше. Да, не меньше, ибо это смотр сил, которые сейчас проходят под ураганным огнем и превращаются не в пепел, а в сталь. Это смотр в окопах во время битвы. А в окопах носят полевую форму.
Все это ты чувствуешь по таким мелочам… не знаю, поймешь ли ты меня, товарищ, когда прочтешь мои слова, если ты не пережил всего сам? Постарайся понять. Поверь, в этом была сила.
Утренний привет соседней камеры: сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена торжественнее, настойчивее, чем обычно, и стена передает их тоже в ином, необычном тоне.
Мы стараемся одеться получше. И так во всех камерах.
К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорные с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоршепа подает три хлебца вместо двух. Это его поздравление с Первым мая, конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмет мне руку. Разговаривать нельзя, следят даже за выражением твоих глаз, но разве нам не понятен немой разговор наших пальцев?
Во двор, под окна нашей камеры, выбегают на утреннюю получасовую прогулку женщины. Я влезаю на стол и через решетку смотрю вниз. Может быть, они заметят меня. Да, заметили! Поднимают сжатые в кулак руки и приветствуют меня. Я отвечаю тем же. Во дворе сегодня радостно и оживленно, совсем иначе, чем в другие дни. Надзирательница ничего не замечает или, может быть, старается не замечать. Это тоже имеет отношение к майскому смотру.
Сейчас наша очередь гулять. Я показываю упражнение: сегодня Первое мая, ребята, сегодня мы начнем по-другому, пусть дивятся конвойные. Первое движение: раз-два, раз-два — удары молотом. Второе: косьба. Молот и коса. Чуточку воображения — и товарищи поймут: серп и молот. Я поглядываю кругом. На лицах улыбки, все с энтузиазмом следуют моему примеру. Поняли! Правильно, ребята, это наша маевка, а пантомима — наша первомайская клятва: пойдем на смерть, но не изменим.
Мы снова в камере. Девять часов. Сейчас часы на кремлевской башне бьют десять, и на Красной площади начинается парад. Пойдем и мы с ними, папаша! Там сейчас поют «Интернационал», он раздается во всем мире, пусть зазвучит он и в нашей камере. Мы поем. Одна революционная песня следует за другой, мы не хотим быть одинокими, да мы и не одиноки, мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле, с теми, кто ведет бой, как и мы…
Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных.
Бы с нами, вы с нами.
Хоть нет вас в колоннах…
Да, мы с вами.
Так мы, в камере № 267, решили завершить песнями наш первомайский смотр 1943 года. Но это еще не конец!
Посмотри, вон коридорная из женского корпуса расхаживает по двору и насвистывает марш Красной Армии, «Партизанскую» и другие советские песни, чтобы подбодрить

товарищей в камерах. А мужчина в форме чешского полицейского, который принес мне бумагу и карандаш и сейчас сторожит в коридоре, чтобы меня не захватил врасплох незваный гость? А тот, другой, инициатор этих записок, который уносит и заботливо прячет эти листки, чтобы когда-нибудь, когда придет время, они снова появились на свет? За один такой клочок бумаги оба могут заплатить головой И они идут на этот риск, чтобы перекинуть мост между скованным сегодня и свободным завтра. Они сражаются. Смело и твердо они стоят на своих постах и, применяясь к обстановке, сражаются тем оружием, какое у них есть в руках. Они совсем простые и незаметные люди, без всякого пафоса, так что ты и не замечаешь, что они вступили в бой не на жизнь, а на смерть, в котором они, сражаясь на нашей стороне, могут победить или пасть.

Десять, двадцать раз ты, товарищ, видел, как войска революции маршируют на первомайских парадах, и это было великолепно. Но только в бою можно оценить подлинную силу этой армии, ее непобедимость. Смерть проще, чем ты думал, и у героизма нет лучезарного ореола. А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и, чтобы выстоять и добиться победы, нужны силы безмерные. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их значение. Ведь все кажется таким естественным. Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года.

День Первого мая 1943 года нарушил последовательность моего рассказа. И это хорошо. В торжественные дни воспоминания бывают немного иными, и радость, которая сегодня преобладает над всем, могла бы приукрасить эти воспоминания. А в «кинотеатре» дворца Печека совсем нет ничего радостного. Это преддверие застенка, откуда слышатся стоны и крики узников, и ты не знаешь, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда уходят здоровые, сильные, бодрые люди и после двух — трехчасового допроса возвращаются искалеченными, подавленными. Ты слышишь, как твердый голос откликается на вызов, а через некоторое время голос, надломленный страданием и болью, рапортует о возвращении. Но бывает еще хуже: ты видишь и таких, которые уходят с прямым и ясным взглядом, а вернувшись, избегают смотреть тебе в глаза. Где-то там, наверху, в кабинете следователя, была, быть может, одна-единственная минута слабости, один момент колебания, вспышка страха или стремление сохранить свое «я» — ив результате сегодня или завтра приведут новых людей, которые должны будут от начала до конца пройти через все те ужасы, новых людей, которых боевой товарищ выдал врагу…

Смотреть на людей со сломленной совестью еще страшнее, чем на избитых. А когда твои чувства обострила смерть, прошедшая мимо тебя, когда ты глядишь глазами воскресшего ил мертвых, тогда и без слов ясно, кто заколебался, кто, может быть, и предал, у кого где-то в глубине души на миг зародилась мысль, что было бы не так уж страшно немного облегчить свою участь, выдав кого-нибудь из самых незаметных соратников. Слабые души! Какая же это жизнь, если она оплачена жизнью товарищей!

Обо всем этом я, вероятно, думал не в первый раз, когда очутился в «кино». И потом эти мысли часто приходили мне в голову. И наверняка они появились еще в то утро, в обстановке несколько иной, там, где люди познавались больше всего в «Четырехсотке».

В «кино» я сидел недолго — час, полтора. Потом за моей спиной произнесли мое имя, и два человека в штатском, говорящие по-чешски, взяли меня и доставили к лифту, подняли на четвертый этаж и ввели в просторную комнату, на дверях которой была цифра 400. Некоторое время в этой комнате не было никого, кроме меня и двух моих провожатых. Сидя под их надзором на стуле в глубине комнаты, я осматривался со странным чувством: что-то здесь мне было знакомо. Был я, что ли, здесь когда-нибудь? Нет, не был. И все же я — знаю эту комнату, я ее видел во сне, в каком-то страшном, горячечном сне. Тогда она выглядела иначе, вызывала отвращение, но это та самая комната. Сейчас она приветлива, полна солнца и светлых красок. Через широкие окна с тонкой решеткой видны Тынский храм, зеленая Летна и Градчаны.

Во сне эта комната была мрачной, без окон, ее освещал грязновато-желтый свет, в котором люди двигались, как тени… Да, тогда здесь были люди. Сейчас комната пуста, и шесть тесно составленных скамеек чем-то напоминают веселую лужайку с одуванчиками и лютиками. А во сне на всех скамейках сидели рядышком люди с бледными и окровавленными лицами. Вон там, у двери, стоял человек в синей поношенной спецовке, в

глазах его была боль. Его мучила жажда, он попросил пить и медленно, как падающий занавес, опустился на пол…

Да, все это было, теперь я знаю, что это не сон… Жестокой, кошмарной была сама действительность.

Это было в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, десять, и уводили, когда мои мучители хотели отдохнуть или брали в работу другого. Я помню, что прохладный кафельный пол приятно освежал мои израненные босые ноги.

> На скамейках тогда сидели рабочие завода Юнкерса — вечерний улов гестапо. Человек в синей разодранной спецовке, стоявший у дверей, был товарищ Бартонь, из заводской ячейки, косвенный виновник моего ареста. Я говорю это с той целью, чтобы в моем провале не винили никого. Причиной его не была чья-либо трусость или предательство одного из товарищей, а только неосторожность и неудача. Товарищ Бартонь искал для своей ячейки связи с руководством. Его друг, товарищ Елинек, отнесся несколько легкомысленно к правилам конспирации, пообещав связать его с кем надо, хотя должен был раньше поговорить со мной, что дало бы возможность обойтись без его посредничества. Это была ошибка. Другая, более роковая ошибка заключалась в том, что в доверие к Бартоню вкрался провокатор по фамилии Дворжак
> [5]
> . От Бартоня он услышал о Елинеках. И семейством Елинеков заинтересовалось гестапо. Не из-за своей основной работы, которую они успешно выполняли в течение двух лет, а из-за пустяковой услуги товарищу, услуги, которая была ничтожным отступлением от правил конспирации. А то, что во дворце Печека решили арестовать супругов Елинеков именно в тот вечер, когда у них был я, и что к ним явился большой отряд гестаповцев, — это уже была чистейшая случайность. По плану предполагалось арестовать Елинеков только на следующий день. В тот вечер за ними поехали, так сказать, заодно, «на ура», после успешного ареста ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елинеков было для гестаповцев не меньшей неожиданностью, чем для нас их налет. Они даже не знали, кто попался им в руки, и вряд ли узнали бы, если бы вместе со мной не…

Но все это я сообразил далеко не сразу, а к тому времени, когда был в «Четырехсотке» уже не один. Люди сидели на скамейках и стояли у стен. И часы бежали, принося всякие неожиданности.

Неожиданности были странные, которые я не. понимал, и дурные, которые я понимал слишком хорошо.

Впрочем, первая неожиданность не относилась ни к той, ни к другой категории. Это был приятный пустяк, о котором не стоит говорить, но я все-таки никогда не забуду его. Стороживший меня гестаповец, тот самый, что обобрал меня во время ареста, кинул мне дымящийся окурок. Первая сигарета за три недели, первая сигарета для вновь родившегося человека! Взять мне ее? А вдруг он подумает, что меня можно купить? Но в его взгляде незаметно коварства. Нет, этот не станет подкупать. (Я так и не докурил окурка: ведь новорожденные — плохие курильщики.)

Вторая неожиданность: в комнату входят гуськом четыре человека, по-чешски здороваются с гестаповцем в штатском… и со мной, садятся за столы, раскладывают бумаги, закуривают, держат себя свободно, словно они здесь на службе. Но ведь я знаю из них по крайней мере трех, не может быть, чтобы они служили в гестапо… Или все-таки? И они? Ведь это же Р., старый секретарь партийной и профсоюзной организации, немножко бирюк, но верный человек, нет, это невозможно! А это Анна Викова, все еще стройная и красивая, хотя совсем седая, — твердая и непоколебимая подпольщица… нет, невозможно! А вон тот, это же Вашек, каменщик с шахты в Северной Чехии, а потом секретарь тамошнего обкома. Мне ли его не знать, какие бои вместе с ним переживали на севере! И этому человеку сломили хребет? Нет, невозможно! Но что им тут нужно? Что они здесь делают?

Я еще не успел найти ответа на этот вопрос, как возникли новые. Вводят Мирека, супругов Елинек н супругов Фрид. Этих я знаю, этих арестовали вместе со мной. Но почему здесь Павел Кропачек, который оказывал Миреку помощь в работе среди интеллигенции? Кто

знал о нем, кроме меня и Мирека?. И почему тот высокий парень со следами побоев на лице дает мне знать, что мы не знакомы? Ведь я его действительно не знаю. Кто бы это мог быть? Штых? Доктор Штых? Зденек? Боже, значит, провалилась и группа врачей! Кто знал о ней, кроме меня и Мирека? И почему меня на допросах в камере спрашивали о чешской интеллигенции? Почему им вообще вздумалось связывать мое имя с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирека?
Найти ответ нетрудно, но он жесток: Мирек предал, Мирек заговорил. Еще минуту я надеялся, что он, может быть, сказал не все, но потом привели наверх еще одну группу, и я увидел Владислава Ванчуру, профессора Фельбера с сыном, почти неузнаваемого Бедржиха Вацлавека, Божену Пульпанову, Индржиха Элбла, скульптора Дворжака, всех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции, — все оказались здесь, О работе среди интеллигенции Мирек сказал все.
Нелегки были мои первые дни во дворце Печека, но это был самый тяжелый удар. Я ждал смерти, но нз предательства. И как бы снисходительно я ни судил Мирека, какие бы ни подбирал смягчающие обстоятельства, как бы ни старался вспомнить все то, чего он еще не выдал, я не мог найти иного слова, кроме «предательство». Ни шаткость убеждений, ни слабость, ни бессилие смертельно замученного человека, лихорадочно ищущего избавления, ничто не могло служить ему оправданием. Теперь я понял, откуда гестаповцы в первую же ночь узнали мое имя. Теперь я понял, как сюда попала Аничка Ираскова, — у нее мы несколько раз встречались с Миреком. Теперь было ясно, почему здесь Кропачек, почему и доктор Штых.
Начиная с этого дня меня почти ежедневно водили в «Четырехсотку», и всякий раз я узнавал новые подробности — печальные и устрашающие. Мирек! Он был смелый человек, в Испании не кланялся пулям, не согнулся в суровых испытаниях концентрационного лагеря во Франции. А сейчас он бледнеет при виде плетки в руках гестаповца и в страхе перед зуботычинами предает друзей. Какой поверхностной была его отвага, если она стерлась от нескольких ударов! Такой же поверхностной, как его убеждения. Он был силен в массе, среди единомышленников. С ними он был силен, так как думал о них. Теперь, изолированный, окруженный насевшими па него врагами, он растерял всю свою силу. Растерял все потому, что начал думать только о себе. Спасая свою шкуру, он пожертвовал товарищами. Поддался трусости и из трусости предал,
У него нашли записи, и он не сказал себе: лучше умереть, чем расшифровать их. Он расшифровал! Выдал имена. Выдал явки. Привел агентов гестапо па нелегальную квартиру к Штыху. Послал их на квартиру Дворжака, где были Вацлавек и Кропачек. Выдал Аничку. Выдал и Лиду, смелую, стойкую девушку, которая любила его. Достаточно было нескольких ударов, чтобы он выдал половину того, что знал. А потом, решив, что меня нет в живых и некому будет его уличить, он рассказал и остальное.
Мне от этого хуже не стало. Я был в руках гестапо — что могло быть хуже? Наоборот: его показания явились исходным материалом, который лег в основу всего следствия и как бы дал начало цепи, дальнейшие звенья которой держал в руках я, а гестапо они были очень нужны. Только поэтому меня и большую часть нашей группы не казнили в первые же дни осадного положения. Выполни Мирек свой долг, эта группа вообще не попала бы в руки гестапо. Обоих нас давно бы уже не было, но другие уцелели бы и продолжали работу.
Трус теряет больше, чем собственную жизнь. Так было и с Миреком. Дезертир славной армии, он обрек себя на презрение даже самого гнусного из врагов. И, оставаясь в живых, он не жил, ибо коллектив отверг его. Позднее он пытался как-то загладить свою вину, но коллектив не принял его. А отверженность в тюрьме много страшнее, чем где бы то ни было.
Узник и одиночество — эти понятий принято отождествлять. Но это великое заблуждение. Узник не одинок, тюрьма — это большой коллектив, и даже самая строгая изоляция не может никого оторвать от коллектива, если человек не изолирует себя сам.
В тюрьме братство порабощенных становится жертвой особенного гнета, но этот гнет сплачивает и закаляет люден, обостряет их восприимчивость. Для этого братства стены не преграда: ведь и стены живут и говорят условными стуками. Тюремное братство объединяет камеры всего этажа, связанного общими страданиями, общим дежурством, общими коридорными надзирателями и общими получасовыми прогулками на свежем

воздухе, во время которых бывает достаточно одного слова или жеста, чтобы передать важное сообщение и спасти чью-то жизнь. Поездки на допрос, сидение в «кино» и возвращение в Панкрац объединяют все тюремное братство. Это братство немногих слов и больших услуг. Простое рукопожатие или тайком переданная папироса раздвигают прутья клетки, в которую ты был посажен, выводят человека из одиночества, которым его хотели сломить. У камер есть руки: ты чувствуешь, как они тебя поддерживают, чтобы ты не упал, когда ты, измученный, возвращаешься с допроса. Из этих рук ты получаешь пищу, когда враги стараются уморить тебя голодом. У камер есть глаза: они смотрят на тебя, когда ты идешь на казнь, и ты знаешь, что должен шагать твердо, ибо твои братья видят тебя и ты не смеешь неверным шагом ослабить их волю, заронить сомнение в их сердце. Это братство истекает кровью, но оно неодолимо. Если бы не его помощь, не вынести бы тебе и одной десятой своей доли. Ни тебе, ни кому другому.
В моем повествовании — не знаю, смогу ли я продолжать его (ведь неизвестно, что сулит любой день и час), — части повторяется слово, которое служит названием этой главы: «Четырехсотка».
Сначала «Четырехсотка» была для меня только комнатой, где я провел первые часы в безрадостных размышлениях. Но это была не просто комната — это был коллектив. И коллектив радостный и боевой.
«Четырехсотка» родилась в 1940 году, когда значительно «расширилось делопроизводство» отдела по борьбе с коммунистами. Здесь устроили филиал «кинотеатра», где, ожидая допроса, сидели подследственные; это был филиал специально для коммунистов, чтобы не приходилось таскать арестованных по всякому поводу с первого этажа на четвертый. Арестованнье должны были постоянно находиться у следователей под рукой. Это облегчало работу. Таково было назначение «Четырехсотки».
Но посади вместе двух заключенных, да еще коммунистов, и через пять минут возникнет коллектив, который перепутает все карты гестаповцев.
В 1942 году «Четырехсотку» уже не называли иначе, как «Коммунистическим центром». Многое видала эта комната, не одна тысяча коммунистов, женщин и мужчин, сменилась на этих скамейках, одно лишь оставалось неизменным: дух коллектива, преданность борьбе и вера в победу.
«Четырехсотка» — это был окоп, выдвинутый далеко за передний край, со всех сторон окруженный противником, обстреливаемый сосредоточенным огнем, однако ни на миг не помышляющий о сдаче. Это был окоп под красным знаменем, и здесь проявлялась солидарность всего народа, борющегося за свое освобождение.
Внизу, в «кинотеатре», прохаживались эсэсовцы в высоких сапогах и покрикивали на арестованных за каждое движение глаз. Здесь, в «Четырехсотое», за нами надзирали чешские инспектора и агенты из полицейского управления, попавшие на службу в гестапо в качестве переводчиков — иногда добровольно, иногда по приказу начальства. Каждый из них делал свое дело: одни выполняли обязанности сотрудника гестапо, другие — долг чеха. Некоторые держались средней линии.
Здесь нас не заставляли сидеть вытянувшись, сложив руки на коленях и устремив неподвижный взгляд вперед. Здесь можно было сидеть более непринужденно, оглянуться, сделать знак рукой… А иной раз можно было и больше — в зависимости от того, кто из надзирателей дежурил.
«Четырехсотка» была местом глубочайшего познания существа, именуемого человеком. Близость смерти обнажала каждого: и тех, кто носил на левой руке красную повязку заключенного-коммуниста или подозреваемого в сотрудничестве с коммунистами, и тех, чьей обязанностью было сторожить их или допрашивать в одной из соседних комнат. На допросах слова могли быть защитой или оружием. Но в «Четырехсотое» укрыться за слова было невозможно. Здесь были важны не твои слова, а твое нутро. А от него оставалось только самое основное. Все второстепенное, наносное, все, что сглаживает, ослабляет, приукрашивает основные черты твоего характера, отпадало, уносилось предсмертным вихрем. Оставалась только самая суть, самое простое: верный остается верным, предатель предает, обыватель отчаивается, герой борется. В каждом человеке есть сила и слабость, мужество и страх, твердость и колебание, чистота и грязь. Здесь оставалось только одно из

двух. Или — или. Тот, кто пытался незаметно балансировать, бросался в глаза так, как если бы вздумал с кастаньетами и в шляпе с пером плясать на похоронах.
Были такие и среди заключенных, были такие и среди чешских инспекторов и агентов. В кабинете следователя иной кадил нацистскому господу богу, а в «Четырехсотке» — большевистскому «дьяволу». На глазах у немецкого следователя он выбивал заключенному зубы, чтобы заставить его выдать явки, а в «Четырехсотке» дружески предлагал ему кусок хлеба. При обыске он начисто обкрадывал твою квартиру, а в «Четырехсотке» подсовывал тебе украденную у тебя же сигарету — я, мол, тебе сочувствую.
Была и другая разновидность того же типа: эти по своей инициативе никого не истязали, но к не помогали никому. Они беспокоились только о собственной шкуре. Ее чувствительность делала их отличным политическим барометром. Они сухи и строго официальны с заключенными? Можете быть уверены: немцы наступают на Сталинград. Они приветливы и заговаривают с заключенными? Положение улучшается, немцев, очевидно, побили под Сталинградом. Начинаются толки о том, что они коренные чехи и что их силой заставили служить в гестапо? Превосходно! Наверняка Красная Армия продолжает наступление — уже за Ростовом! Есть среди них и такие: когда тонешь, они стоят засунув руки в карманы, а когда тебе удается без помощи выбраться на берег, они бегут к тебе с протянутой рукой.
Люди этого сорта чувствовали коллектив «Четырехсотки» и старались сблизиться с ним, ибо сознавали его силу. Но никогда они не принадлежали к нему.

Были и такие, которые не имели никакого представления о коллективе. Их можно было бы назвать убийцами, но убийцы — все-таки люди. Это были говорившие по-чешски звери с дубинками и железными прутьями в руках. Чехов-заключенных они истязали так, что даже многие гестаповцы-немцы не выдерживали этого зрелища.
У
таких мучителен не мило быть даже лицемерной ссылки на интересы своей нации или германского государства, они мучили и убивали просто из садизма. Они выбивали зубы, били так, что лопались барабанные перепонки, выдавливали глазные яблоки, били ногами в пах, пробивали черепа, забивали до смерти с неслыханной жестокостью, не имевшей других источников, кроме звериной натуры. Ежедневно я видел этих палачей, вынужден был говорить с ними, терпеть их присутствие, от которого все вокруг наполнялось кровью и стонами. Тебе помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия. Не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей своих злодеяний!

А рядом с ними за тем же столом и как будто в тех же Чинах сидели те, которых справедливо было бы назвать Людьми с большой буквы. Люди, которые превращали организацию заключения в организацию заключенных, которые помогали создавать коллектив «Четырехсотки» и сами принадлежали к нему всем сердцем, бесстрашно служили ему. Величие их души тем больше, что они не были коммунистами. Наоборот, прежде в качестве чехословацких полицейских они воевали с коммунистами, но потом, когда увидели коммунистов в борьбе с оккупантами, поняли силу и значение коммунистов для всего народа. А поняв, стали верно служить общему делу и помогать каждому, кто и в тюрьме оставался верен этому делу.
Многие подпольщики на свободе поколебались бы, если бы ясно представили себе, какие ужасы ждут их в застенках гестапо. У наших тайных друзей в тюрьме все эти ужасы были постоянно перед глазами, они видели их каждый день, каждый час. Каждый день, каждый час они могли сами стать заключенными, и им пришлось бы еще хуже, чем другим. И все же они не колебались. Они помогли спасти тысячи жизней и облегчить участь тех, кого спасти не удалось. Назовем их по праву героями. Без их помощи «Четырехсотка» никогда не могла бы стать тем, чем она стала для многих тысяч коммунистов: лучом света в доме мрака, укреплением в тылу у врага, очагом борьбы за свободу в самой берлоге оккупантов.

Глава V. Люди и людишки

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безыменных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безыменных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. Тот же, кто из праха прошлого хотел соорудить плотину и остановить половодье революции, тот лишь фигурка из гнилого дерева, пусть даже на плечах у него сейчас золотые галуны! Но и этих людишек надо разглядеть во всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости и смехотворности, ибо и они материал для будущих суждений.

То, что я смогу еще рассказать, — это только сырой материал, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на малом участке без перспективы. Но в них есть черты подлинной правды, контуры больших и малых людей и людишек.

Елинеки

Йозеф и Мария. Он трамвайщик, она служанка. Стоило посмотреть на их квартиру! Простая, непритязательная современная мебель, библиотечка, статуэтки, картины на стенах и чистота прямо невероятная. Казалось, что вся жизнь хозяйки — в этой квартирке, что она и понятия не имеет об окружающем ее мире. А между тем она уже давно была членом коммунистической партии и по-своему мечтала о справедливости. Оба вели работу скромно и незаметно, оба были преданы делу и не отступили перед трудностями в тяжелые времена оккупации.

Через три года гестаповцы ворвались в их квартирку. Йозеф и Мария стояли рядом, подняв руки…

19 мая 1943 года

Сегодня ночью мою Густу увозят в Польшу, «на работу». На немецкую каторгу, на смерть от тифа. Ей остается жить несколько недель. Может быть, два — три месяца. Мое дело, говорят, уже передано в суд. Может быть, я пробуду еще месяц в предварительном заключении в Панкраце, а потом — недалеко и до конца. Репортажа мне уже не дописать. Но в эти несколько дней попытаюсь продолжать его, если будет возможность. Сегодня не могу. Сегодня голова и сердце полны Густиной. Она всегда была благородна и глубоко искренна, всегда преданна — верный друг моей суровой и беспокойной жизни.

Каждый вечер я пою ее любимую песню: о синем степном ковыле, что шумит, о славных партизанских боях, о казачке, которая билась за свободу бок о бок с мужчинами, и о том, как в одном из боев «ей подняться с земли не пришлось».

Вот она, мой дружок боевой! Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности! Жизнь в борьбе и частые разлуки сохраняли в нас чувство первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца, и одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали.

Годами мы работали вместе, по-товарищески помогая друг другу, она была моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласковый взгляд. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу — а борьба не прекращалась ни на час, —

и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и много больших радостен, мы были богаты богатством бедняков — тем, что внутри нас.
Густина? Вот какова Густина.
Это было в середине июня прошлого года, в дни осадного положения. Она увидела меня через шесть недель после нашего ареста, после мучительных дней в одиночке, полных дум о моей смерти. Ее вызвали, чтобы она «повлияла» на меня.
— Уговорите его, — говорил ей на очной ставке начальник отдела. — Уговорите его, пусть образумится. Не хочет думать о себе, пусть подумает хоть о вас. Даю вам час на размышление. Если он будет упорствовать, расстреляем вас обоих сегодня вечером.
Густина приласкала меня взглядом и сказала просто:
— Господин следователь, для меня это не угроза. Это моя последняя просьба: если убьете его, убейте и меня.
Такова Густина — любовь и твердость.
Жизнь у нас могут отнять, Густина, но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто.
Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после всех этих страданий? Снова встретиться в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством! Жить, когда свершится все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас идем умирать!
Но и мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него нашу жизнь. В этом наша радость, хоть и грустно расставание.
Не позволили нам ни проститься, ни обнять друг друга, ни обменяться рукопожатием. Но тюремный коллектив, который связывает Панкрац даже с Карловой площадью, передает каждому из нас вести о наших судьбах.
Ты знаешь, и я знаю, Густина, что мы никогда уже не увидимся, и все же я слышу издалека твой голос: «До свидания, мой милый!»
До свидания, моя Густина!

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

У меня не было ничего, кроме библиотеки. Ее уничтожили гестаповцы. Я написал много литературно-критических и политических статей, репортажей, литературных этюдов и театральных рецензий. Многие из них жили день и умерли с ним. Оставьте их в покое. Некоторые же не потеряли значения и сегодня. Я надеялся, что Густина издаст их. На это мало надежды. Поэтому прошу моего верного друга Ладю Штолла из моих материалов составить пять книг:
1. Политические статьи и полемики.
2. Избранные очерки о Родине.
3. Избранные очерки о Советском Союзе.
4 и 5. Литературные и театральные статьи и этюды.
Большинство из них было напечатано в «Творбе» и в «Руде право», некоторые — в «Кмене», «Прамене», «Пролеткульте», «Добе», «Социалисте», «Авангарде» и др.
У издателя Гиргала (я люблю его за несомненную смелость, с которой он во время оккупации издал мою «Божену Немцову») есть в рукописи моя монография о Юлиусе Зейере. Часть монографии о Сабине и заметки о Яне Неруде спрятаны где-то в доме, в котором жили Елинеки, Высушилы и Суханеки. Большинства из этих товарищей уже нет в живых.
Я начал писать роман о нашем поколении. Две главы хранятся у моих родителей, остальные, очевидно, пропали. Несколько рукописных рассказов я заметил в бумагах гестапо.
Будущему историку литературы я завещаю любовь к Яну Неруде. Это наш величайший поэт. Он смотрел далеко в будущее, видел даже то время, которое придет после нас. Не было еще ни одного исследования, где Яна Неруду поняли и оценили бы по заслугам. Надо показать Неруду-пролетария. На него налепили ярлык любителя малостранской идиллии и

не видят, что для этой «идиллической» старосветской Малой Страны он был «непутевым парнем», что родился он на рубеже Смихова и Малой Страны в рабочем районе и что на малостранское кладбище за своими «Кладбищенскими цветами» ходил он мимо Рингхоферовки. Без этого не понять путь Неруды от «Кладбищенских цветов» до фельетона «1 мая 1890 г.»!

Некоторые критики, даже критик с таким ясным умом, как Шальда, считают помехой для поэтического творчества Неруды его журналистскую деятельность. Бессмыслица! Именно потому, что Неруда был журналистом, он смог написать такие великолепные вещи, как «Баллады и романсы» или «Песни страстной пятницы» и большую часть «Простых мотивов». Журналистика изнуряет, может быть, рассеивает человека, но она же сближает автора с читателем и помогает автору в его поэтическом творчестве. В особенности это можно сказать о таком добросовестном журналисте, как Неруда. Неруда без газеты, которая живет день, мог бы написать не одну книгу стихов, но не написал бы ни одной, которая пережила бы столетия так, как переживут их все его творения.

Может быть, кто-нибудь закончит мою монографию о Сабине. Он этого заслуживает.

Всей своей работой, предназначенной не только для них, я хотел бы обеспечить солнечную осень моим родителям за их любовь и благородство. Да не будет эта осень омрачена тем, что я не с ними! «Рабочий умирает, но труд его живет». В тепле и свете, которые их окружают, я буду всегда с ними. Моих сестер, Либу и Веру, прошу своими песнями помочь отцу и матери забыть об утрате в нашей семье. Они вдоволь наплакались на свиданиях с нами во дворце Печека. Но и радость живет в них, за это я их люблю, за это мы любим друг друга. Они сеятели радости и пусть навсегда останутся ими.

Товарищам, которые переживут эту последнюю битву, и тем, кто придет после нас, крепко жму руку. За себя и за Густину. Мы выполнили свой долг.

И снова повторяю: жили мы для радости, за радость шли в бой, за нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем.

19 мая 1943 года. Ю.Ф.

22 мая 1943 года

Окончено и подписано. Следствие по моему делу вчера завершено. Все идет быстрее, чем я предполагал. Видимо, в данном случае они торопятся. Вместе со мной обвиняются Лида Плаха и Мирек. Не помогло ему и его предательство.

Следователь так корректен, что от него веет холодом.

В гестапо еще чувствовалась какая-то жизнь, страшная, но все-таки жизнь. Там была хоть страсть — страсть борцов на одной стороне и страсть преследователей, хищников или просто грабителей — на другой. Кое у кого на вражеской стороне было даже нечто вроде убеждений. Здесь, у следователя, была лишь канцелярия. Большие бляхи со свастикой на обшлагах мундира декларируют убеждения, которых нет. Эти бляхи лишь вывеска, за ней прячется жалкий чинуша, которому надо как-нибудь просуществовать эти годы. С обвиняемым он ни добр, ни зол, не засмеется и не нахмурится. Он при исполнении служебных обязанностей. В жилах у него не кровь, а нечто вроде жидкой похлебки.

«Дело» составили и подписали, все подвели под параграфы. Чуть ли не шесть раз государственная измена, заговор против Германской империи, подготовка вооруженного восстания и еще неведомо что. Каждого пункта в отдельности хватило бы с избытком.

Тринадцать месяцев боролся я за жизнь товарищей и за свою. И смелостью и хитростью. Мои враги вписали в свою программу «нордическую хитрость». Думаю, что и я кое-что понимаю в хитрости. Я проиграю только потому, что у них, кроме хитрости, еще и топор в руках.

Итак, конец единоборству. Теперь осталось только ждать. Пока составят обвинительный акт, пройдет две — три недели, потом меня повезут в Германию, суд, приговор, а затем сто дней ожидания оказии. Такова перспектива. Итак, у меня в запасе четыре, может быть, пять

месяцев. За это время может измениться многое. Может измениться все. Может… Сидя здесь, предсказать трудно. Но ускорение развязки за стенами тюрьмы может ускорить и наш конец. Так что шансы уравниваются.
Надежда состязается с войной, смерть состязается со смертью. Что придет скорее — смерть фашизма или моя смерть? Не передо мной одним встает этот вопрос. Его задают десятки тысяч узников, миллионы солдат, десятки миллионов людей в Европе и во всем мире. У одного надежды больше, у другого меньше. Но это только кажется. Разлагающийся капитализм заполнил мир ужасами, и эти ужасы угрожают каждому смертельной бедой. Сотни тысяч людей — и каких людей — погибнут прежде, чем оставшиеся в живых смогут сказать себе: мы пережили фашизм.
Решают уже месяцы, скоро будут решать дни. И как раз они и будут самыми трудными. Не раз я думал, как досадно быть последней жертвой войны, солдатом, в сердце которого в последний миг попадает последняя пуля. Но кто-то должен быть последним! И если бы я знал, что после меня не будет больше жертв, я бы немедля пошел на смерть.
За недолгий срок, который я еще пробуду в тюрьме Панкрац, мне уже не удастся сделать этот репортаж таким, каким бы мне хотелось.
Надо быть лаконичнее. Репортаж будет больше свидетельствовать о людях, чем о времени. Это, я думаю, самое важное.
Я начал свои портреты с четы Елинеков, простых людей, в которых в обычное время никто бы не увидел героев.
При аресте они стояли рядом, подняв руки: он бледный, она с чахоточным румянцем на скулах. В глазах ее мелькнул испуг, когда она увидела, как гестаповцы за пять минут перевернули вверх дном ее образцовую квартирку. Она медленно повернула голову к мужу и спросила:
— Пепик, что теперь будет?
Он всегда был немногоречив, с трудом находил слова, необходимость говорить выводила его из равновесия. Теперь он ответил спокойно, без напряжения:
— Пойдем на смерть, Маня.
Она не вскрикнула, не пошатнулась, только легким движением опустила и подала ему руку под дулами направленных на них револьверов. За это ему и ей достались первые удары по лицу. Мария отерла лицо, посмотрела несколько удивленно на непрошеных гостей и сказала не без юмора:
— Такие красивые парни, — голос ее окреп, — такие красивые парни… и такие звери.
Она не ошиблась. Через несколько часов ее выводили из кабинета, где происходил «допрос», избитую почти до бесчувствия. Но не добились от нее ничего. Ни в этот раз, ни потом.
Не знаю, что происходило с Елинеками в те дни, когда я замертво лежал в камере. Знаю только, что за все это время они не сказали гестаповцам ни слова. Они ждали указаний от меня. Сколько раз Пепика связывали по рукам и ногам и били, били, били…
Но он не говорил до тех пор, пока мне не удавалось сказать ему или хотя бы дать понять взглядом, что можно говорить и как это нужно сделать, чтобы запутать следствие.
Мария была очень чувствительна и не прочь поплакать. Такой я знал ее до ареста. Но за время заключения я не видел слезинки на ее глазах. Она любила свою квартирку. Но когда товарищи с воли, чтобы сделать ей приятное, сообщили, что знают, кто украл ее мебель, и держат вора на примете, Мария ответила:
— Черт с ней, с мебелью! Не стоит тратить на это время. Есть дела поважнее, теперь вы должны работать и за нас. Сперва надо навести порядок в главном, а там, если я доживу, дома наведу порядок сама.
Настал день, когда их обоих увезли в разные стороны. Тщетно я пытался узнать об их судьбе. Из гестапо люди исчезают бесследно, исчезают и рассеиваются по тысячам разных кладбищ. Но какие всходы даст этот страшный посев!
Последним заветом Марии было:
«Передайте на волю, чтобы меня не жалели и не дали себя запугать. Я делала, что велел мне мой рабочий долг, и умру, не изменив ему».

Она была «всего лишь служанка». У нее не было классического образования, и она не знала, что когда-то уже было сказано: «Путник, поведай ты гражданам Лакедемона, что, их заветам верны, мертвые здесь мы лежим».

Супруги Высушил

Они жили в том же доме, где Елинеки. В квартире рядом. И звали их тоже Йозеф и Мария. Они были немного старше своих соседей.
Йозеф был мелким служащим.
В первую мировую вомну его, пусельского долговязого семнадцатилетнего парня, взяли в солдаты. Через несколько недель он вернулся с фронта с раздробленным коленом и навсегда остался калекой.
Он познакомился с Марией в лазарете в Брно, где она была сиделкой. Мария была старше его на восемь лет. С первым мужем жизнь у нее сложилась несчастливо, она разошлась с ним и после войны вышла замуж за Пепика. В ее отношении к нему навсегда осталось что-то покровительственное, материнское. Оба они были не из пролетарских семей, и их семья тоже не была пролетарской. Их путь к партии был несколько сложнее, труднее, но они нашли этот путь. Как во многих подобных случаях, он лежал через Советский Союз. Еще до оккупации они знали уже, к чему стремятся, и укрывали в своей квартире немецких антифашистов.
В самое тяжелое время, после нападения Германии на Советский Союз и в период первого осадного положения в 1941 году, у них собирались члены Центрального Комитета. У них ночевали Гонза Зика и Гонза Черный, а чаще всего я. Здесь писались статьи для «Руде право», здесь было принято много решений, здесь я впервые встретился с «Карлом» — Черным.
Йозеф и Мария были точны до щепетильности, внимательны и никогда не терялись при неожиданностях, а их в нелегальной работе всегда уйма. Они умели соблюдать конспирацию. Да и кому могло прийти в голову, что долговязый Высушил, мелкий служащий с железной дороги, и его «пани» могли быть замешаны в чем-то запретном?
И все-таки его арестовали вскоре после меня. Я сильно встревожился, когда увидел его в тюрьме. Очень многое оказалось бы под угрозой, если бы он заговорил. Но он молчал. Его арестовали за несколько листовок, которые он дал прочесть товарищу, и, кроме как об этих листовках, от него гестаповцы ничего не узнали.
Через несколько месяцев, когда открылось, что Гонза Черный жил у свояченицы Высушила, гестаповцы два дня «допрашивали» Пепика, пытаясь найти следы последнего из могикан нашего Центрального Комитета. На третий день Пепик появился в «Четырехсотке» и осторожно примостился на скамейке — на живом мясе чертовски трудно сидеть. Встревоженный, я посмотрел на него вопросительно и ободряюще. Он откликнулся с лаконичностью жителей пражской окраины:
— Коль башка прикажет, ни язык, ни задница не скажет.
Я хорошо знал эту пару, знал, как они любили друг друга, как они скучали, когда приходилось расставаться на день — другой. Теперь проходили месяцы… Как тяжело должно было жить одинокой женщине в уютной квартирке, женщине в том возрасте, когда одиночество хуже смерти. Сколько бессонных ночей провела она наедине, размышляя, как бы помочь мужу, как бы вернуть свою крохотную идиллию, — они немного смешно называли друг друга «мамочкой» и «папочкой». И она нашла единственно правильный путь: продолжать его дело, работать за себя и за него.
В новогоднюю ночь 1943 года она поставила на стол два прибора. На том месте, где обычно сидел он, стояла его фотография. Пробила полночь, и Мария чокнулась с его рюмкой, выпила за его здоровье, за то, чтобы он вернулся, за то, чтобы он дожил до свободы.
Через месяц арестовали и ее. Многие заключенные в «Четырехсотке» встревожились, узнав об этом, так как на воле Мария была одной из связных.
Но она не сказала ни слова.

Ее не били. Она была слишком тяжело больна и умерла бы под палкой. Для нее изобрели пытку похуже — терзали ее воображение.
За несколько дней до ее ареста Пепика угнали в Польшу на принудительные работы. И на допросах ей говорили:
— Жизнь там, знаете ли, тяжелая. Даже для здоровых. А ваш муж калека. Он не выдержит: помрет где-нибудь, так и не увидите его. А разве сможете вы, в ваши-то годы, найти другого? Будьте же благоразумны, расскажите, что знаете, и мы тотчас же вернем вам вашего мужа.
«Помрет где-нибудь… Мой бедный Пепик! И бог весть какой смертью… Сестру мою убили, мужа убивают, останусь одна, совсем одна. Это в мои-то годы! Одна-одинешенька до самой смерти… А ведь могла бы его спасти, вернули бы мне его… Но такой ценой? Нет, это была бы уже не я, это был бы уже не мой «папочка».
Не выдала ничего, исчезла где-то в одном из безыменных транспортов гестапо. Скоро пришла весть, что Пепик умер в Польше.

Лида

Впервые я пришел к Баксам вечером. Дома были только Йожка и маленькое создание с шустрыми глазами, которое называли Лидой. Это был еще почти ребенок. Она с любопытством уставилась на мою бороду, явно довольная, что в квартире появилось новое развлечение, которое может занять ее на некоторое время.

Мы быстро подружились. Выяснилось, что этой девочке скоро девятнадцать лет, что она сводная сестра Йожки, фамилия ее Плаха — очень мало подходящая к ней
[6]
— и что больше всего на свете она увлекается любительскими спектаклями.

Я стал поверенным ее тайн, Из чего уразумел, что я уже мужчина в летах. Она доверяла мне свои юные мечты и печали и в спорах с сестрой или зятем прибегала ко мне, как к третейскому судье.
Она была порывиста, как девушка-подросток, и избалована, как младший ребенок в семье.
Лида была моим провожатым, когда после полугода конспиративного сидения взаперти я первый раз вышел из дома прогуляться. Пожилой прихрамывающий господин меньше обращает на себя внимания, если идет не один, а с дочерью. Заглядываться будут скорее на нее, чем на него. Лида пошла со мною и на вторую прогулку, потом на первую нелегальную встречу, потом на первую явку.
И так — как говорится теперь в обвинительном акте — само собой получилось, что она стала моей связной
Лида делала все с охотой, не особенно интересуясь тем, что это значит и для чего это нужно. Это было нечто новое, интересное, такое, что не каждый может делать, что похоже на приключение. И этого ей было достаточно.
Пока она не принимала участия ни в чем серьезном, я тоже не хотел ни во что посвящать ее. В случае ареста неосведомленность была бы ей лучшей защитой, чем сознание «вины».
Но Лида все больше втягивалась в работу. Ей уже можно было дать поручение посерьезнее, чем забежать к Елинекам и передать им какое-нибудь мелкое задание. Ей уже пора было узнать, для чего мы работаем. И я начал объяснять. Это были уроки, самые настоящие регулярные уроки Лида училась прилежно и с охотой. На вид она оставалась все той же девочкой, веселой, легкомысленной и немного озорной, но на самом деле она была уже иная. Она думала и росла.
На подпольной работе Лида познакомилась с Миреком. У него за плечами был уже некоторый опыт подполья, о котором он умел интересно рассказывать. Это импонировало Лиде. Она не разглядела подлинного нутра Мирека, но ведь не разглядел его и я. Важно было, однако, что он стал ей ближе других знакомых молодых людей именно своей видимой убежденностью, своим участием в подпольной работе.

Преданность делу росла и крепла в Лиде. В начале 1942 года она нерешительно, запинаясь, заговорила о вступлении в партию. Никогда я не видел ее такой смущенной. Ни к чему до сих пор она не относилась с такой серьезностью. Я все еще колебался. Все еще подготавливал и испытывал ее. В феврале 1942 года она была принята в партию непосредственно Центральным Комитетом. Поздней морозной ночью мы возвращались домой. Обычно разговорчивая, Лида молчала. В поле, недалеко от дома, она вдруг остановилась и тихо, совсем тихо, так, что был слышен хруст снега под йогами, сказала:
— Я знаю, что это был самый важный день в моей жизни. Больше я не принадлежу себе. Обещаю, что не подведу, что бы ни случилось.
Случилось многое. И Лида не подвела.
Она поддерживала связь между членами Центрального Комитета. Ей поручались опаснейшие задания: восстанавливать нарушенные с. вязи и предупреждать людей, находившихся в опасности. Когда явке грозил неизбежный провал, Лида шла туда и проскальзывала, как угорь. Делала она это, как и раньше: уверенно, с веселой беззаботностью, под которой, однако, скрывалось сознание своей ответственности.
Ее арестовали через месяц после нас. Признания Мирека обратили на нее внимание гестаповцев, и вскоре без труда выяснилось, что она помогла сестре и зятю скрыться и перейти в подполье. Тряхнув головой, Лида начала с темпераментом разыгрывать роль легкомысленной девчонки, которая и представления не имела о каких-либо запретных делах и связанных с ними последствиях.
Она знала многое и не выдала ничего. А главное, она не перестала работать и в тюрьме. Изменилась обстановка, изменились методы работы, изменились задания. Но осталась обязанность члена партии — никогда не опускать рук. Все задания она выполняла самоотверженно, быстро и точно. Если нужно было выпутаться из трудного положения и спасти кого-нибудь на воле, Лида с невинным видом брала на себя чужую «вину». В Панкраце она стала коридорной, и десятки совершенно незнакомых людей обязаны ей тем, что избежали ареста. Только через год случайно перехваченная тюремщиками записка положила конец ее «карьере».

Теперь Лида поедет с нами на суд в Германию. Она единственная из всей нашей большой группы, у кого есть надежда дожить до дней свободы. Она молода. Если нас уже не будет в живых, постарайтесь, чтобы она не оказалась потерянной для партии. Ей нужно многому учиться. Учите ее, берегите ее от застоя. Направляйте ее. Не давайте ей зазнаваться или успокаиваться на достигнутом. Она хорошо проявила себя в самое тяжелое время. Пройдя испытание огнем, она показала, что создана
из
прочного металла.

Мой гестаповец

Это уже не человек, это человечишка, однако небезынтересный и несколько крупнее других.
Когда лет десять назад, сидя в кафе «Флора» на Виноградах, гы собирался постучать монетой о стол или крикнуть: «Официант! Получите», — около тебя вырастал высокий худощавый человек в черном. Беззвучно, словно водяной жук, проплыв между столиками, он подавал тебе счет. У него были быстрые и бесшумные движения хищника и быстрые рысьи глаза, которые замечали все. Ему не надо было говорить, чего ты хочешь, он сам указывал кельнерам: «Третий стол — одно кофе с молоком», «Налево у окна — пирожное и «Лидове новины». Посетители считали его отличным официантом, а официанты — хорошим сослуживцем.
Тогда я еще не знал его. Мы познакомились значительно позднее, у Елинеков, когда он вместо карандаша держал в руке револьвер и, показывая на меня, говорил:
— Этот меня интересует больше всех.

Сказать по правде, мы оба проявляли интерес друг к другу.
У него был врожденный ум, и от остальных гестаповцев он выгодно отличался тем, что разбирался в людях. В уголовной полиции он мог бы, несомненно, сделать карьеру. Мелкие жулики и убийцы, деклассированные одиночки, наверное, не колеблясь, открывались бы ему: у них одна забота — спасти свою шкуру.
Но политической полиции редко приходится иметь дело со шкурниками. В гестапо хитрость полицейского сталкивается не только с хитростью узника. Ей противостоит сила несравненно большая: убежденность заключенного, мудрость коллектива, к которому он принадлежит. А против этого немногое сделаешь одной хитростью или побоями.
Твердых убеждений у «моего» комиссара не было, как не было их и у всех прочих гестаповцев. А если кое у кого и бывали убеждения, то в сочетании с глупостью, а не с умом, теоретической подготовкой и знанием людей. И если в целом пражское гестапо все же действовало с успехом, то только потому, что наша борьба слишком затянулась и была очень стеснена пространством.
Это были самые тяжелые условия, в каких когда-либо работало подполье. Русские большевики говорили, что тот, кто выдержит два года в подполье, — хороший подпольщик. Но когда им грозил провал в Москве, они могли скрыться в Петроград, а из Петрограда в Одессу: они могли затеряться в городах с многомиллионным населением, где их никто не знал. А у нас была лишь Прага, Прага и еще раз Прага, где тебя знает полгорода и где враг может сосредоточить целую стаю провокаторов. И все же мы держались годы, и есть товарищи, которые почти пять лет живут в подполье, и гестапо до сих пор не смогло добраться до них. Это потому, что мы многому научились. И еще потому, что враг, хотя он силен и жесток, не знает иных методов, кроме уничтожения.
В отделе II-AI три человека считаются особенно жестокими врагами коммунистов и носят черно-бело-красные ленточки «За заслуги в борьбе с внутренним врагом». Это Фридрих, Зандер и «мой» гестаповец, Йозеф Бем. О гитлеровском национал-социализме они распространяются мало. Ровно столько, сколько знают о нем. Они борются не за политическую идею, а за самих себя. Каждый на свой лад.
Зандер — тщедушный человек с разлившейся желчью. Он лучше других умеет пользоваться полицейскими приемами, но еще лучше разбирается в финансовых операциях. Однажды его перевели из Праги в Берлин, но через несколько месяцев он выклянчил перевод на прежнее место. Служба в столице Третьей империи была для него понижением и крупным убытком. У колониального чиновника в дебрях Африки или в Праге больше власти, чем в метрополии, и больше возможности пополнить свой банковский счет. Зандер усерден и часто, чтобы показать свое рвение, допрашивает даже в обеденное время. Это ему нужно, чтобы прикрыть еще большее рвение к собственной наживе. Горе тому, кто попадется в его руки, но еще большее горе тому, у кого дома есть сберегательная книжка или ценные бумаги. Он должен умереть в кратчайший срок, ибо сберегательные книжки и ценные бумаги — это страсть Зандера. Он считается самым способным из гестаповцев… по этой части. (В отличие от него его чешский помощник и переводчик Смола являет собой тип грабителя-джентльмена: отняв деньги, он не посягает на жизнь.)
Фридрих — долговязый, поджарый, смуглолицый субъект со злыми глазами и злой усмешкой. В Чехословакию он приехал еще в 1937 году как агент гестапо и участвовал в убийствах немецких антифашистов-эмигрантов. Он любит людей только мертвыми. Невиновных для Фридриха не существует. Всякий, кто переступил порог его кабинета, виновен. Фридрих любит сообщать женам, что их мужья умерли в концлагере или были казнены. Он любит вынимать из ящика семь маленьких урн и показывать допрашиваемым.
— Этих семерых я ликвидировал собственноручно. Ты будешь восьмым.
(Сейчас урн уже восемь.)
Фридрих любит перелистывать старые «дела» и удовлетворенно произносит, встречая имена казненных: «Ликвидирован! Ликвидирован!»
Особенно охотно он пытает женщин.
Его страсть — роскошь. Это дополнительный стимул его полицейского усердия. Если у нас мануфактурный магазин или хорошо обставленная квартира, это значительно ускорит вашу смерть.
Хватит о Фридрихе.

Его помощник, чех Нергр, ниже его ростом на полголовы. Другой разницы между ними нет.
У Бема нет особого пристрастия ни к деньгам, ни к мертвецам, хотя последних на его счету не меньше, чем у Зандера или Фридриха. По натуре он авантюрист и хочет выбиться в люди. Для гестапо он работает уже давно: был официантом в кафе «Наполеон», где происходили секретные встречи Берана, и чего не докладывал Гитлеру Беран, доносил Бем. Но разве это можно сравнить с охотой на людей, с возможностью распоряжаться их жизнью и смертью, решать судьбы целых семей? Он не обязательно жаждал свирепой расправы над заключенными. Но если нельзя было выдвинуться иначе, шел на любые жестокости. Ибо что значит красота и человеческая жизнь для того, кто ищет геростратовой славы?
Бем создал широчайшую сеть провокаторов… Он охотник с огромной сворой гончих собак. И он охотится. Часто из простой любви к охоте. Допросы — это уже скучное ремесло. Главное удовольствие для него — арестовывать и наблюдать людей, ожидающих его решения.
Однажды он арестовал в Праге более двухсот вожатых и кондукторов трамваев, автобусов и троллейбусов и гнал их по рельсам, остановив транспорт, задержав уличное движение. Это было для него величайшим удовольствием. Потом он освободил сто пятьдесят человек, довольный тем, что в ста пятидесяти семьях его назовут «добрым».
Бем обычно вел массовые, но незначительные дела. Я попал ему в руки случайно и был исключением.
— Ты — мое крупнейшее дело, — откровенно говорил он мне и очень гордился тем, что мое дело вообще считалось одним из самых крупных. Возможно, это обстоятельство и продлило мою жизнь.
Мы неутомимо лгали друг другу, однако это не было ложью без оглядки. Я всегда знал, когда он лжет, а он — только иногда. После того как ложь становилась явной для обоих, мы по молчаливому уговору переходили к другому вопросу. Я думаю, ему не столько важно было установить истину, сколько «хорошо сделать» свое «крупнейшее дело».
Палку и железные прутья он не считал единственными средствами воздействия. Вообще он охотнее убеждал или грозил в зависимости от того, как он оценивал «своего» человека. Меня он никогда не истязал, кроме разве первой ночи, но при случае передавал для этой цели кому-нибудь другому.
Он был безусловно занятнее и сложнее других гестаповцев У него была богаче фантазия, и он умел ею пользоваться. Иногда он устраивал вымышленное свидание, вывозил меня в Браник, и мы сидели в ресторанчике, в саду, наблюдали струившийся мимо нас людской поток.
— Вот ты арестован, — философствовал Бем, — а посмотри, изменилось ли что-нибудь вокруг? Люди ходят, как и раньше, смеются, хлопочут, и все идет своим чередом, как будто тебя и не было. Среди этих прохожих есть и твои читатели. Не думаешь ли ты, что у них из-за тебя прибавилась хотя одна морщинка?
Однажды после многочасового допроса он посадил меня вечером в машину и повез через всю Прагу к Градчанам, над Нерудовой улицей.
— Я знаю, ты любишь Прагу. Посмотри Неужели тебе не хочется вернуться сюда? Как она хороша! И останется такой же, когда уже тебя не будет…
Он был умелым искусителем. Летним вечером, тронутая дыханием близкой осени, Прага была в голубоватой дымке, как зреющий виноград, пьянила, как вино: хотелось смотреть на нее до скончания веков…
— И станет еще прекраснее, когда здесь не будет вас, — прервал его я.
Он усмехнулся не злобно, а как-то хмуро и сказал:
— Ты циник.
Потом он не раз вспоминал этот вечерний разговор.
— Когда не будет нас… Значит, ты все еще не веришь в нашу победу?
Он задавал этот вопрос потому, что не верил сам. И он внимательно слушал однажды то, что я говорил о силе и непобедимости Советского Союза. Это был, кстати сказать, один из моих последних допросов.

— Убивая чешских коммунистов, вы с каждым из них убиваете частицу надежды немецкого народа на будущее, — не раз говорил я Бему. — Только коммунизм может спасти его в будущем.
Он махнул рукой.
— Нас уже не спасешь, если мы потерпим поражение, — он вытащил пистолет. — Вот смотри, последние три пули я берегу для себя.
…Но это уже характеризует не только его. Это характеризует эпоху, которая клонится к закату.

Интермеццо о подтяжках

У двери противоположной камеры висят подтяжки. Обыкновенные мужские подтяжки. Предмет, который я никогда не любил. Теперь я с радостью поглядываю на них всякий раз, когда открывается наша дверь. В этих подтяжках — крупица надежды.
Когда попадаешь в тюрьму, где тебя, возможно, вскоре забьют до смерти, первым делом у тебя отбирают галстук, пояс и подтяжки, чтобы ты не повесился (хотя отлично можно повеситься с помощью простыни). Эти опасные орудия смерти хранятся в тюремной канцелярии до тех пор, пока какая-нибудь Немезида из гестапо не решит, что надо послать тебя на принудительные работы, в концлагерь или на казнь. Тогда тебя приводят в канцелярию и с важным видом выдают галстук и подтяжки. Но в камеру эта вещи брать нельзя. Ты должен повесить их в коридоре около дверей или на перилах напротив. Там они висят до твоей отправки как наглядный знак того, что один из обитателей камеры готовится в невольное путешествие.
Подтяжки у противоположной двери появились в тот самый день, когда я узнал, какая судьба ожидает Густину. Товарища из камеры напротив отправляют на принудительные работы с той же партией, что и Густу. Транспорт еще не отбыл. Он неожиданно задержался, говорят, потому, что место назначения разбомбили дотла. (Ничего себе перспектива!) Когда отправится транспорт, никому не известно. Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, может быть, через неделю или две. Подтяжки напротив еще висят. И я знаю: пока они здесь, Густина в Праге. Поэтому я поглядываю на подтяжки радостно и с любовью, как па сообщников Густины, которые ей помогают… Она выиграла уже день, два, три… Кто знает, что это может дать? Не спасет ли ее лишний день промедления?
Все мы здесь живем этим. Сегодня, месяц назад, год назад мы думали и думаем только о завтрашнем дне, в нем наша надежда. Твоя судьба решена, послезавтра ты будешь казнен… Но эх, мало ли что может случиться завтра! Только бы дожить до завтра, завтра все может перемениться, все кругом так неустойчиво и… кто знает, что может случиться завтра? «Завтра» сменяются один за другим, тысячи людей гибнут, для тысячи пег уже больше «завтра», но уцелевшие живут одной надеждой — завтра, кто знает, что будет завтра? Такое настроение порождает самые невероятные слухи, каждую неделю появляется новое оптимистическое предсказание конца войны, все, широко улыбаясь, охотно подхватывают радужную версию, каждую неделю в тюрьме распространяется новая сенсация, которой так хочется верить. Борешься с этим, развенчиваешь беспочвенные надежды — они не укрепляют, а только расслабляют людей, — ведь оптимизм может и должен питаться не выдумкой, а правдой, ясным предвидением несомненной победы, но и в тебе живет надежда, что один какой-то день может стать решающим, что лишний день, который удастся отстоять, перенесет тебя через грань смерти, нависшей над тобой, к жизни, от которой так не хочется отказываться.
Так мало дней в человеческой жизни, а тут еще хочется, чтобы они бежали быстрее, быстрее, быстрее… Время, быстро текущее и неуловимое, неудержимо приближающее нас к старости, становится нашим другом. Как это странно…
Завтрашний день стал вчерашним. Послезавтрашний — сегодняшним и тоже ушел в прошлое.
Подтяжки у двери все еще висят.

Глава VI. Осадное положение 1942 года

27 мая 1943 года.
Это было ровно год назад.
С допроса меня отвели вниз, в «кино». Таков был ежедневный маршрут «Четырехсотки»; в полдень вниз — на обед, который привозят из Панкраца, а после обеда — обратно на четвертый этаж. Но в тот день мы больше наверх не попали.
Сидим за обедом. На скамьях тесно, заключенные усиленно работают челюстями и ложками. С виду все почти по-человечески. Но если бы вдруг в эту минуту те, кто будет мертв завтра, превратились в скелеты, звяканье ложек о глиняную посуду потонуло бы в хрусте костей и сухом лязге челюстей. Однако пока никто ничего не подозревает. Все едят с аппетитом, надеясь поддержать свою жизнь еще на недели, месяцы, годы.
Казалось, что стоит безоблачная погода. И вдруг внезапный порыв ветра. И снова тишина. Только по лицам надзирателей можно догадаться, что происходит что-то. А через несколько минут и более ясный признак: нас вызывают и выстраивают для отправки в Панкрац. В обед! Случай небывалый. Представьте, что у вас распухла голова от вопросов, на которые нельзя ответить, и вас на целых полдня оставляют в покое, — это ли не милость божия? Так и показалось нам сначала Но это было не так.
В коридоре встречаем генерала Элиаша. Вид у него встревоженный: заметив меня, он, несмотря на снующих вокруг надзирателей, успевает шепнуть:
— Осадное положение.
В распоряжении заключенного для передачи самых важных новостей только доли секунды. Элиашу уже не удается ответить на мой вопросительный взгляд.
Надзиратели в Панкраце удивлены нашим преждевременным возвращением. Тот, что ведет меня в камеру, внушает мне больше доверия, чем другие. Я еще не знаю, что он собой представляет, но делюсь с ним новостью. Он отрицательно качает головой. Ему ничего не известно. Вероятно, я ослышался. Да, возможно. Это меня успокаивает.
Но вечером он приходит и заглядывает в камеру.
— Вы были правы. Покушение на Гейдриха. Тяжело ранен. В Праге осадное положение.

На следующее утро перед отправкой на допрос нас выстраивают в нижнем коридоре. С нами сегодня товарищ Виктор Сынек, последний из оставшихся в живых членов Центрального Комитета коммунистической партии, весь состав которого был арестован в феврале 1941 года. Долговязый ключник-эсэсовец размахивает перед его носом белым листком бумаги, на котором жирным шрифтом отпечатано: «Entlassungsbefehl» [7]
.

Эсэсовец скалит зубы.
— Вот видишь, еврей, дождался-таки. Пропуск на тот свет! Чик — и готово! — проводит он пальцем по шее, показывая, как отлетит голова Виктора.
Во время осадного положения в 1941 году первым был казнен Отто Сынек. Виктор, его брат, — первая жертва осадного положения 1942 года. Его везут в Маутхаузен. На расстрел, как они деликатно выражаются.
Поездка из Панкраца во дворец Печека и обратно становится крестным путем для заключенных. Эсэсовская охрана «мстит за Гейдриха». Не успевает машина проехать и километр, как у доброго десятка заключенных лица разбиты в кровь рукоятками револьверов.
Остальным заключенным со мной ехать выгодно — моя длинная борода отвлекает внимание эсэсовцев, и они всячески изощряются, потешаясь над ней. Держаться за мою бороду, как за ремень в подпрыгивающем автобусе, — одно из самых любимых развлечений. Для меня это неплохая подготовка к допросам, которые соответствуют новой ситуации и неизменно заканчиваются напутствием:
— Не образумишься до завтра, расстреляем.

В этом нет уже ничего страшного. Что ни вечер, слышишь, как внизу, в коридоре, выкрикивают фамилии заключенных. Пятьдесят, сто, двести человек, которых через минуту, в кандалах, погрузят на машины, как скот, предназначенный на убой, и отвезут за город в Кобылисы на массовый расстрел. В чем вина этих людей? Прежде всего в том, что они ни в чем не виноваты. Их арестовали, ни к чему серьезному они не причастны, и их показания не нужны ни по одному делу, и, значит, они вполне пригодны для расправы. Сатирические стишки, которые один товарищ прочитал девяти другим, привели в тюрьму всех десятерых за два месяца до покушения. Теперь их казнят — за… за то, что они одобряют покушение. Полгода назад арестовали женщину по подозрению в распространении листовок. Она ни в чем не созналась. И вот теперь хватают ее сестер и братьев, мужей сестер и жен братьев и казнят всех, потому что истребление целыми семьями — лозунг осадного положения. Мелкий почтовый чиновник, арестованный по ошибке, стоит внизу у стены и ждет, что его сейчас выпустят на волю. Он слышит свое имя и откликается на вызов. Его присоединяют к колонне приговоренных к смерти, увозят за город и расстреливают. На следующий день выясняется, что должны были казнить его однофамильца. Тогда расстреливают и однофамильца — и все в порядке. Стоит ли тратить время и точно выяснять личность человека, у которого отнимают жизнь! К чему это, если задача состоит в том, чтобы уничтожить целый народ?
Поздно вечером возвращаюсь с допроса Внизу у стены стоит Владислав Ванчура, у ног его маленький узелок с вещами. Я хорошо понимаю, что это значит. Понимает и он. Мы пожимаем друг другу руки. Поднявшись наверх, я вижу его еще раз из коридора, как он стоит, слегка наклонив голову, и глядит куда-то вдаль…
Несколько дней спустя у той же стены — Милош Красный, арестованный еще в октябре прошлого года, доблестный боец революции, не сломленный ни пытками, ни одиночным заключением. Он спокойно говорит что-то стоящему позади конвойному, слегка повернув к нему голову. Увидев меня, Милош улыбается, кивает мне на прощание и продолжает:
— Это вам нисколько не поможет. Нас погибнет еще немало, но разбиты будете все-таки вы…
И еще раз как-то в полдень. Мы стоим внизу, во дворце Печека, и ждем обеда. Приводят Элиаша. Под мышкой у него газета, он с улыбкой указывает на нее; он только что прочел, что был связан с участниками покушения
— Брехня! — говорит он кратко и принимается за еду.
Он шутит над этим и вечером, когда возвращается с остальными в Панкрац. А час спустя его уводят из камеры и везут в Кобылисы.
Груды трупов растут. Считают уже не десятками и не сотнями, а тысячами. Запах непрерывно льющейся крови щекочет ноздри двуногих зверей. Они «работают» с утра до поздней ночи, «работают» и по воскресеньям. Теперь все они ходят в эсэсовской форме, это их праздник, торжество уничтожения. Они посылают на смерть рабочих, учителей, крестьян, писателей, чиновников; они истребляют мужчин, женщин, детей; убивают целыми семьями, уничтожают и сжигают целые деревни. Свинцовая смерть, как чума, расхаживает по всей стране и не щадит никого.
А человек среди этого ужаса?
Живет.
Невероятно. Но он живет, ест, спит, любит, работает, думает о множестве вещей, которые совсем не вяжутся со смертью. Вероятно, в глубине души он ощущает гнетущую тяжесть, но он несет ее, не сгибаясь, не падая духом.
Во время осадного положения «мой» гестаповец повез меня в Браник. Июньский вечер благоухал липами и отцветающими акациями. Было воскресенье. Шоссе, ведушее к конечной остановке трамвая, не вмещало торопливого потока людей, возвращавшихся в город с прогулки. Они шумели, веселые, блаженно утомленные солнцем, водой, объятиями возлюбленных. Одной только смерти, которая ежеминутно подстерегает их, выбирая все новые и новые жертвы, я не увидел на их лицах. Они копошились, словно кролики, легкомысленные и милые. Словно кролики! Схвати и вытащи одного из них, чтобы съесть, — остальные забьются в уголок, а через минуту, смотришь, уже снова начали свою возню, снова хлопочут и радуются, полные жизни.

Из тюрьмы, отгороженной от мира высокой стеной, я попал так неожиданно в шумный людской поток, что вначале мне стало горько при виде этого беззаботного счастья.
Но я был неправ, совершенно неправ.
То, что я видел, была жизнь, и у нас в тюрьме была жизнь: жизнь под тяжким гнетом, неистребимая жизнь, которую стараются задушить и уничтожить в одном месте, а она пробивается сотнями побегов в другом, жизнь, которая сильнее смерти. Так что же в этом горького?
Впрочем, разве мы, обитатели камер, живущие непосредственно среди этого ужаса, сделаны из другого теста?
Иногда случалось, что по пути на допрос охрана в полицейском автомобиле вела себя более или менее мирно. Через окошечко я смотрел на улицы, витрины магазинов, на киоски с цветами, на толпы прохожих, на женщин. Как-то я загадал, что если по дороге я увижу девять пар хорошеньких ножек, то вернусь с допроса живым. И вот я стал считать, рассматривать, сравнивать: я внимательно изучал линии ног, одобрял и не одобрял их с неподдельным увлечением, как, вероятно, не оценивают ножки, если от этого зависит жизнь.
Обычно я возвращался в камеру поздно. Папашу Пешека уже начинал мучить вопрос: вернусь ли я вообще? Он обнимал меня, я коротко рассказывал последние новости, сообщал, кто еще расстрелян вчера в Кобылисах, и потом мы с аппетитом съедали ужин из противных сушеных овощей, затягивали веселую песню или с ожесточением играли в кости, в эту глупейшую игру, забыв обо всем на свете. И как раз в те самые вечерние часы, когда в любой момент дверь нашей камеры могла открыться и посланник смерти мог скомандовать одному из нас:
— Вниз! С вещами! Живо!
Но нас так тогда и не вызвали. Мы пережили это страшное время. Теперь, вспоминая о нем, мы удивляемся самим себе. Как поразительно устроен человек, если он выносит самое невыносимое!
Эти минуты не могли, конечно, не оставить в нас глубокого следа. Вероятно, все хранится в какой-нибудь извилине мозга, как свернутая кинолента, которая начала бы с бешеной быстротой разматываться в один из дней настоящей жизни, если бы мы дожили до этого дня. Но может быть также, что мы увидели бы на экране, словно огромное кладбище, только зеленый сад, где посеяны драгоценные семена.
Драгоценные семена, которые дадут всходы!

Глава VII. Люди и людишки (Панкрац)

Тюрьма ведет две жизни. Одна проходит в запертых камерах, тщательно изолирована от внешнего мира и тем не менее всюду, где есть политические заключенные, связана с ним самым тесным образом. Другая — течет вне камер, в длинных коридорах, в тоскливом полумраке; это замкнутый в себе мир, затянутый в мундир, изолированный больше, чем тот, что заперт в камерах, — мир множества людишек и немногих людей. О нем я и хочу рассказать.
У этого мира своя физиология. И своя история. Если бы их не было, я не мог бы узнать его глубже. Я знал бы только декорацию, обращенную к нам, только поверхность этого мира, цельного и прочного на вид, чугунного тяжестью легшего на обитателей камер. Так это было год, даже еще полгода назад. Сейчас поверхность изборождена трещинами, а сквозь трещины проглядывают лица — жалкие, приветливые, озабоченные, смешные — словом, самые разнообразные, но всегда выражающие сущность человека. Режим гнета наложил отпечаток и на обитателей этого мрачного мира, и на его фоне светлыми пятнами выделяется все, что есть там человеческого. Иные едва заметны, другие при ближайшем знакомстве выделяются яснее; и среди них имеются разные типы. Можно найти здесь, конечно, и несколько настоящих людей. Чтоб помогать другим, они не ждали, пока сами попадут в беду.

Тюрьма — учреждение не из веселых. Но мир вне камер мрачнее, чем в камерах. В камерах живет дружба, и еще какая! Такая дружба возникает на фронте, когда людям угрожает постоянная опасность, когда сегодня твою жизнь спасает товарищ, а завтра ты спасаешь его. При существующем режиме среди надзирателей-немцев дружбы почти нет. Она исключается. Они живут в атмосфере предательства, слежки, доносов, каждый остерегается своих сослуживцев, которых официально называет «камарадами»; лучшие из них, кто не может и не хочет обойтись без друзей, ищут их… в камерах.
Мы долго не знали надзирателей по именам. Но это не имело значения. Между собой мы называли их кличками, которые дали им мы или наши предшественники и которые переходят по наследству. У одних столько же прозвищ, сколько камер в тюрьме; это заурядный тип, «ни рыба ни мясо» — здесь он дал добавку к обеду, там дал пощечину; и то и другое — факты случайные, тем не менее они надолго остаются в памяти камеры и создают одностороннее представление и одностороннюю кличку. Но некоторые получают одинаковое прозвище во всех камерах. У этих характер четко выражен. То или это. В хорошую или дурную сторону.
Всмотрись в эти типы! Всмотрись в эти фигурки! Ведь как-никак они набраны не с бору по сосенке. Это часть политической армии нацизма. Особые избранники. Столпы режима. Опора общественного порядка…

«Самаритянин»

Высокий толстяк, говорит тенорком. «СС-резервист» Рейсс, школьный сторож из Кельна. Как все служители немецких школ, прошел курс первой помощи и иногда заменяет тюремного фельдшера. Он был первым из надзирателей, с которым я здесь познакомился. Это он втащил меня в камеру, положил на матрац, осмотрел раны, приложил первые компрессы. Пожалуй, он действительно помог сохранить мне жизнь. Что в этом сказалось: человечность или санитарные курсы? Не знаю. Но в общем в нем все-таки проявлялся отъявленный нацист, когда он выбивал зубы заключенным евреям и заставлял их глотать полную с верхом ложку соли или песку как универсальное средство от всех болезней.

«Мельник»

Добродушный, болтливый парень по имени Фабиан, возчик с Будейовицкой пивоварни. Он входил в камеру с широкой улыбкой на лице, приносил заключенным еду, никогда не дрался. Не верилось даже, что он часами простаивает за дверью, подслушивая разговоры заключенных, и доносит начальству о самых ничтожных пустяках!

Коклар

Тоже рабочий и тоже с Будейовицкой пивоварни. Здесь много немецких рабочих из Судет. «Дело не в том, в чем в данный момент
видит
свою цель отдельный пролетарий или даже весь пролетариат, — писал однажды Маркс. — Дело в том, что
такое
пролетариат и что он, сообразно этому своему
бытию

, исторически вынужден будет сделать». Эти судетские действительно ничего не знают о задачах своего класса. Отторгнутые от него, противопоставленные ему, они идейно повисли в воздухе и, вероятно, будут висеть и в буквальном смысле слова.

Он пришел к нацизму, рассчитывая на более легкую жизнь. Дело оказалось сложнее, чем он себе представлял. С той поры он утратил способность смеяться. Он поставил ставку на нацизм. Оказалось, что он ставил на дохлую лошадь. С той поры он утратил и самообладание. По ночам, расхаживая в мягких туфлях по тюремным коридорам, он машинально оставлял на пыльных абажурах следы своих грустных размышлений.
— Все пошло в нужник! — поэтически писал он пальцем и подумывал о самоубийстве.
Днем от него достается и заключенным и сослуживцам, он орет визгливым, срывающимся голосом, надеясь заглушить страх.

Рёсслер

Тощий, долговязый, говорит грубым басом, один из немногих, способных искренне рассмеяться. Он рабочий-текстильщик из Яблонца. Приходит в камеру и спорит. Целыми часами.
— Как я до этого дошел? У меня десять лег не было настоящей работы. А с двадцатью кронами в неделю на всю семью, сам понимаешь, какая жизнь? А тут приходят они и говорят: мы дадим тебе работу, иди к нам. Я пошел. Работу дали. Мне и всем другим. Сыты. Есть крыша над головой. Можно жить. Социализм? Ну, положим, это не социализм. Я, конечно, представлял себе все по-другому. Но так все-таки лучше, чем было.
— Что? Война? Я не хотел войны. Я не хотел, чтоб другие умирали. Я сам хотел жить.
— Я им помогаю, хочу я того или нет? Что же мне остается делать? Разве я здесь кого-нибудь обижаю? Уйду я — придут другие, может быть, хуже меня. Этим я никому не помогу! Что ж, кончится война, вернусь на фабрику…
— По-твоему, кто выиграет войну? Не мы? Значит, вы? А что тогда будет с нами?
— Конец? Жаль! Я представлял себе все иначе, — и он уходит из камеры, волоча свои длинные ноги.
Через полчаса он возвращается с вопросом: как же, в самом деле, выглядит все в Советском Союзе?

«Оно»

Однажды утром мы ждали внизу, в главном коридоре Панкраца, отправки на допрос во дворец Печека. Нас ставили всегда лицом к стене, чтобы мы не видели, что делается сзади. Вдруг раздался незнакомый мне голос:
— Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете, так вы меня еще узнаете!
Я засмеялся. При здешней муштровке слова жалкого тупицы обер-лейтенанта Дуба из «Швейка» действительно пришлись как нельзя более кстати. Но до сих пор никто не решался произнести эту шутку во всеуслышание. Чувствительный толчок более опытного соседа предупредил меня, дав понять, что смеяться нельзя, что это, по-видимому, сказано всерьез. Это была не острота. Отнюдь нет.
Эти слова произнесло крошечное существо в эсэсовской форме, не имеющее, очевидно, о Швейке никакого понятия. Оно цитировало обер-лейтенанта Дуба потому, что было родственно ему по духу. Оно отзывалось на фамилию Витан и когда-то служило на сверхсрочной службе фельдфебелем в чехословацкой армии. Существо сказало правду. Мы его действительно основательно узнали и говорили о нем не иначе, как в среднем роде: «оно». Говоря по совести, наша фантазия истощилась в поисках меткой клички для этой

смеси убожества, тупости, чванства и жестокости, составляющих краеугольные камни панкрацкого режима.
«Поросенку до хвоста», — говорит о таких мелких и чванливых карьеристах чешская пословица; она бьет их по самому чувствительному месту. Сколько нужно душевного ничтожества, чтобы терзаться из-за своего малого роста! А Витан терзается и мстит за него Всем, кто выше его физически или духовно, то есть решительно всем.
Он никого не бьет. Для этого он слишком труслив. Зато он шпионит. Сколько заключенных поплатилось здоровьем из-за доносов Вита на, сколько поплатилось жизнью, — ведь далеко не безразлично, с какой характеристикой тебя отправят из Панкраца в концентрационный лагерь… и отправят ли вообще.
Он очень смешон. Когда он один в коридоре, то выступает торжественно и важно и мнит себя весьма представительной особой. Но стоит ему кого-нибудь встретить, как он чувствует потребность прибавить себе росту. Спрашивая вас о чем-нибудь, он непременно садится на перила и в такой неудобной позе способен просидеть целый час только потому, что так он выше вас на целую голову. Присутствуя в камере во время бритья, он становится на ступеньку или ходит по скамье и изрекает свое неизменное:
— Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете…
Утром, во время прогулки, он расхаживает по газону, который возвышает его хотя бы на десять сантиметров. В камеры он входит, пыжась, как особа королевской крови, и сейчас же слезает на табурет, чтобы производить поверку с верхнего яруса.
Он очень смешон, но, как всякий облеченный властью болван, от которого зависит человеческая жизнь, к тому же очень опасен. При всем своем тупоумии он обладает талантом делать из мухи слона. Не зная ничего, кроме обязанностей сторожевого пса, он во всяком самом незначительном отступлении от предписанного порядка видит нечто необычайно важное, отвечающее значительности его миссии. Он выдумывает проступок и преступления против установленной дисциплины, чтобы спокойно заснуть, сознавая, что и он кое-что да значит. А кто станет здесь проверять, сколько истины в его доносах?

Сметонц

Мощное туловище, тупое лицо, бессмысленный взгляд — ожившая карикатура Гросса на нацистских молодчиков. Он был доильщиком коров у границ Литвы, по, как пи странно, эти прекрасные животные не оказали на него никакого облагораживающего влияния. У начальства он слывет воплощением «немецких добродетелей»: он решителен, тверд, неподкупен (один из немногих не вымогает еды у коридорных), но…
Какой-то немецкий ученый, уж не знаю, кто именно, некогда исследовал интеллект животных путем подсчета «слов», которые они способны понимать. При этом он, кажется, установил, что самым низким интеллектом обладает домашняя кошка, которая может понимать только сто двадцать восемь слов. Ах, какой она гений по сравнению со Сметонцом, от которого панкрацкая тюрьма слышала всего четыре слова:

> Pass bloss auf, Mensch
> [8]
> .

Ему приходилось два — три раза в педелю сдавать дежурство, всякий раз он отчаянно пыхтел, и все-таки непременно дело кончалось скандалом. Однажды я видел, как начальник тюрьмы распекал его за то, что закрыты окна. Гора мяса с минуту смущенно переминалась на коротких ногах, тупо опущенная голова опустилась еще ниже, губы судорожно искривились, тщетно силясь повторить то, что слышали ущи… и вдруг гора взревела, как сирена; во всех коридорах поднялся переполох, никто ничего не мог понять, окна так и не открыли, а у двух заключенных, случайно подвернувшихся под руку Сметонцу, потекла кровь из носа. Выход был найден.

Такой, как всегда. Бить, бить при всяком случае, а если нужно, то и убить, — это он понимал. Только это. Как-то раз он зашел в общую камеру и ударил одного из заключенных; заключенный, больной человек, упал на пол в судорогах; все остальные должны были приседать в такт его подергиваниям, пока больной не затих, обессилев. А Сметонц, уперев руки в бока, с идиотской улыбкой удовлетворенно наблюдал и радовался: как удачно он разрешил сложную ситуацию.
Примитивное существо, запомнившее из всего, чему его учили, только одно: можно бить! И все же и в таком существе что-то надломилось. Произошло это приблизительно с месяц назад. В тюремной канцелярии сидели вдвоем Сметонц и К.; К. рассказывал о политическом положении. Долго, очень долго пришлось говорить, пока Сметонц начал хоть немного разбираться с вопросе Он встал, отворил дверь канцелярии, внимательно осмотрел коридор; всюду тишина, ночь, тюрьма спит. Притворил и тщательно запер за собой дверь, потом медленно опустился на стул.
— Ты та-ак думаешь?..
И он долго сидел, подперев голову руками. Непосильная тяжесть навалилась на слабую душонку, заключенную в могучем теле. Он долго не менял положения. Потом поднял голову и сказал уныло:
— Должно быть, та-ак. Нам не выиграть…
Уже месяц, как Панкрац не слышит воинственных окриков Сметонца. И новые заключенные не знают, как тяжела его рука.

Начальник тюрьмы

Невысокий, всегда элегантный — в штатском или в форме унтерштурмфюрера, — у него зажиточный вид, он самодоволен, любит собак, охоту и женщин. Это одна сторона, которая нас не касается.
Другая сторона (и таким его знает Панкрац) — грубый, жестокий, невежественный, типичный нацистский выскочка, готовый принести в жертву кого угодно, лишь бы уцелеть самому. Зовут его Соппа (если имя имеет какое-то значение), родом он из Польши. Говорят, что он учился кузнечному делу, но это почтенное ремесло не оставило в нем следа. На службе у гитлеровцев он уже давно и за свои услуги в качестве предвыборного агитатора получил теперешний пост. Он цепляется за него всеми силами и, проявляя полную бесчувственность, не щадит никого: ни заключенных, ни тюремщиков, ни детей, ни стариков. Панкрацкие нацисты не дружат между собой, но таких, как Соппа, у которого ни с кем нет и тени дружеских отношений, здесь не найдется ни одного Единственный человек, которого он, видимо, ценит и с которым чаще других разговаривает, — это тюремный фельдшер, полицейский фельдфебель Вайснер. Но, кажется, Вайснер не платит ему взаимностью.
Соппа знает только себя. Ради личных выгод он добился своего высокого поста, ради личных выгод он останется верен нацизму до последней минуты. Пожалуй, он один не думает о каком-либо спасительном выходе. Он понимает, что выхода нет. Падение нацизма означает и его падение, конец его благополучию, конец его великолепной квартире и его элегантному виду (между прочим, он ничуть не гнушается одеждой казненных чехов). Это конец. Да.

Тюремный фельдшер

Полицейский фельдфебель Вайснер — марионетка, своеобразный человек для панкрацкой среды. Иногда может показаться, что он не на своем месте, а иной раз невозможно представить себе Панкрац без него. Если Вайснера нет в амбулатории, он семенит по коридорам нетвердыми шагами, разговаривает сам с собой и непрерывно оглядывается по сторонам. Он бродит по тюрьме, как случайный посетитель, желающий вынести отсюда как

можно больше впечатлений. Но он умеет так же быстро и неслышно вставить ключ и замочную скважину и открыть дверь в камеру, как самый заправский тюремщик. У него есть суховатый юмор, который позволяет ему говорить вещи, полные скрытого смысла, и притом так, что на слове его не поймаешь. Он умеет подойти к людям, но к себе не подпускает никого. Он не доносит, не жалуется, хотя многое замечает. Войдет в камеру, полную дыма. Шумно потянет в себя носом:
— Гм, куренье в каморах, — и причмокнет, — строго воспрещается.
Но начальству ничего не доложит. У него всегда несчастное, искаженное гримасой лицо, как будто его мучит какое-то горе. Он явно не хочет иметь ничего общего с нацистским режимом, которому служит и жертвам которого ежедневно оказывает медицинскую помощь. Он не верит в этот режим и в его долговечность, не верил никогда и раньше. Поэтому он не перевез в Прагу свою семью из Бреславля, хотя мало кто из имперских чиновников упустил бы случай пожить всем домом за счет оккупированной страны. В то же время у него нет ничего общего и с народом, который ведет борьбу против «нового порядка»; он чужд и ему
Он лечил меня старательно и добросовестно. Так он поступает почти всегда и может воспротивиться отправке на допрос заключенного, слишком ослабевшего от пыток. Возможно, это делается для успокоения совести. Но иногда он не оказывает помощи там, где она совершенно необходима. Вероятно, от страха.
Это тип обывателя, одинокого, раздираемого страхом перед настоящим и перед будущим. Он ищет выхода Это только жалкий мышонок в мышеловке, из которой нет надежды выбраться.

«Лодырь»

Это не просто человечишка. Но и не совсем человек. Нечто среднее. Он не понимает, что мог бы стать человеком.
Собственно говоря, таких здесь двое. Это простые, отзывчивые люди; вначале потрясенные ужасами, среди которых они очутились, они как бы онемели, потом им страстно захотелось выбраться отсюда. Но они не самостоятельны и поэтому скорее инстинктивно, чем сознательно, ищут поддержки и руководства, которые вывели бы их на правильный путь; они помогают тебе, потому что ждут от тебя помощи. Было бы справедливо оказать им эту помощь сейчас — и в будущем.
Эти двое — единственные из всех немцев, служащих в Панкраце, — побывали также на фронте.
Ханауер — портной из Знойма, недавно вернулся с Восточного фронта, нарочно отморозив себе обе ноги. «Война человеку ни к чему, — несколько по-швейковски философствует он, — нечего мне там делать».
Хёфер — веселый сапожник с фабрики Бати, проделал кампанию во Франции и бросил военную службу, хотя ему обещали повышение.
— Эх, Scheisse! — сказал он себе и отмахнулся рукой, как, вероятно, ежедневно с тех пор отмахивается от всех неприятностей, которых у него немало.
У обоих одинаковая судьба и одинаковые настроения, но Хёфер смелее, самостоятельнее и целеустремленнее. Почти во всех камерах его зовут «Лодырь».
Во время его дежурства в камерах наступает отдых. Делай что вздумается. Если он бранится, то щурит глаз, давая понять, что брань к нам не относится, просто ему надо убедить в своей строгости сидящее внизу начальство. Впрочем, он напрасно старается: он уже никого не проведет, и не проходит недели, чтоб он не получал взысканий.
— Эх, Scheisse! — машет он рукой и продолжает свое. И вообще он скорей легкомысленный молодой башмачник, чем тюремщик. Можешь поймать его на том, что он весело, с азартом играет в камере в орлянку с заключенными Иногда он выводит заключенных в коридор и устраивает в камере «обыск». Обыск затягивается. Если ты из любопытства заглянешь в дверь, то увидишь, что он сидит за столом, подперев голову руками. Он спит, спит крепко и спокойно; так ему лете всего спасаться от начальства,

потому что заключенные стерегут в коридоре и предупредят о грозящей опасности. А во время дежурства спать поневоле захочется, если свободные от службы часы он — большой ценитель девичьей красоты — посвящает девушкам.
Поражение или победа нацизма?
— Эх, Scheisse! Да разве такой балаган устоит?
Он не причисляет себя к нацистам. Хотя бы поэтому он заслуживает внимания. Больше того — он не хочет быть с ними. И он не с ними. Надо передать записочку в другое отделение? «Лодырь» это устроит. Надо сообщить что-нибудь на волю? «Лодырь» это сделает Необходимо с кем-нибудь переговорить с глазу на глаз, поддержать колеблющегося и спасти таким образом от провала ноеых людей? «Лодырь» отведет тебя к нему в камеру и посторожит с озорным видом, радуясь удачной проделке. Его часто приходится учить осторожности. Он не понимает окружающей его опасности. Не осознает всего значения того, что делает. Это помогает ему делать больше. Но это не мешает его росту.
Это еще не человек. Но все-таки переход к человеку.

«Колин»

Дело происходило однажды вечером, во время осадного положения. Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.
Потихоньку спросил:
— Как ваши дела?
— Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.
— Вас это испугало?
— Я к этому готов.
Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.
— Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена… лучше быть готовым…
И опять замолчал.
— Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится, не сейчас, разумеется, а в будущем; как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…
Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание.
Через минуту он принес бумагу и карандаш. Я тщательно их припрятал, чтобы не нашли ни при каком обыске.
А после этого не притронулся к ним.
Эго было слишком хорошо — я не мог довериться. Слишком хорошо; здесь, в мертвом доме, через несколько недель после ареста встретить в мундире не врага, от которого нечего ждать, кроме ругани и побоев, а человека-друга, протягивающего тебе руку, чтобы ты не сгинул бесследно, чтобы помочь тебе передать в будущее то, что ты видел, на миг воскресить для тех, кто останется жить после тебя! И именно теперь! В коридорах выкрикивали фамилии осужденных на смерть; пьяные от крови эсэсовцы свирепо ругались; горло сжималось от ужаса у тех, кто не мог кричать. Именно теперь, в такое время подобная встреча была невероятной, она не могла быть правдой, это, наверно, была только ловушка. Какой силой воли должен был обладать человек, чтобы в такой момент по собственному побуждению подать тебе руку! И каким мужеством!
Прошло около месяца. Осадное положение было снято, страшные минуты превратились в воспоминания. Был опять вечер, опять я возвращался с допроса, и опять тог же надзиратель стоял перед камерой.
— Кажется, выкарабкались. Надо полагать, — и он посмотрел на меня испытующе, — все оказалось в порядке?

Я понял вопрос. Он глубоко тронул меня. Но и убедил больше, чем что-либо другое, в честности этого человека. Так мог спрашивать только тот, кто имеет внутреннее право на это. С тех пор я стал доверять ему, это был

наш
человек.

На первый взгляд — странная фигура. Он ходил по коридорам одинокий, спокойный, замкнутый, осторожный, зоркий. Никто не слышал, как он ругается. Никто не видел, чтобы он кого-нибудь бил.
— Послушайте, дайте мне затрещину при Сметонце, — просили его товарищи из соседней камеры, — пусть он хоть раз увидит вас за работой.
Он отрицательно покачал головой:
— Не нужно.
Я никогда не слышал, чтобы он говорил по-немецки. По всему было видно, что он не такой, как все. Хотя трудно было сказать — почему. Надзиратели сами чувствовали это, но понять, в чем дело, не умели.
Он поспевает всюду, где нужно. Вносит успокоение там, где поднимается паника, подбадривает там, где вешают голову, налаживает связь, если оборванная нить грозит опасностью людям на воле. Он не теряется в мелочах. Он работает систематически, с большим размахом.
Такой он не только сейчас. Таким он был с самого начала. Он пошел на службу к нацистам, имея перед собой ясную цель.
Адольф Колинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы попасть в надзиратели чешской тюрьмы в Карловом Градце, а потом в Панкраце. Немало, должно быть, возмущались его друзья и знакомые. Но четыре года спустя, во время рапорта, начальник тюрьмы, немец, размахивал перед его носом кулаками, с некоторым опозданием грозил:
— Я вышибу из вас чешский дух!
Он, впрочем, ошибался. Одновременно с чешским духом ему пришлось бы вышибить из него и человека. Человека, который сознательно и добровольно взялся за свое трудное дело, чтобы бороться и помогать в борьбе, и которого непрерывная опасность лишь закалила.

«Наш»

Если бы 11 февраля 1943 года утром к завтраку нам принесли какао вместо обычной черной жижи неизвестного происхождения, мы удивились бы меньше, чем мелькнувшему у двери нашей камеры мундиру чешского полицейского.
Он только промелькнул. Шагнули черные брюки в сапогах, рука в темно-синем рукаве поднялась к замку и захлопнула дверь, — видение исчезло. Оно было настолько мимолетно, что уже через четверть часа мы были готовы этому не верить.
Чешский полицейский в Панкраце! Какие далеко идущие выводы можно было из этого сделать!
И мы сделали их через два часа. Дверь снова открылась, внутрь камеры просунулась чешская полицейская фуражка, и при виде нашего удивления на лице ее обладателя обозначился растянутый до ушей рот.

— Freistunde!
[9]

Теперь мы уже не могли сомневаться. Среди серо-зеленых эсэсовских мундиров в коридорах появилось несколько темных пятен, которые показались нам светлым видением: чешские полицейские.
Что это нам предвещает? Как они себя покажут? Как бы они себя ни показали, самый факт их появления говорил яснее всяких слов. Насколько же непрочен режим, если в свой самый чувствительный орган — аппарат уничтожения, являющийся для них единственной опорой, — гитлеровцам приходится допускать народ, который они хотят уничтожить! Какой страшный недостаток в людях должны они испытывать, если вынуждены ослаблять

даже свою последнюю твердыню, чтобы найти несколько второстепенных исполнителей. Сколько же времени они собираются еще продержаться?
Разумеется, они будут специально подбирать людей, возможно, что эти люди окажутся еще хуже гитлеровских надзирателей, которые привыкли истязать и разлагаются, не веря в победу, но самый факт появления чехов — это безошибочный признак конца.
Так мы рассуждали.
Но положение было куда серьезнее, чем мы предполагали в первые минуты. Дело в том, что нацистский режим уже не мог выбирать, да и выбирать ему было не из кого.
Одиннадцатого февраля мы впервые увидели чешские мундиры.
На следующий день мы начали знакомиться и с людьми.
Один из них пришел, оглядел камеру, потоптался в раздумье у порога, потом — словно козленок, подпрыгнувший в припадке бурной энергии на всех четырех ножках сразу, — внезапно решился и сказал:
— Ну, как поживаем, господа?
Мы, смеясь, ответили ему. Он тоже засмеялся, потом смущенно добавил:
— Вы не обижайтесь на нас. Поверьте, уж лучше бы шлепали и дальше по мостовым, чем вас тут сторожить… Да что поделаешь… А может… может быть, это и к лучшему…
Он обрадовался, когда услышал, что мы об этом думаем и как наша камера относится к ним. Словом, мы стали друзьями с первой же минуты. Это был Витек, простой добродушный парень. Именно он и промелькнул одиннадцатого утром у дверей нашей камеры.
Второй, Тума, настоящий тип старого чешского тюремщика. Грубоватый, крикливый, но, в сущности, добрый малый, таких когда-то называли в тюрьмах республики «дядька». Он не понимал своеобразия своего положения, наоборот, он сразу стал вести себя как дома и, сопровождая все свои слова солеными шуточками, не столько поддерживал порядок, сколько нарушал его: тут сунет в камеру хлеб, там — сигарет, здесь примется балагурить (только не о политике). Делал он это, нисколько не стесняясь: таково было его представление об обязанностях надзирателя, и он этого не скрывал. После первого выговора он стал осторожнее, но не переменился. По-прежнему остался «дядькой». Я не решился бы попросить его о чем-нибудь серьезном. Но при нем легко дышится.
Третий ходил по коридору насупившись, молчаливо, ни на кого не глядя. На осторожные попытки познакомиться поближе он не реагировал.
— От этого большого толка не будет, — сказал папаша, понаблюдав за ним с неделю. — Самый неподходящий из всех.
— Или самый хитрый, — предположил я больше из духа противоречия, потому что споры по поводу мелочей оживляют жизнь в камере.
Недели через две мне показалось, что молчальник как-то особенно подмигнул одним глазом. Я повторил в ответ это неосторожное движение, имеющее в тюрьме тысячи значений. И опять без результата. Вероятно, я ошибся.
А через месяц все стало ясно. Это было неожиданно, как выход бабочки из куколки. Невзрачная, неподвижная куколка лопнула, и появилось живое существо. То была не бабочка, это был человек.
— Ставишь памятники, — говорит папаша по поводу некоторых моих характеристик.
Да, я не хочу, чтобы были забыты товарищи, которые погибли, честно и мужественно сражаясь на воле или в тюрьме. И не хочу также, чтобы позабыли тех из оставшихся в живых, кто столь же честно и мужественно помогал нам в самые тяжелые часы. Я хочу, чтобы из тюрьмы панкрацких коридоров вышли на свет такие фигуры, как Колинский или этот чешский надзиратель. Не ради прославления их, а как пример другим. Обязанность быть человеком не кончится вместе с теперешней войной, и для выполнения этой обязанности потребуется героическое сердце, пока все люди не станут людьми.
В сущности, историю полицейского Ярослава Горы можно выразить немногими словами. Но это история всего человека.
Радницко. Захолустный уголок Чехословакии. Красивый, грустный и бедный край. Отец — рабочий стекольного завода. Тяжелая жизнь. Изнурительная работа, когда она есть, и нужда, когда наступает безработица, прочно прижившаяся в этих местах. Такая жизнь или

поставит на колени, или поднимет человека, породив в сердце жажду лучшего мира, веру в него и готовность за него бороться. Отец выбрал второе. Он стал коммунистом.
Юный Ярда участвует с колонной велосипедистов в майской демонстрации, и красная ленточка переплетает спицы колес его велосипеда. Он не забывает о ней. Сам того не зная, он хранит ее в душе, работая учеником, токарем в мастерской, потом на заводе Шкоды. Кризис, безработица, армия, поиски работы, полицейская служба. Не знаю, что в это время происходило в его душе, хранившей красную ленточку. Может быть, она была свернута, сложена, может быть, полузабыта, но не потеряна. В один прекрасный день его назначили на службу в Панкрац. Он пришел сюда не добровольно, как Колинский, с заранее поставленной целью Но он понял свою задачу, как только в первый раз заглянул в камеру Ленточка развернулась.
Он разведывает поле боя. Оценивает свои силы. Лицо его хмурится, он упорно размышляет, с чего и как лучше начать. Он не профессиональный политик Он простой сын народа Но в памяти опыт его отца У него здоровое нутро, в нем все более возрастает решимость И он решается. Из невзрачной куколки выходит человек.
У этого человека была прекрасная, чистая душа: он чуток, скромен и вместе с тем смел Он способен пойти на все, что от него потребуется. Требуется и малое и большое И он делает и малое и большое Работает без позы, не торопясь, обдуманно, но не трусит Он далее не представляет себе, что может быть иначе В нем говорит категорический императив. Так должно быть — так что же об этом разговаривать?
И это, собственно, все. Это вся история человека, в заслугу которому уже сейчас можно поставить спасение нескольких человеческих жизней. Люди живы и работают на воле потому, что одни человек в Панкраце выполнил свой долг. Он не знает их, они не знают его, как не знают Колинского. Мне хотелось бы, чтобы обоих узнали, хотя бы с опозданием Оба быстро нашли себя здесь. И это увеличило их силы
Запомни их как пример. Как образец людей, у которых голова на месте. И самое главное — сердце.

Дядюшка Сноршепа

Если вы случайно увидите всех троих вместе, перед вами будет живое воплощение побратимства надзиратель Колинский — серо-зеленый эсэсовский мундир, Гора — темный мундир чешской петиции, дядюшка Скоршепа — светлая, хотя и невеселая, форма тюремного коридорного. Увидеть их всех вместе можно очень, очень редко. Именно потому, что они единомышленники.
По тюремной инструкции к уборке в коридорах и к раздаче пищи разрешается допускать «лишь особо благонадежных и дисциплинированных за «печенных, которые должны быть тщательно изолированы от остальных». Это буква закона. Мертворожденный параграф. Таких коридорных нет и никогда не было. И в Особенности в застенках гестапо Наоборот, коридорные здесь — это разведка коллектива заключенных, высылаемая из камер, чтобы быть ближе к вольному миру, чтобы коллектив мог жить и общаться между собой. Сколько коридорных поплатилось здесь жизнью из-за неудачно выполненного поручения или перехваченной записки! Но закон коллектива заключенных неумолимо требует, чтобы те, кто займет их место, продолжали эту опасную работу. Возьмешься ли ты за нее смело или будешь трусить — все равно тебе от нее не отвертеться. Трусость может только напортить, а то и все погубить, как во всякой подпольной работе.
А подпольная работа здесь опасна вдвойне: она ведется под самым носом у тех, кто стремится раздавить подполье, на глазах у надзирателей, в тех местах, которые определяются ими, в секунды, которые зависят от них, в условиях, которые создают они, Здесь недостаточно того, чему вы научились на воле. А спрашивается с тебя не меньше. Есть мастера подпольной работы на воле. И такие же мастера есть среди коридорных. Дядюшка Скоршепа — истинный мастер своего дела. Он скромен, непритязателен, на первый взгляд неловок, но изворотлив, как уж. Надзиратели не нахвалятся им «День-

деньской за работой, надежнее человека не найти, думает только о своих обязанностях, его не совратить на какие-нибудь запретные дела; коридорные, берите с него пример!»
Да, берите с него пример, коридорные! Он действительно образцовый коридорный в том смысле, как это понимаем мы, заключенные Это самый надежный и самый ловкий разведчик тюремного коллектива.
Он знает обитателей всех камер и тотчас же узнает все, что нужно, о каждом новичке: почему тот оказался здесь, кто его соучастники, как он держится и как держатся они. Он изучает «случаи» и старается разобраться в них. Все это важно знать, чтобы дать совет или исправно выполнить поручение.
Он знает врагов. Он тщательно прощупывает каждого надзирателя, выясняет его привычки, его слабые и сильные стороны, знает, чем каждый особенно опасен, как его лучше использовать, усыпить внимание, провести. Многие характеристики, которые я здесь даю, почерпнуты мной из рассказов дядюшки Скоршепы. Он знает всех надзирателей и может подробно обрисовать каждого из них. Это очень важно, если он хочет беспрепятственно сновать по коридорам и уверенно вести работу.
И прежде всего он помнит свой долг. Это коммунист, который знает, что нет такого места, где бы он посмел не быть членом партии, сложить руки и прекратить свою деятельность Я даже сказал бы, что именно здесь, в условиях величайшей опасности и жесточайшего террора, он нашел свое настоящее место. Здесь он вырос.
Он гибок. Каждый день и каждый час рождаются новые ситуации, требующие для своего разрешения иных приемов. Он находит их немедленно. В его распоряжении секунды. Он стучит в дверь камеры, выслушивает заранее подготовленное поручение и передает его кратко и точно на другом конце коридора, раньше чем новая смена дежурных успеет подняться на второй этаж. Он осторожен и находчив Сотни записок прошли через его руки, и ни одной не перехватили, даже подозрений на его счет не возникало.
Он знает, у кого что болит, где требуется поддержка, где необходимы точные сведения о положении на воле, где его подлинно отеческий взгляд придаст силы человеку, в котором растет отчаяние, где лишний ломоть хлеба или ложка супа помогут перенести тягчайший переход к «тюремному голоду», он все это знает благодаря своей чуткости и громадному опыту, знает и действует.
Это сильный, бесстрашный боец. Настоящий человек. Таков дядюшка Скоршепа.
Мне хотелось бы, чтобы тот, кто прочтет когда-нибудь эти строки, увидел в нарисованном портрете не только дядюшку Скоршепу, но и замечательный тип хаусарбайтера, то есть «служителя из заключенных», сумевшего превратить работу, на которую его поставили угнетатели, в работу для угнетенных. Дядюшка Скоршепа — единственный в своем роде, но были и другие «служители», не похожие друг на друга, но не менее замечательные. Были и в Панкраце и во дворце Печека. Я хотел набросать их портреты, но, к сожалению, у меня осталось лишь несколько часов — слишком мало даже для «песни, в которой быстро поется о том, что в жизни свершается медленно».
Вот хотя бы несколько имен, несколько примеров, это далеко не все, справедливо заслуживающие, чтобы их не забыли.
Доктор Милош Недвед — прекрасный, благородный товарищ, который за свою ежедневную помощь заключенным поплатился жизнью в Освенциме.
Арношт Лоренц, у которого казнили жену за то, что он отказался выдать товарищей, и который через год сам пошел на казнь, чтобы спасти других хаусарбайтеров из «Четырехсотки» и весь ее коллектив.

> Никогда не унывающий, всегда блещущий остротами Вашек; молчаливая, самоотверженная Анка Викова, казненная в дни осадного положения; энергичный…
> [10]
> ; всегда веселый, ловкий, изобретательный «библиотекарь» Шпрингл; застенчивый юноша Билек…

Только примеры, только примеры. Люди покрупнее и помельче. Но всегда люди, а не людишки.

Глава VIII. Страница истории

9 июня 1943 года.
За дверью перед моей камерой висит пояс. Мой пояс, значит меня отправляют. Ночью меня повезут в «империю» судить и так далее. От ломтя моей жизни время жадно откусывает последние кусочки. Четыреста одиннадцать дней в Панкраце промелькнули непостижимо быстро. Сколько еще дней осталось? Где я их проведу? И как?
Едва ли у меня будет возможность писать. Пишу мое последнее показание. Страницу истории, последним живым свидетелем которой я, по-видимому, являюсь.
В феврале 1941 года весь состав Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии вместе с заместителями, намеченными на случай провала, был арестован. Как могло случиться, что на партию обрушился такой страшный удар, пока еще точно не установлено. Об этом, должно быть, в свое время расскажут пражские гестаповцы, когда предстанут перед судом. Я напрасно пытался, как и хаусарбайтер из дворца Печека, добраться до сути дела. Не обошлось, конечно, без провокации, но сыграла также свою роль и неосторожность. Два года успешной работы в подполье Несколько усыпили бдительность товарищей. Подпольная организация росла вширь, в работу вовлекались все новые люди, в том числе и те, которых партия должна была бы использовать по другому назначению. Аппарат разрастался и становился таким громоздким, что трудно было его контролировать. Удар по партийному центру был, видно, давно подготовлен и обрушился в тот момент, когда уже было задумано нападение немцев на Советский Союз.
Я не представлял себе сначала масштабов провала. Я ждал обычного появления нашего связного и не дождался. Но через месяц стало ясно, что случилось нечто очень серьезное и я не имею права только ждать. Я начал сам нащупывать связь; другие делали то же самое. Прежде всего я установил связь с Гонзой Выскочилом, который руководил работой в Средней Чехии. Он был человек с инициативой и подготовил кое-какой материал для издания «Руде право», — нельзя было, чтобы партия оставалась без центрального органа. Я написал передовицу, но мы решили, что весь материал (который был мне неизвестен) выйдет как «Майовы лист», а не «Руде право», так как другая группа товарищей уже выпустила газету, хотя и очень примитивного вида.
Наступили месяцы партизанских методов работы. Хотя партию и постиг сокрушительный удар, но уничтожить ее он не мог. Сотни новых товарищей принимались за выполнение неоконченных заданий, на место погибших руководителей самоотверженно становились другие и не допускали, чтобы организация распалась или стала пассивной. Но центрального руководства все еще не было, а в партизанских методах таилась та опасность, что в самый момент — в момент ожидаемого Нападения на Советский Союз — у нас могло не оказаться единства действий.
В доходивших до меня номерах «Руде право», издававшейся тоже на партизанский лад, я чувствовал опытную политическую руку. Из нашего «Майовы лист», оказавшегося, к сожалению, не слишком удачным, другие товарищи, в свою очередь, увидели, что существует еще кто-то, на кого можно рассчитывать. И мы стали искать друг друга.
Это были поиски в дремучем лесу. Мы шли на голос, а он отзывался уже с другой стороны. Тяжелая потеря научила нас быть более осторожней и бдительней, и два человека из центрального аппарата, которые хотели установить между собой связь, должны были пробираться сквозь чащу многочисленных проверочных и опознавательных преград, которые ставили они сами и те, кто должен был их связать. Это было тем сложнее, что я не знал, кто находится на «той стороне», а он не знал, кто я.
Наконец мы нашли общего знакомого. Это был чудесный товарищ, доктор Милош Недвед, который и стал нашим первым связным. Но и это произошло почти случайно. В середине июля 1941 года я заболел и послал за ним Лиду. Он немедленно явился на квартиру к Баксам — и тут-то мы и договорились. Ему как раз было поручено искать этого «другого», и он не подозревал, что «другой» — это я. Как и все товарищи с «той стороны», он был уверен, что я арестован и что скорее всего меня уже нет в живых.

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В тот же вечер мы с Гонзой Выскочилом выпустили листовку, разъяснявшую значение войны для нас, чехов. 30 июля произошла моя первая встреча с тем, кого я так долго искал. Он пришел в назначенное мною место, уже зная, с кем он увидится. А я все еще не знал. Стояла летняя ночь, в открытое окно вливался аромат цветущих акаций — самая подходящая пора для любовных свиданий. Мы завесили окно, зажгли свет и обнялись. Это был Гонза Зика.

Оказалось, что в феврале арестовали не весь Центральный Комитет. Один из членов, Зика, уцелел. Я давно был знаком с ним и давно его любил. Но по-настоящему я узнал его только теперь, когда мы стали работать вместе. Круглолицый, всегда улыбающийся, с виду похожий па доброго дядюшку, но в то же время твердый, самоотверженный, решительный, не признающий компромиссов в партийной работе.

Он не знал и не хотел знать для себя ничего, кроме партийных обязанностей. Он отрекся от всего, чтобы выполнять их. Он любил людей и, в свою очередь, пользовался их любовью, но никогда не приобретал ее ценой беспринципной снисходительности.

Мы договорились в две минуты. А через несколько дней я знал и третьего члена нового руководства, который связался с Зикой еще в мае Это был Гонза Черный, рослый, красивый парень, на редкость хороший товарищ; он сражался в Испании и вернулся оттуда с простреленным легким уже во время войны, через нацистскую Германию, в нем осталось кое-что от солдата, кроме того, он обладал богатым опытом подпольной работы и был талантливым, инициативным человеком. Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас. Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями. Зика — организатор, деловитый и педантически точный, которому нельзя было пустить пыль в глаза; он тщательно проверял всякое сообщение, добираясь до сути дела, всесторонне рассматривал каждое новое предложение. Черный, руководивший саботажем и подготовкой к вооруженной борьбе, мыслил как военный человек; он был чужд всякой мелочности, отличался большим размахом, неутомимостью и находчивостью; ему всегда везло при поисках новых форм работы и новых людей. И я — агитпропщик, журналист, полагающийся на свой нюх, немного фантазер с долей критицизма — для равновесия. Разделение функций было, впрочем, скорее разделением ответственности, чем работы. Каждому из нас приходилось вмешиваться во все и действовать самостоятельно всюду, где это могло понадобиться. Работать было нелегко. Рана, нанесенная партии в феврале, была еще свежа и так и не зажила до конца. Все связи оборвались, некоторые организации провалились полностью, а к тем, что сохранились, не было путей. Целые организации, целые районы, а иногда и целые области месяцами были оторваны от центра. Пока налаживалась связь, нам осталось только надеяться, что хоть центральный орган попадет им в руки и заменит руководство. Не было явок — пользоваться старыми мы не могли, опасаясь, что за нами наблюдают; денег на первых порах не было, трудно было добывать продовольствие, многое приходилось начинать с самого начала… И все это — в те дни, когда партия уже не могла ограничиваться одной подготовительной работой, в дни нападения на Советский Союз, когда она должна была прямо вступить в бой, организовать внутренний фронт против оккупантов, вести «малую войну» в их тылу не только своими силами, но и силами всего народа. В подготовительные 1939–1941 годы партия ушла в подполье, она была законспирирована не только от немецкой полиции, но и от масс. Теперь, истекающая кровью, она должна была довести до совершенства конспирацию от оккупантов и одновременно покончить с конспирацией от народа, наладить связь с беспартийными, обратиться ко всему народу, вступать в союз с каждым, кто готов воевать за свободу, и решительным примером вести на борьбу тех, кто еще колебался.

В начале сентября 1941 года мы могли впервые сказать, что добились первых успехов. И хотя мы не восстановили разгромленную организацию (до этого было далеко), во всяком случае, опять существовало прочно организованное ядро, которое могло, хотя бы частично, выполнять серьезные задания. Возрождение партийной деятельности сразу сказалось. Рос саботаж, росло число забастовок на заводах. В конце сентября Берлин выпустил на нас Гейдриха.

Первое осадное положение не сломило возрастающего активного сопротивления, но ослабило его и нанесло партии новые удары. Именно тогда были разгромлены пражская

партийная организация молодежи, погибли также некоторые товарищи, очень ценные для партии: Яи Крейчи, Штанцель, Милош Красный и многие другие.
Но после каждого из таких ударов становилось еще очевиднее, как несокрушима партия. Падал боец, и, если его не мог заменить один, на его место становились двое, трое. В новый, 1942 год мы вступали уже с крепко построенной организацией; правда, она еще не охватывала всех участков работы и далеко не достигла масштабов февраля 1941 года, но была уже способна выполнить задачи в решающих битвах. В работе участвовали все, но главная заслуга принадлежала Гонзе Зике.
О том, как действовала наша печать, могут, наверное, рассказать материалы, сохраненные товарищами в тайных архивах, на чердаках и в подвалах, и мне нет необходимости об этом говорить.
Наши газеты получили широкое распространение, их жадно читали не только члены партии, но и беспартийные; они выходили большими тиражами и печатались в ряде самостоятельных, тщательно обособленных друг от друга нелегальных типографиях — на гектографах и стеклографах и на настоящих типографских станках. Выпускались они регулярно и быстро, как и требовали обстоятельства. Например, с приказом по армии Советского Главнокомандующего от 23 февраля 1942 года первые читатели могли познакомиться уже вечером 24 февраля. Отлично работали наши печатники, группа врачей и особенно группа «Фукс — Лоренц», которая выпускала, кроме того, свой собственный информационный бюллетень под названием «Мир против Гитлера». Все остальное я делал сам, стараясь беречь людей. На случай моего провала был подготовлен заместитель. Он продолжал мою работу, когда я был арестован, и работает до сих пор.
Мы создали самый несложный аппарат, заботясь о том, чтобы всякое задание требовало как можно меньше людей. Мы отказались от длинной цепи связных, которая, как это показал февраль — 1941 года, не только не предохраняла партийный аппарат, но, наоборот, ставила его под угрозу. Было, правда, больше риска для каждого из нас в отдельности, но для партии в целом это было намного безопаснее. Такой провал, как в феврале, больше не мог повториться.
И поэтому, когда я был арестован, Центральный Комитет, пополненный одним новым членом, мог спокойно продолжать свою работу. Ибо даже мой ближайший сотрудник не имел ни малейшего представления о составе Центрального Комитета.
Гонзу Зику арестовали 27 мая 1942 года ночью. Это опять-таки был несчастный случай. После покушения на Гейдриха весь аппарат оккупантов был поставлен на ноги и производил облавы по всей Праге. Гестаповцы явились в квартиру в Стршешовицах, где как раз скрывался тогда Зика. Документы у него были в порядке, и он, очевидно, не привлек бы к себе внимания. Но он не хотел подвергать опасности приютившую его семью и попытался выпрыгнуть из окна третьего этажа. Он разбился, и в тюремную больницу его привезли со смертельным повреждением позвоночника. Гестаповцы не знали, кто попал в их руки. Только через восемнадцать дней его опознали по фотографии и умирающего привезли во дворец Печека на допрос. Меня привели на очную ставку. Мы подали друг другу руки, он улыбнулся мне своей широкой, доброй улыбкой и сказал:
— Здравствуй, Юлий!
Это было все, что от него услышали. После этого он не сказал ни слова. От ударов в лицо он потерял сознание. А через несколько часов скончался.
Я узнал о его аресте уже 29 мая. Наша разведка работала хорошо. С ее помощью я частично согласовал с ним свои дальнейшие шаги. А затем наш план был одобрен также и Гонзой Черным. Это было последнее постановление нашего Центрального Комитета.
Гонзу Черного арестовали летом 1942 года. Тут уже не было никакой случайности, провал произошел из-за преступного малодушия Яна Покорного, поддерживавшего связь с Черным. Покорный вел себя не так, как следовало руководящему партийному работнику. Через несколько часов допроса, конечно, достаточно жестокого, — но чего иного он мог ожидать? — через несколько часов допроса он струсил и выдал квартиру, где встречался с Гонзой Черным. Отсюда след повел к самому Гонзе, и через несколько дней он попал в лапы гестапо.
Нам устроили очную ставку немедленно, как только его привезли.
— Ты знаешь его?

— Нет, не знаю.
Оба мы отвечали одинаково. Затем он отказался вообще отвечать. Его старое ранение избавило его от долгих страданий. Он быстро потерял сознание Прежде чем дело дошло до второго допроса, он был уже обо всем точно осведомлен и действовал дальше в соответствии с нашим решением.
От него ничего не узнали Его долго держали в тюрьме, долго ждали, что чьи-нибудь новые показания заставят его говорить. И не дождались.
Тюрьма не изменила его. Веселый, мужественный, он открывал отдаленные перспективы жизни другим, зная, что у него только одна перспектива — смерть.
Из Панкраца его неожиданно увезли в конце апреля 1943 года. Куда — неизвестно. В таком внезапном исчезновении всегда есть что-то зловещее. Можно, конечно, ошибаться. Но я не думаю, чтобы нам суждено было снова встретиться.
Мы всегда считались с угрозой смерти. Мы знали: если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и здесь.
И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса. Это жизнь.
А в жизни нет зрителей.
Занавес поднимается.
Люди, я любил вас! Будьте бдительны!

9.6.43. Перевод с чешского

Т.Аксель

и В.Чешихиной

Г.Вальдор. Зеленая записка



Как обычно, Лиль находилась в центре внимания, и это привычно льстило ее самолюбию. Она не сомневалась, что Новаку доставляло удовольствие видеть, как другие мужчины в ее присутствии всегда словно немели и, будто завороженные, не сводили с нее глаз. Но весь сегодняшний вечер Новак был ужасно ревнив, хотя, возможно, это началось накануне, после лыжной прогулки с доктором и графом, когда она вернулась в гостиницу.

Сейчас граф сидел напротив нее и без умолку говорил.

— Польди, — взмолилась Лиль, хотя графа звали Фердинандом. — Польди, пощадите меня! Я же ничего не понимаю в охоте!

Заметив, что Новак допил вино и повернул голову в поисках официанта, Лиль мягко положила свою ладонь на его руку. Она не хотела, чтобы он напивался, надеясь, что ей удастся сохранить непринужденный характер беседы еще в течение часа, не дав Новаку повода для новых вспышек ревности. Но если Новак не прекратит пить, он все равно устроит ей в номере сцену. Вчера она пыталась убедить его, что совершенно равнодушна к графу, и это действительно было так. Однако не исключено, что Новак успел приревновать ее к доктору Перотти. Доктор был высокого роста, стройный, черноволосый, непревзойденный танцор и отличный лыжник; он одинаково свободно владел немецким и итальянским и, по словам Новака, знал не хуже английский и французский. В конце концов Новак должен понять, что она давно решила стать его женой, переселиться в особняк в Вене, родить одного или двух детей и оставаться всю жизнь любящей и верной подругой. И она никогда не позволит сбить себя с толку какому-то врачу из Модены, будь он даже красив, как бог!

Пианист пересек зал и склонился в изящном поклоне перед Лиль. Сидящие за столом мгновенно поняли, зачем он пришел. Некоторые посетители, улыбнулся пианист, убедительно просят Лиль что-нибудь спеть; он с удовольствием присоединяется к их желанию. Лиль вопросительно взглянула на Новака: тот равнодушно кивнул головой. Граф и врач, как и следовало ожидать, горячо поддержали пианиста, и Лиль уступила. Гитарист поднес микрофон ко рту и объявил, что сейчас выступит известная певица Лиль Кардо, Федеративная Республика Германии, и что трио почтет за честь аккомпанировать ей. Раздались аплодисменты. «Хлопают скорее из вежливости», — подумала Лиль, улыбаясь в зал.

Она исполнила две немецкие песенки и одну английскую. Все шло как нельзя лучше: аплодировали сильнее, чем она ожидала, и в заключение Губингер, владелец гостиницы «Бурый Медведь», даже преподнес ей букет цветов.
— Боже мой, — произнес граф, когда Лиль вернулась к столу, — у вас ангельский голос.
— Я бы уточнил это несколько стандартное выражение: ангельский, с хрипотцой, — добавил доктор Перотти.
— Из-за вас можно окончательно посадить голос, — пожаловалась Лиль. — Но сейчас это модно и, вероятно, нравится публике. Однако ни одни песец не сможет петь долго в такой манере.
— А тебе вообще нечего петь! — раздраженно вмешался в разговор Новак. — Давно пора кончать с этим балаганом. Мне не нравится, что ты дерешь горло перед всяким сбродом, на который нам наплевать, ради какого-то жалкого букета цветов!
— Ну что вы говорите? — мягко упрекнул его граф.
— По-моему, случайное выступление для артиста — просто небольшое развлечение, своего рода хобби, — поддержал графа доктор Перотти.
Новак, казалось, только этого и ждал.
— А вас я убедительно прошу не лезть не в свои дела! — взорвался он.
Новак выкрикнул это так резко и громко, что привлек внимание посетителей, сидевших за соседними столиками.
— Право же, нам не следовало так горячиться, господа, из-за какого-то пустякового недоразумения, — миролюбиво заметил граф.
Они с трудом высидели вместе еще четверть часа и встали из-за стола.
Войдя в номер и закрыв дверь, Лиль прижалась головой к груди Новака.
— Ты не должен принимать все это так близко к сердцу, — просительно произнесла она. — Если хочешь, мы перестанем замечать доктора, и тебе не придется выслушивать его извинений. Я хочу доказать тебе перед всеми, что совершенно равнодушна к нему. Запомни навсегда: я люблю только тебя и…
— Оставь, — перебил он ее. — Все это действительно пустяки. Мне очень жаль, что так вышло. Пожалуйста, не вспоминай больше об этом. Меня беспокоит совсем другое.
Она сразу приготовилась слушать, чувствуя, что он чем-то угнетен. Они знали друг друга уже четыре года, считая со дня их первой встречи, и еще никогда она не видела его таким утомленным, как в последние дни. Он любил работать не жалея сил, и ее всегда поражала его неиссякаемая энергия. В сорок восемь лет он выглядел скорее плотным, чем толстым, хотя и весил почти сто килограммов, но высокий рост скрадывал полноту; его слегка поредевшие волосы тронула седина, лицо было полным, мужественным и внушающим доверие.
— Мало того, что они отказываются платить, они еще шантажируют.
— Кто шантажирует?
— Не спрашивай того, чего тебе не положено знать. Я и сам не знаю всего. Но и то немногое, что известно, достаточно неприятно.
Сердце Лиль сжалось от неведомого страха. Новак был чрезвычайно способным коммерсантом. Живя в Вене, он искусно пользовался положением Австрии, расположенной между Востоком и Западом. Он торговал металлом и цементом, листовой сталью и трубами, электромоторами и токарными станками, торговал с Венгрией и Бельгией, восточными и западными немцами, румынами, французами, русскими, американцами и итальянцами. Он не упускал случая приобрести какой-нибудь замок, лес или поместье, чтобы при первой же благоприятной возможности выгодно сбыть их с рук. Он и сейчас собирался купить у графа замок и с этой целью вел с ним предварительные переговоры.
Лиль не допускала даже мысли, что Новак способен на сомнительные сделки, и она не на шутку испугалась, когда он, саркастически усмехнувшись, мрачно произнес:
— Я получил анонимное письмо, в котором мне угрожают расправой. Как это ни похоже на дешевый детектив, тем не менее это факт.
Он достал бумажник и протянул ей зеленоватый листок. Лиль прочла отпечатанный на машинке текст: «Ты просто сволочь, что требуешь от нас деньги. Предав нас, ты подпишешь себе смертный приговор. Немедленно выезжай в Грац. Если не приедешь до четверга, пеняй на себя».
Лиль недоуменно посмотрела ему в глаза.

— Кто это написал?
— Какая разница? Я связался с этими людьми, я и развяжусь.
Лиль поняла, что сейчас не время заниматься расспросами и что она должна сделать все, что бы ни потребовал Новак. Если она поведет себя с умом и сумеет доказать свою преданность, то одержит важную победу над женщиной в Вене — его женой.
— Да, но сегодня уже четверг! — напомнила Лиль.
— Неважно.
Он протянул ей листок с номером телефона.
— Ступай и позвони в Инсбрук господину Крёберсу. Передай ему от моего имени, что я требую немедленно перевести деньги на мой счет. Я буду ждать не больше двух дней. Впрочем, нет, потребуй, чтобы он завтра же выслал деньги, и передай, что в противном случае я разоблачу всю организацию. Ступай! А я тем временем приведу в порядок некоторые бумаги. Когда вернешься, я расскажу тебе кое-что еще.
— Хорошо.
Новак открыл дверь, которую запер, войдя в номер, выпустил Лиль и снова повернул ключ. Женщина несколько удивилась этому обстоятельству, но не придала ему особого значения. В вестибюле она встретила Губингера и показала ему записку с номером телефона.
— Я немедленно закажу разговор с Инсбруком, — сказал он и направился к телефонной кабине с обитой кожей дверью.
Из бара доносилась музыка. Лиль села в кресло и приготовилась ждать. Она сидела тихо, надеясь, что ее не заметят и не станут надоедать ухаживаниями. Губингер подошел к ней еще раз и спросил, не желает ли она чашечку кофе или что-нибудь еще, но Лиль отрицательно покачала головой; она желала только одного: остаться наедине со своими мыслями. Хотя все, что рассказал ей Новак, и вызывало тревогу, один момент не ускользнул от ее внимания: если до сих пор она была его любовницей, и только, то теперь Новак нуждался в ней, ее помощи. Лиль было двадцать восемь лет, ему — сорок восемь. Он был женат, имел двух детей: двадцатилетнюю дочь и четырнадцатилетнего сына. Жену он, вне всякого сомнения, не любил, но от нелюбви до развода и женитьбы на третьеклассной эстрадной певице Лиль Кардо лежал длинный путь Лиль знала, что она красива и что при разумном образе жизни ее красота не поблекнет еще долгое время. Высокий рост, пропорционально сложенная фигура, прекрасные светлые волосы и жемчужные зубы не могли не привлекать внимания мужчин. Она умела говорить обо всем, о чем принято беседовать в барах: напитках, автомашинах, теннисе и танцах, пела не лучше и не хуже большинства девушек, посвятивших себя ремеслу эстрадной певицы, но большего ей добиться не удалось, и она прекрасно понимала, что не удастся. Единственный реальный шанс добиться положения в обществе — привязать к себе Новака, и наиболее верный путь к этому — быть для него не только любовницей, но и помощником и другом. Так, в размышлениях, пролетели полчаса или три четверти часа.
Наконец Губингер сообщил, что Инсбрук на проводе, и Лиль встала с кресла.
* * *
Марио Феллини вышел из трамвая и направился к большому зданию, в котором размещалась уголовная полиция Милана. С каждым новым шагом в нем росло нетерпение, вызванное желанием поскорее узнать, изменилось ли что-нибудь на работе за четыре недели его отсутствия.
Нет, кажется, ничего не изменилось.
От каменных лестниц по-прежнему веяло холодом, паркет в коридорах снова был натерт той же самой мастикой, запах которой Феллини не выносил, а на углу, откуда начинались кабинеты отдела по расследованию убийств, как обычно в это время, две пожилые дамы из архива поливали на подоконниках цветы. С каждой минутой в душе Феллини росло ощушение того, что он снова дома. Докладывая начальнику отдела о своем возвращении, проходя через кабинеты, в которых сидели его коллеги, пожимая руки, выслушивая шуточки в свой адрес и отшучиваясь в ответ, он все более утверждался в этом чувстве и совсем уверился в нем, когда сел на свой стул и отпер ящики стола. Подошел молодой коллега и, присев на угол стола, спросил:
— Расскажи, как было?

— Великолепно! Перво-наперво тебя кладут в постель и целую неделю кормят манной кашей плюс четыре кусочка белого хлеба на обед. На следующей неделе к обеду добавляют немного картофельного пюре, а еще через неделю кусочек яичницы-болтуньи.
— Как же ты не похудел?
— Я отсыпался за прошлые месяцы. Язва засохла, умерла, словно ее и не было.
Феллини собрался было прочитать им популярную лекцию о причинах и последствиях язвенной болезни, в которой он мог считать себя специалистом, так как твердо решил целую неделю действовать коллегам на нервы, втолковывая им ту истину, что и они в конце концов угодят в больницу, если будут вести такой же образ жизни, какой вел он, но в этот момент раздался телефонный звонок: его срочно вызывал руководитель отдела. Едва Феллини переступил порог кабинета, как тот протянул ему телеграмму.
Феллини пробежал глазами текст: «Докладывает полицейский участок Тауферса. Убийство австрийского туриста Гериберта Новака. Новак заколот в номере гостиницы. Любовница арестована».
— Где находится Тауферс? — спросил он.
— В Верхнем Винчгау, неподалеку от городка Глурнс. Между Эцтальскими Альпами и Ортлерским массивом.
— То есть в непосредственной близости от швейцарской границы. И австрийской тоже. Территория с населением, говорящим на немецком языке.
— Неприятная история, — поморщился руководитель отдела. — Убийство туриста может повредить Италии как политически, так и экономически. Поэтому я бы хотел поручить расследование своему самому опытному криминалисту, то есть вам. Мое напутствие будет довольно кратким, — продолжал он. — Коллеги из Мерана, в ведении которых находится также и Тауферс, услышав о вашем появлении, станут метать громы и молнии. Постарайтесь вести себя как можно дипломатичнее. Пожалуй, на первых порах вам лучше выступить в роли советника. Если они начнут буксовать, вы всегда сможете официально возглавить следствие. Главное, чтобы ни австрийское посольство в Риме, ни консул в Милане не могли упрекнуть нас в халатности.
Полчаса спустя Феллини уже был дома и упаковывал необходимые в дорогу вещи. Часом позже он сидел в машине, увозившей его по широкому шоссе из Милана к северной границе Италии. День был не слишком теплый, такой, какие бывают на стыке зимы и весны. Поля уже освободились от снега, но еще не покрылись свежей зеленью. Облака висели так низко, что ни шофер, ни Феллини долгое время не видели гор. Лишь около Брешии небо снова заголубело и взору открылись величественные Альпы.
— Что ни говори, а Глурнс расположен на высоте девятисот метров над уровнем моря, — заметил Феллини, листая автоатлас, — а Тауферс — и того выше. Сейчас там глубокая зима. Вы бывали в Тауферсе раньше?
Шофер отрицательно покачал головой — он еще никогда не выезжал севернее Мерана.
— Не так давно, — вспомнил Феллини, — несколько сумасшедших взорвали там мачты линии высоковольтных электропередач.
Около Больцано они пообедали в небольшой сельской таверне. Когда они проезжали Меран, уже начинало темнеть, а в Глурнсе, куда они добрались вконец утомленные, их встретила глубокая ночь
В окнах полицейского участка, однако, еще горел свет, и у входа стояло несколько автомашин
— Смерть туриста не дает им покоя, — заметил Феллини.
В первую же минуту Феллини понял, что его приезд никого не обрадовал И не удивительно Впервые у криминалистов Мерана блеснула заманчивая возможность отличиться, попасть на страницы газет и привлечь к себе внимание высокого начальства из Милана, а то и из Рима И вдруг, как назло, появляется этот Феллини
— Господа! — обратился он к окружившей его группе полицейских и сотрудников уголовной полиции. — Прежде всего я бы хотел поставить точки над i в вопросе о полномочиях. Расследовать дело по-прежнему будете вы. Однако оно уже наделало и еще наделает столько шуму, что наши всемогущие боги сочли необходимым прислать к вам наблюдателя и, если хотите, советника, то есть меня. Вы, разумеется, понимаете, что в таком деле, как убийство иностранца, любое начальство стремится застраховать себя от всяких случайностей. —

Феллини улыбнулся. — Считайте меня таким страховым полисом. Или, быть может, вы уже арестовали убийцу?
— Надеемся, — ответил криминаль-ассистент Молькхаммер.
Феллини никогда раньше не встречался с Молькхаммером, хотя и слышал о нем.
— Правда, — продолжал Молькхаммер, — мы не очень уверены, что действуем правильно, и, откровенно говоря, с каждым часом неуверенность растет. Мы арестовали любовницу Новака.
— Могу я с ней поговорить?
— Разумеется, — сказал Молькхаммер.
Затем он отпустил коллег домой, пожелав им доброй ночи. Пока ходили за Лиль Кардо, Молькхаммер рассказал Феллини обо всем, что им удалось выяснить до настоящего времени. По мнению медицинского эксперта, Новак был убит около полуночи Кардо утверждает, что заметила труп только утром около девяти часов Около одиннадцати часов ее увидел граф фон Гатцфельд-Бахенгофен в тот момент, когда она рылась в вещах покойного
— Она созналась в преступлении?
— К сожалению, нет.
— Кстати, — начал Феллини, — я бы хотел, чтобы между нами не было недомолвок. В деле сколько угодно подводных камней, и, если мы оба поведем себя недостаточно умело, наше сотрудничество, едва возникнув, лопнет, как мыльный пузырь. Вы — криминаль-ассистент, которому поручили самостоятельно распутать сложный случай, и вы, разумеется, мечтаете отличиться. К тому же вы — уроженец Южного Тироля, ваш родной язык — немецкий, а я — итальянец.
— Последнее не имеет для меня ровно никакого значения, — заметил Молькхаммер, — я не националист. Что до остального, то, признаюсь, увидев вас в дверях, я в первый момент прямо-таки рассвирепел, но затем, по здравом размышлении, понял, что без вашей помощи я, возможно, только сяду в лужу.
Он засмеялся, и в этот момент Феллини поверил, что они сработаются.
— Сколько вам лет? — спросил он Молькхаммера.
— Двадцать шесть.
— Кстати, вы случайно не родственник Молькхаммеру, который до недавнего времени входил в сборную Италии по лыжам?
— Родственник, и даже очень близкий. Он и я — одно и то же лицо.
— Очень рад, — дружески улыбнулся Феллини.
В комнату ввели Лиль Кардо. Оба мужчины не успели раскрыть рта, как она засыпала их жалобами на холод в камере, ветхое постельное белье и арест вообще. Феллини предложил ей выпить чашечку кофе или что-нибудь поесть, но она отвечала, что уже ела и что им не удастся чашечкой кофе смыть с нее такой позор. Она требовала немедленного освобождения. Местных полицейских, этих идиотов, вместе с графом, который оклеветал ее, нужно упрятать за решетку. Но самый большой позор заключается в том, что убийца до сих пор разгуливает на свободе.
Феллини терпеливо ждал конца словоизвержения, изучая стоявшую перед ним женщину, которая даже сейчас, с лицом, искаженным злобой и болью, выглядела чрезвычайно привлекательной
Феллини достаточно хорошо владел немецким, чтобы не только понимать речь, но и вести беседу.
— Успокойтесь и припомните все, что произошло вчера вечером, — заговорил он.
— Хорошо, — сказала Лиль с неожиданной деловитостью, — и, пожалуй, я выпью чашечку кофе.
Затем она описала нелепый спор в баре, озлобление Новака, вызванное зеленой запиской, и телефонный разговор с Инсбруком.
— После разговора с господином Крёберсом, — продолжала она, — я поднялась наверх. Дверь была открыта, хотя мой друг запер ее, когда я вышла, чтобы позвонить по телефону. Я это помню совершенно точно. Мы занимали три комнаты: маленький салон с двумя спальнями по бокам. Свет не горел, и я решила, что Гериберт уснул. Жалюзи не было опущено, и через окна падало достаточно света, чтобы я могла ориентироваться в темноте.
Слушая Лиль, Феллини не сводил глаз с ее лица. Сидевшая перед ним женщина была возбуждена, но ничуть не испугана.

— Я проснулась, — продолжала она, — когда уже рассвело, и взглянула на часы. Они показывали начало девятого. Я прислушалась: все было тихо. Я решила, что Новак еще спит, и продолжала лежать. Обычно он вставал раньше меня. В девять часов я позвала его и, не услышав ответа, прошла в соседнюю комнату.
Она судорожно глотнула воздух, словно ей сдавило горло, и продолжала, понизив голос:
— Он лежал на постели, нераздетый. Вначале я решила, что он пьян, но затем увидела кровь: немного на шее и небольшое пятнышко на подушке.
Она замолчала и дотронулась рукой до места на шее, куда пришелся смертельный удар.
— Орудие убийства еще не найдено, — добавил скороговоркой Молькхаммер по-итальянски. — Новак убит очень тонким и острым предметом. Оба укола, находящиеся в непосредственной близости друг от друга, поразили сонную артерию. Но еще раньше Новак был оглушен ударом по затылку.
— Почему же вы сразу не сообщили об убийстве? — спросил Феллини.
— Я была ужасно возбуждена. Вначале я решила, что самое главное — найти зеленую записку и бумаги, которые Гериберт хотел привести в порядок. Я с самого начала знала, что зеленою записку написал убийца. В ней говорились, что Гериберту несдобровать, если он до четверга не прибудет в Грац. Так и вышло: в четверг ночью они расправились с ним. Возможно, ровно в двенадцать часов.
— И вы нашли эту записку? — спросил Феллини.
Лиль Кардо отрицательно покачала головой.
— Вы не испугались мертвеца?
— Страх… Сейчас я удивляюсь сама себе. Я была так возбуждена, что забыла о страхе. Я думала только о записке и о том, что обязательно должна найти ее. В это время в комнате и появился граф.
— Спасибо. А теперь вам лучше снова отправиться спать. Надеюсь, к утру обстоятельства достаточно прояснятся, и мы сможем освободить вас из-под ареста, — сказал Феллини.
Однако его слова не вызвали у женщины ни возбуждения, ни облегченного вздоха, и это окончательно убедило Феллини в ее невиновности.
Молькхаммер приказал проводить Лиль Кардо в камеру. Затем он поднял руки, как бы прося пощады. Он думал, оправдывался Молькхаммер, что Кардо рылась в вещах покойного в поисках драгоценностей и денег, а не какой-то там записки. И в первую очередь его подозрения вызвал тот факт, что она не сразу сообщила полиции об убийстве.
— Вы верите в историю с запиской? — спросил Феллини.
— Теперь — да. Если бы Кардо сама написала записку, чтобы отвести от себя подозрения, она бы сохранила ее для нас.
— А верите ли вы в то, что она — убийца?
— Больше не верю.
— Тогда освободите ее завтра утром.
Молькхаммер был благодарен Феллини, что тот не упрекал его за опрометчивый арест певицы. Первоначальное недовольство появлением известного криминалиста уступило место чувству облегчения; он радовался, что ему не придется одному распутывать этот чертовски запутанный клубок. Тут можно прославиться, но можно и сломать шею. Однако именно в данном деле никто не простит неудачи: ни начальство, ни пресса, ни общественность.
— Кто же убийца? — спросил Феллини. — Врач? Но ведь не убивают же человека только за то, что, подвыпив, поцапались с ним в баре. Кстати, с кем это разговаривала Кардо по телефону?
— С неким Крёберсом. Он торгует марками в Инсбруке. Больше о нем ничего не известно. Возможно, Крёберс поможет пролить свет на загадочную историю с Грацем и деньгами. Разумеется, при условии, что Кардо не водит нас за нос
— Мы многого еще не знаем, — сказал Феллини. — Мы не знаем, кем был Новак, не знаем, почему он решил позвонить Крёберсу в середине ночи. Мы должны для порядка прощупать врача.
Феллини провел остаток ночи в одной из камер полицейского участка Глурнса, и ни жесткий соломенный тюфяк, ни одеяла, источавшие кисловатый запах, не могли потревожить его богатырский сон.
В соседней камере неподвижно лежала на койке Лиль Кардо и не могла уснуть Час за часом она смотрела невидящим взором на тень, отбрасываемую решеткой на потолок, пока не забылась

под утро беспокойным сном. Еще не пробило шести часов, а она уже открыла глаза, разбуженная звуком поворачиваемых в замочной скважине ключей и скрипом дверей. Около семи ее проводили к Молькхаммеру, который объявил, что она свободна. Но известие, казалось, не обрадовало Лиль.
— Однако мы просим вас, — добавил он, — на некоторое время задержаться в Глурнсе или Тауферсе. Возможно, нам понадобится ваша помощь. Из «Бурого Медведя», если угодно, можете выехать.
— Хорошо, я сниму где-нибудь комнату, — вяло согласилась Кардо. — Только прошу оставить меня до завтра в покое.
Вскоре она уехала на полицейской машине. Шум мотора разбудил Феллини. Он заложил руки за голову и задумался. Эти минуты между пробуждением и подъемом он ценил больше всех остальных. Голова была свежей и ясной, мысли оформлялись быстро и четко, и он уже привык к тому, что лучшие идеи приходили ему на ум именно в это время. Невиновность Кардо казалась ему бесспорной. Решив избавиться от любовника, она бы, несомненно, позаботилась об алиби. Да и эту историю с запиской нельзя игнорировать совсем. Не следует, конечно, сосредоточивать на ней все внимание, чтобы не упустить из виду другие обстоятельства, но все-таки вначале следует пойти именно по этому следу. Возможно, Крёберсу в Инсбруке кое-что известно. Кстати, знает ли Молькхаммер, что ответил ей Крёберс?
— Ее зовут, конечно, не Кардо, а Лизеллота Крамер, — сказал Молькхаммер, завтракая с Феллини в кафе, расположенном напротив полицейского участка. — Она родом из Вердена на Аллере. Там же она работала парикмахершей. Кто-то внушил ей мысль, что природа наградила ее тонким слухом. Она воспылала любовью к музам и поступила певицей в третьеразрядный бар. Потом она присоединилась к женскому секстету, который, насколько я понял, создавал вокальный фон, подвывая солистам, затем снова полгода проработала парикмахершей и, наконец, опять выступила в баре, где и познакомилась с Новаком.
— Когда это произошло?
— Четыре года тому назад. Год спустя Новак снял ей квартиру в Мюнхене, еще через год поселил ее в Вене, а в последнее время стал даже брать с собой в разъезды.
— Неплохая карьера, — похвалил Феллини. — Если бы не смерть Новака, она еще через год могла бы стать его женой. Кстати, вы узнали, что ответил ей Крёберс?
— Конечно. По словам Кардо, он всячески увиливал от прямого ответа, отделываясь общими замечаниями и словечками вроде «как вам сказать», «ах, вот оно что», «посмотрим» и т. д. Он не говорил ни да, ни нет, словно не вполне понимал, о чем идет речь.
После завтрака криминалисты вернулись в полицейский участок, где их уже ожидал судебно-медицинский эксперт.
— Вчера я предварительно обследовал труп, а сегодня продолжил осмотр, — заявил он голосом человека, который придает своей деятельности первостепенное значение.
Феллини достаточно насмотрелся на такие характеры и давно пришел к выводу, что наилучший способ получить от них максимум информации — это разговаривать с ними с самым серьезным видом.
— Мне с самого начала стало ясно, — важно продолжал эксперт, — что убийство совершено необычным предметом, возможно, таким, который в обычных условиях не является оружием и оказался в руках случайно.
— Очень интересно, — сказал Феллини.
В сопровождении криминалистов врач спустился в подвал, где лежал труп Новака. Окна подвала были распахнуты, а носилки к тому же обложены большими кусками льда.
— Вы видите следы двух расположенных рядом уколов, — пояснил судебно-медицинский эксперт голосом экскурсовода. — Убийца дважды вонзил оружие, не будучи уверенным в том, что первый укол поразил сонную артерию. Одно время я сомневался, но теперь совершенно уверен в том, что оружие было слегка изогнуто наподобие сапожного шила.
— А удар, нанесенный ему раньше?
— Пришелся по затылку. В момент удара Новак, очевидно, наклонился вперед. Он тотчас же потерял сознание. Преступник дотащил его до кровати и хладнокровно убил
«Как же Молькхаммер мог предположить, что хрупкая женщина способна на такой зверский поступок? — удивленно подумал Феллини. — Только сильному мужчине под силу протащить стокилограммовое тело от гостиной до спальни, да еще положить его в постель. Или у нее был

помощник? Во всяком случае, даже обнаружив труп, Кардо, согласно ее версии, оставалась два часа в одной комнате с трупом, что никак не свидетельствует о слабости ее нервов».
— Мы сегодня же отвезем труп в Меран, — сказал Молькхаммер.
Ответив еще на несколько вопросов, врач распрощался и вышел. Криминалисты остались одни.
— А теперь едем в Тауферс, — сказал Феллини.
Стиснутая с обеих сторон ледяными кручами, дорога поднималась вверх, пересекала швейцарскую границу и за перевалом Офен спускалась к Энгадину. Сейчас перевал лежал в глубоком снегу, закрытый до середины мая для движения автомашин. Однако до Тауферса путь был расчищен, и даже на стоянке перед «Бурым Медведем» был убран снег.
Криминалисты прошли через вестибюль в кабинет владельца гостиницы.
— Господин Губингер, — подчеркнуто вежливо заговорил Молькхаммер, — вам придется еще раз пожертвовать для нас своим драгоценным временем.
— Но вы же нашли преступницу! — изумленно воскликнул Губингер.
— Возможно, да, но, возможно, и нет, — спокойно заметил Феллини — В таком деле нельзя спешить с выводами.
Губингер схватился за голову.
— Боже мой! — простонал он. — Если вы не обнаружите убийцу в ближайшее время, я окончательно разорюсь, Возможно, я и так уже разорен. Никто не согласится жить в гостинице, в которой совершено убийство.
— Я соглашусь, — успокоил его Феллини. — Однако ближе к делу… С какого года, приезжая в Тауферс, Новак начал останавливаться в «Буром Медведе»?
— Сейчас шестьдесят первый год, — рассуждал вслух Губингер, — стало быть, минимум с пятьдесят первого. Такой приятный, достойный человек! Он уже в третий раз посещает Тауферс с фройляйн Кардо. Господин Новак и здесь не сидел сложа руки, писал, иногда звонил по телефону, а иногда даже вызывал к себе секретаршу из Вены. Иногда господин Новак уезжал на пару дней в Мюнхен, Милан или Берн.
— Если я правильно понял, — спросил Феллини, — вы знакомы с Новаком уже десять лет?
Прошло несколько секунд, прежде чем Губингер ответил на вопрос.
— Точнее, я знаком с ним почти двадцать лет, еще с войны. Он служил лейтенантом в полковом штабе, а я был штабным поваром. Видите ли, я учился на мясника и, конечно, воспользовался своими знаниями, чтобы не оказаться в окопах. Он меня сразу узнал, когда впервые остановился в гостинице десять лет назад. С тех пор он регулярно наезжает к нам. То есть наезжал, — поправился Губингер и вытер потный лоб.
Феллини понял, что последние события заставили Губингера поволноваться. Владелец гостиницы не принадлежал к числу людей, которые спокойно воспринимают известие об убийстве человека. Он тяжело, прерывисто дышал и определенно страдал болезнями сердца, что, впрочем, было не удивительно, учитывая его тучность. Удивительно другое: как этому нервному и трусливому человеку в сравнительно короткое время удалось построить на месте деревенского трактира такую крупную гостиницу? Старое здание использовалось сейчас под жилье для обслуживающего персонала, а рядом с ним возвышался новый четырехэтажный вместительный корпус на восемьдесят коек. Интересно, откуда у этого, откровенно говоря, деревенского увальня взялись такие деньги
— Покажите мне номер, в котором жил Новак, — попросил Феллини.
Их появление в вестибюле вызвало больший интерес, чем хотелось бы комиссару. Они поднялись на третий этаж, и Губингер отпер дверь
— Это салон, — пояснил он, — слева — спальня фройляйн, а справа — господина Новака. Когда я пришел, он еще лежал там, на кровати, так спокойно, словно забылся сном. Какой ужас! Бедная жена, бедные дети!
В комнатах уже было прибрано и постели перестланы. Но еще раньше Молькхаммер распорядился сфотографировать место преступления и зарегистрировать каждый предмет.
Феллини подошел к окну и выглянул во двор: никаких следов на снегу. Следовательно, преступник проник не через окно, а вошел в номер через дверь, которую ему открыл Новак. В тот вечер Новак был очень испуган и тем не менее впустил в полночь мужчину, своего убийцу. Это мог быть только его хороший знакомый.
Феллини направился к выходу.
— Проводите меня, пожалуйста, к доктору Перотти, — попросил он Губингера.

— Доктор Перотти сегодня утром ушел в горы. Вероятно, он вернется только к обеду.
— В таком случае я хотел бы побеседовать с графом. Губингер поклонился и поспешно вышел, едва не столкнувшись в дверях с какой-то женщиной.
— Я должна поговорить с детективами, — быстро произнесла она. — Ведь вы детективы, не так ли?
Это была полная женщина лет пятидесяти, с резкими движениями и торопливой речью.
— Я видела убийцу, да, да! Я ждала вас еще вчера. Господина Новака застрелили в этой комнате?
Она испуганно замолчала и уставилась вначале на пол, а затем на кресло.
— Какой ужас! Бедная симпатичная девушка! Убийца — доктор! — неожиданно выпалила она и села в кресло. — Я заметила, как он выходил из этой комнаты после двенадцати часов. Я как раз возвращалась из бара и шла по коридору. Я также видела, как они поссорились — доктор и господин Новак. Я сидела за соседним столиком…
— Эта дама — фрау Моосбюргер из Туттлингена, — перебил ее Губингер, оставшийся стоять в дверях.
— Видите ли, я — учительница, — пояснила фрау Моосбюргер. — В школе привыкаешь обращать внимание на любую мелочь. Кто не делает этого, тот пропал, дети будут вить из него веревки. Одним словом, можете на меня положиться: доктор вышел из этой комнаты в половине двенадцатого.
— Вы только что сказали: после двенадцати, — перебил ее Феллини.
— Кто? Я? Какая разница! Возможно, это было до двенадцати. В такой момент не смотрят на часы, не правда ли?
— Вы заметили что-нибудь особенное? — спросил Феллини — Он был возбужден, бежал?
— Господи, я солгу, если скажу «да». В конце концов я тоже пропустила рюмочку-другую. Он просто очень быстро шел. Не бежал, а так, быстро-быстро шел.
Феллини попросил учительницу выйти вместе с ним в коридор и показать, где стояла она и откуда и куда шел доктор Перотти.
— Фрау Моосбюргер, — в заключение сказал Феллини, — с вашего разрешения мой коллега составит протокол нашей беседы.
— Вы арестуете доктора Перотти? — спросила она, широко раскрыв глаза. — Вы тоже полагаете, что он убийца?
— Посмотрим, — неопределенно ответил Феллини.
Мольххаммер остался с учительницей, а Феллини вместе с Губингером прошел в его кабинет, решив, что кабинет — наиболее подходящее место для беседы
Вскоре в сопровождении Губингера появился граф. Графу Фердинанду фон Гатцфельд-Бахенгофену лишь недавно пошел четвертый десяток. Он носил самое обыкновенное платье, и в его лице Феллини не обнаружил ни одной черточки, которая свидетельствовала бы о его благородном происхождении. Скорее, он походил на обыкновенного служащего или инженера.
— Я с удовольствием сообщу вам все, что знаю, — поклонился граф. — В то утро я зашел в номер господина Новака, так как хотел помирить его с доктором На мой стук дверь открыла фройляйн Кардо. Она была в халате и казалась очень растерянной. Я тотчас сообразил, что случилась какая-то неприятность.
Все, что рассказывал граф, не являлось для Феллини новостью. Он терпеливо и внимательно выслушал графа до конца и неожиданно спросил:
— Вы давно знаете Новака?
— Около пяти лет. Этот человек имеет, пардон, имел колоссальные связи. С его помощью я реализовал несколько картин, а также лес под Мархеггом, недалеко от словацкой границы. В наше время бессмысленно пытаться сохранить такое разбросанное наследство. Ну скажите, пожалуйста, на что мне замок Гартенштейнов в Каринтии? Полукрепость, полузамок, полуразвалина… Там нечего делать даже летом. Новак решил его приобрести и восстановить. На деньги, которые он собирался вложить в крепостные стены, можно купить пягь больших особняков.
— Но не старый замок?
— Вот именно, — усмехнулся граф. — Я — граф и предпочитаю жить в отеле, он же не был графом и поэтому хотел приобрести замок. Пожалуйста!
— У него были конкуренты?

— Нет, не думаю, чтобы кто-нибудь завидовал новому приобретению Новака.
— Вы уверены, что у него не было сомнительных деловых связей?
— Уверен.
— У него были враги?
— Не знаю.
— А доктор Перотти?
Граф недовольно поморщился.
— Не будем раздувать из мухи слона. Все мы немножко выпили, Лиль Кардо, конечно, очаровательная женщина, но один человек не станет вонзать другому нож в шею только потому, что повздорил с ним за столом.
— Как долго вы еще пробудете здесь?
— Пока удержится снег.
— Разумеется. — Граф, казалось, некоторое время колебался, прежде чем задать мучивший его вопрос: — Позвольте узнать, как долго вы собираетесь держать под арестом Лиль Кардо? Может быть, ее можно освободить под залог?
— Она уже освобождена, — ответил Феллини.
Граф облегченно откинулся на спинку стула.
После того как учительница подписала составленный Молькхаммером протокол, оба криминалиста выехали в Глурнс.
В Глурнсе они позвонили в Милан и Меран, сообщив о предварительных результатах расследования, в последний раз взглянули на труп Новака, перед тем как его положили в гроб и увезли, и отправились обедать в ресторанчик, в котором завтракали утром.
— Это мое первое серьезное задание, — сказал Молькхаммер. — Надеюсь, до вечера все станет на свои места. Неужели Новака убил Перотти?
— Посмотрим. Кстати: Губингер учился на мясника, и Новака закололи как свинью.
Феллини отломил вилкой кусочек биточка и поднес его ко рту.
— Черт побери, — пробормотал он, — как это я раньше не догадался? Возможно, Новака укололи в сонную артерию не два раза, а только один? Скажем, большой двузубой вилкой для мяса?
От неожиданности Молькхаммер перестал жевать и, проглотив недожеванный кусок, быстро произнес:
— Как же этот умник эксперт не сообразил столь простой вещи? Ну конечно, такие вилки слегка изогнуты!
— Я и раньше подозревал не только врача, но и Губингера, а теперь подозреваю его еще больше. Но я все-таки не могу поверить, что этот трусливый толстяк способен на убийство.
— Когда волку угрожает опасность, он идет на все. Но какая опасность угрожала Губингеру?
После обеда Молькхаммер и Феллини вернулись в полицейский участок. Там их поджидала целая толпа репортеров, но комиссар перенес пресс-конференцию на вечер. Криминалисты уже собирались снова выехать в Тауферс, когда в комнату вошел высокорослый молодой человек в лыжных брюках и непромокаемой куртке.
— Я хотел бы дать некоторые показания. Я — доктор Перотти.
Феллини и Молькхаммеру пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своего удивления.
— Я не собираюсь отнимать у вас много времени, — начал Перотти. — К тому же не исключено, что то, что я хочу рассказать, давно вам известно. Дело в том, что в течение двух недель я почти каждый день встречался с господином Новаком, в том числе и вечером накануне убийства. В тот вечер между нами произошла небольшая ссора.
Дальнейшее уже было известно криминалистам и совпадало с показаниями графа и Лиль Кардо.
— Куда вы направились, выйдя из бара? — спросил Феллини.
— В других обстоятельствах, — после некоторого колебания произнес врач, — я бы воздержался говорить о подобных вещах. Надеюсь, мне можно рассчитывать на вашу скромность? Некоторое время тому назад я познакомился с одной дамой, некой Кристиной Риман. В тот вечер я был у нее. Вернее, вначале я зашел к себе в номер, несколько освежился, а затем направился к ней. Она живет на третьем этаже, через две двери от номера господина Новака.
— Как долго вы оставались у Риман?

— Я не смотрел на часы, а если и смотрел, то сейчас не помню Я ушел от нее вскоре после двенадцати или в половине первого.
Перотти говорил легко и изящно. Он был высокого роста, стройный, загорелый, с густыми черными волосами и красивыми темными глазами. «Такой производит на женщин неотразимое впечатление И не удивительно, если они по уши влюбляются в него», — подумал Феллини, а вслух сказал:
— Разумеется, весь разговор останется между нами Однако, надеюсь, вас не оскорбит, если мы, в спою очередь, поговорим на ту же тему с фрау Риман
Доктор Перотти кивнул головой, выражая согласие Молькхаммер попросил у врача удостоверение личности и уже хотел протянуть ему на подпись протокол, как вдруг Феллини задал ему еще один вопрос:
— Кстати, расскажите о своих отношениях с фройляйн Кардо!
— Это не был даже флирт. Женщина, конечно, очень недурна, но я не любитель охотиться в угодьях своих знакомых. Я не только ни разу не поцеловал ее, но даже не пытался этого сделать.
— Во всяком случае благодарю вас, — закончил Феллини, — что вы явились по собственной инициативе.
Он поднялся и вышел из комнаты, предоставив Молькхаммеру заканчивать формальную часть допроса.
На улице, освещенной ярким мартовским солнцем, ослепительно сверкал снег, с крыши капала талая вода и опьяняюще пахло мягким весенним воздухом. Феллини остановился и задумался Показания Перотти разрушали все надежды на скорую поимку преступника. Если Риман подтвердит, что доктор Перотти находился у нее в тот полуночный час, любой суд отклонит показания учительницы из Туттлингена. Даже если доктор Перотти и совершил преступление, уличить его невозможно. И наконец, с какой стати ему было вообще убивать Новака?
Феллини вернулся в кабинет и перечитал протокол.
— Не вешайте носа! — подбодрил он Молькхаммера. — Подобные неудачи случаются время от времени Вы прощупаете до вечера эту Риман, а я займусь проверкой своей гипотезы. Не исключено, что вилка поможет нам напасть на правильный след.
Они вместе выехали в Тауферс.
В гостинице криминалисты разделились: Молькхаммер поднялся к Риман, а Феллини спустился в кухню. Обеденная горячка прошла, перед тремя судомойками стояла гора грязных тарелок, теплый воздух был насыщен запахами вкусных блюд. Повар в переднике и высоком белом колпаке перекладывал в блюдо кусочки жаркого. Феллини представился. Повар в ответ вытянул трубкой губы и растопырил пальцы, давая понять, что знает как его, так и цель визита. Повар оказался итальянцем, одним из немногих итальянцев, встреченных Феллини в горах.
Феллини осмотрелся и похвалил кухню: просторная, чистая, оснащенная, судя по всему, самым современным оборудованием, она производила превосходное впечатление.
Повар с такой гордостью провел Феллини по кухне, словно она была его собственностью, обратив внимание криминалиста на то, что все оборудование электрическое — и чисто и удобно.
— У вас есть большие вилки, например для жаркого? С двумя зубьями? — спросил Феллини, когда они, наконец, закончили осмотр.
— Разумеется.
Повар прошел к ящикам, в которых лежали столовые приборы. Феллини взял одну из вилок в руки: твердая ручка и два острых, слегка изогнутых зуба.
— У вас много таких вилок?
— Пять.
— Все на месте?
— Вчера было только четыре. Одна пропала. Ну да ничего, найдется.
Вдруг он пристально посмотрел на Феллини.
— Или вы думаете…
— Я ничего не думаю, — перебил его Феллини, — и вам советую не ломать себе голову, — но, спохватившись, смягчился — По крайней мере никому ни слова. Болтливость может чрезвычайно затруднить расследование. Это не более чем подозрение.
— Разумеется, я буду нем как рыба.

— Чего-нибудь еще не хватает?
— Шести кофейных ложечек, двух сахарниц и колотушки для мяса.
— Когда она пропала?
— Позавчера.
— Кто был на кухне в тот вечер, когда произошло убийство?
— В тот день я работал две смены и ушел только в двенадцать часов ночи. Вон та женщина в голубом переднике ушла в начале двенадцатого.
— К вам кто-нибудь заходил?
— Шеф.
— Это в порядке вещей?
— О да! Он часто заходит на кухню, иногда по делам, а иногда просто так.
— Не мог ли он незаметно взять вилку и колотушку для мяса?
— Мог. Но прошу об одном: избавить меня от неприятностей!
— Если вы сами не проболтаетесь, никто не узнает о нашем разговоре, — сказал Феллини и протянул повару руку. Ладонь повара была влажной, лицо блестело, словно смазанное жиром.
Пока Феллини шел к выходу, женщины с любопытством смотрели ему вслед, и он не сомневался, что сразу после его ухода они ринутся к повару с расспросами, и неизвестно, выдержит ли тот их натиск.
Факты, сообщенные поваром, могли придать следствию другое направление. Феллини хотелось немедленно поделиться новостью с Молькхаммером, но тот, вероятно, все еще находился у Риман. Необходимо как можно быстрее допросить Губингера, пока повар не успел его предупредить. Возможно, он уже раскаивается в своих показаниях и попытается оправдаться перед хозяином.
Войдя в кабинет, Феллини увидел, что Губингер сидит, размякший и бледный, за письменным столом, опустив на него тяжелые руки. Казалось, он уже давно так сидит и словно чего-то ждет: то ли счастья, то ли беды, но в любом случае важных изменений. Феллини знал, что в подобном состоянии люди особенно податливы и не всегда взвешивают значение своих слов, забывая о том, что могут себе повредить.
— Вы-то чего разволновались? У вас полное алиби на весь вечер. Я уже просмотрел протокол вашей беседы с моим коллегой, — приветливо улыбнулся Феллини.
— Это не совсем верно, — возразил Губингер. — Я дважды заходил в кабинет и оставался в нем некоторое время один.
Феллини махнул рукой.
— Жалкие мгновения. А где вы находились в остальное время?
— Вначале на кухне, где я сделал себе бутерброд. Потом задержался в баре. Затем снова зашел в кабинет, а вскоре дали Инсбрук. После этого я оставался в баре до закрытия.
Феллини сравнил его показания с показаниями повара, Кардо и некоторыми другими и не нашел противоречий; возможно, и есть некоторые несовпадения по времени, но не более двух — трех минут. Губингер был не такой человек, чтобы за две-три минуты взлететь на третий этаж, убить Новака, спрятать орудия преступления и с невозмутимым видом, спокойно дыша, вернуться к гостям, в то время как при одном только известии об убийстве у него сдали нервы.
Феллини расспросил Губингера о поваре, судомойках, узнал, кто, кроме них, имеет право заходить на кухню, и выслушал его рассказ о том, что он делал на кухне. Далее Феллини поинтересовался, когда врач вышел из бара и не знаком ли он с поваром, но об этом Губингер ничего не знал. В заключение Феллини задал еще несколько отвлекающих вопросов и неожиданно спросил:
— Известно ли вам, что на кухне пропала большая вилка и колотушка для мяса?
— Даже не слыхал, — равнодушно откликнулся Губингер. — Там всегда что-нибудь пропадает.
Феллини понял, что дальнейшие расспросы бесполезны, и, попрощавшись, вышел.
Вскоре он встретил Молькхаммера, и криминалисты обменялись новостями. Молькхаммер допросил фрау Риман. Ее показания полностью совпадали с показаниями врача. Она подтвердила, что доктор Перотти в упомянутый час находился у нее. Странным во всей этой истории было лишь то, что женщина никак не походила на любовницу красавца доктора.
— Ей давно перевалило за сорок, — рассказывал Молькхаммер, — и к тому же она, как бы вам сказать, откровенно говоря, просто жирна.

— Продолжайте держать доктора под наблюдением, — сказал Феллини, — и побродите сегодня вечером немного вокруг гостиницы. Я выезжаю в Инсбрук. Хочу взглянуть на этого Крёберса. Возможно, я вернусь оттуда с богатой добычей.
С наступлением сумерек Феллини выехал в Глурнс.
Он потратил несколько часов, сопоставляя различные факты, отыскивая противоречия и несовпадения. Затем он позвонил в Милан и попросил прислать ему все, что известно о докторе Перотти из Модены.
* * *
Вечером Губингер, как обычно, обошел бар. Он пытался внушить себе, что все снова стало на свои места, как до убийства. Доктор Перотти появился лишь на минуту, чтобы выпить рюмку коньяку, и снова исчез.
Граф не показывался вообще: утром он выехал из гостиницы и переселился в отель, в котором сняла номер Кардо.
В баре их места заняли новые посетители: криминаль-ассистент Молькхаммер и несколько журналистов, подозрительно вертевших головами, словно высматривавших сенсацию, которая оправдала бы их поездку на этот отдаленный курорт.
Губингер переходил от стола к столу, смеялся, сыпал остротами. Он даже угостил коньяком трио, хотя в этом не было необходимости: обычно гости сами заботились о том, чтобы музыкантов не оставляло вдохновение. Но сегодня ни коньяк, ни десять коньяков не могли вернуть Губингеру былого спокойствия: червь точил его изнутри.
Пройдя через вестибюль, Губингер поднялся в кабинет. Едва он опустился в кресло, как раздался телефонный звонок: звонила фрау Риман.
— Нет, — сказал он, — не приехал… Пожалуйста, поверьте мне… Завтра утром наверняка… Да, конечно… Разумеется, убийство. Из-за него пострадали не только поставки. Милостивая сударыня, я непременно вспомню о вас. Безусловно. Спокойной ночи.
Губингер в сердцах бросил трубку. Не хватало только, чтобы еще эта Риман взбунтовалась! В гостинице полно полицейских, в любую минуту они могут перевернуть все вверх дном. Во всяком случае, он надежно припрятал товар. Необходимо в ближайшее время сбыть его понемногу надежным клиентам. Новые поставки он заморозил до тех пор, пока не заглохнет история с убийством.
Но Риман следует опасаться. Женщина не из тихонь. Он сам видел однажды, как одна женщина вроде нее устроила такой скандал, что сбежалось полдома. Лучше сегодня же вечером отделаться от нее небольшой подачкой. Правда, это небезопасно, но что делать? Приходится выбирать меньшее из двух зол. Остальных постоянных клиентов он убедит разъехаться в ближайшие дни. Наиболее осмотрительные уже так и поступили.
Губингер поднялся, кряхтя, с кресла, вышел из кабинета и запер дверь. Никто не заметил, как он поднялся по лестнице и исчез в прачечной, расположенной в конце последнего этажа. Разбросав в углу кучу грязного белья, он приподнял полоску линолеума, отодвинул в сторону доску и осветил карманным фонариком небольшое углубление, в котором лежали белые картонные пачки, похожие на обычные пачки сигарет. В них действительно находились сигареты, но, как говорили клиенты, «косые» — сигареты с марихуаной Губингер сунул в карман несколько пачек, снова вдвинул доску на место, накрыл ее линолеумом и забросал сверху бельем. Поднимаясь с пола, он почувствовал слабость в коленях и головокружение. Сколько раз он уже давал себе слово обратить внимание на кровообращение, есть вполовину меньше обычного, в определенные дни питаться только соками и ежедневно прогуливаться.
Он негромко постучал в номер Кристины Риман. Женщина тотчас открыла дверь.
— Ах, это вы! — протянула она. — Прошу!
Губингер быстро вошел и прикрыл дверь.
— Вам повезло, — сказал он. — Один клиент вернул мне кое-что, и я немедленно вспомнил о вас. — Он вытащил из кармана пачку и протянул ее Риман. На лице женщины заиграла улыбка, глаза широко раскрылись, и она торопливо схватила сигареты, словно испугавшись, что Губингер передумает и заберет их назад.
— Вы — ангел, — произнесла она и распечатала пачку, достала сигарету и жадно затянулась.
Губингер взглянул на ее круглые плечи, толстые руки и пухлые ладони, покрытые мягкими подушечками, как у новорожденного.

— Вы, разумеется, понимаете, — вздохнул он, — что в данной ситуации я заплатил более высокую цену, чтобы получить пачку обратно.
Кристина Риман кивнула головой. Теперь ей было все равно.
— Тем не менее я прошу вас завтра же выехать из гостиницы. По всему дому рыскает полиция, ищет убийцу. Вас уже тоже допрашивали, а мне они просто не дают житья Разумеется, мы здесь ни при чем, но береженого бог бережет.
Риман задумалась.
— Хорошо, — наконец согласилась она, — велите приготовить счет. Завтра я выеду дневным поездом в Глурнс.
— Мой человек проводит вас на вокзал.
Губингер облегченно вздохнул и вышел.
* * *
Наутро после поездки в Тауферс Марио Феллини выехал на той же служебной машине, которая доставила его в Верхнее Винчгау, через долину Эчталь в Больцано Итак, проблема, внушавшая ему опасения, блестяще решена — нарочный из Милана снабдил его полномочиями Интерпола. Теперь он мог вести расследование и на австрийской территории К сему была приложена просьба к австрийской полиции оказывать ему всяческое содействие. В полдень он сел в поезд, отправляющийся в Инсбрук. Пока колеса отстукивали километры, он думал о том, как представиться Крёберсу агентом полиции, филателистом или доверенным лицом Новака. Сведения о Крёберсе, полученные накануне вечером из Милана, были слишком скудны пятьдесят лет, женат, имеет троих детей. И все.
К вечеру поезд прибыл в Инсбрук. Феллини доехал на такси до отеля и поселился в номере, из которого открывался живописный вид на город, каждую минуту на его улицах и в домах вспыхивали все новые огоньки. В адресной книге Феллини нашел против фамилии Крёберса два адреса домашний и магазина — и решил, не теряя времени, навестить Крёберса дома. Мальчик лет пятнадцати открыл ему дверь и впустил в прихожую.
— Подождите минутку, — сказал он. — Папа сейчас выйдет.
Вскоре в прихожую вошел высокий седоголовый мужчина и неестественно громко извинился, что заставил ждать: он как раз ужинал.
— От господина Новака? Так-так, прошу вас. Вам повезло, что вы застали меня дома я только недавно вернулся с аукциона в Больцано.
Он пригласил гостя в кабинет и зажег свет. Феллини редко где встречал такую богатую личную библиотеку две стены были полностью заставлены стеллажами с книгами. Книги лежали на столе, поставленном поперек комнаты, на полу, под окнами, в ящиках письменного стола.
— Черт побери, — покачал головой Феллини, — это я называю кладезем науки!
— Они, кажется, скоро окончательно выживут меня. Привяжешься к ним всей душой, а они тебя потом так к стене прижмут — не вздохнешь.
И эту фразу Крёберс произнес неестественно громко, словно разговаривал с глухим. Наконец-то Феллини мог рассмотреть Крёберса немного лучше, чем в полусумраке прихожей. Хозяин дома был долговяз, костляв, с широкими жилистыми руками. На нем был зеленоватый костюм из грубого материала, похожего на сукно. Шея была морщинистая, с большим кадыком, а голова скорее могла принадлежать шахтеру, чем владельцу филателистического магазина и книголюбу тонкий нос, седые, коротко остриженные волосы, белые кустистые брови.
— Андреас Гофер не дает мне покоя, — пояснил Крёберс. — Еще в детстве я начал собирать все, что было написано об этом человеке и его времени, — и вот результат.
— Всё это книги об Андреасе Гофере?
— Почти, — ответил Крёберс. — Мой отец положил начало коллекции, а я унаследовал его увлечение. Работы — непочатый край. Потрясающая личность! Кстати, — и при этих словах Крёберс улыбнулся, обнажив вставные зубы, — в те времена у итальянцев и австрийцев были общие интересы — борьба против Наполеона. Редчайший случай!
Он громко расхохотался, затем несколько искусственно оборвал смех, предложил сесть и достал сигары.
До последней минуты Феллини не знал, как ему представиться. В коридоре он только назвался и сказал, что приехал из Милана. Теперь Феллини добавил, что он из итальянской уголовной полиции и что ему поручено раскрыть одно преступление.
— Дело в том, что господин Новак убит.

Крёберс уронил голову на грудь, сгорбился и медленно опустился на стул, лишив Феллини возможности увидеть его лицо в это решающее мгновение.
Когда он снова выпрямился, его губы были плотно сжаты, что могло означать и боль, и изумление, и ужас. Только хорошо изучив это лицо, можно было с уверенностью сказать, что на нем было написано.
— Убит? — переспросил Крёберс. — Где, когда, при каких обстоятельствах?
— Мы еще сами бродим в потемках. Я рассчитываю на вашу помощь. Недавно вы разговаривали по телефону с его близкой знакомой В связи с этим мы хотели бы узнать о ваших отношениях с Новаком.
Крёберс покачал головой и повторил: «Убит». Постепенно его глаза приобрели обычное выражение.
— Мы знакомы с 1945 года, — медленно заговорил он. — Сегодня я могу, более того, в такой момент я должен признаться — к тому же теперь мне ничто не угрожает, так как все забыто и прощено, — что в то время я был, как теперь говорят, спекулянтом. Все началось с очень крупной партии шин из запасов вермахта. Видите ли, нашу зону оккупировали французы, и, если бы я не проявил инициативы, они бы все конфисковали. Я продавал шины всем желающим, в том числе городским властям Зальцбурга и Линца; их машины для вывозки мусора ездили на моих шинах. Тогда я и познакомился с Новаком. Сначала я продал ему, кажется, несколько сотен метров шпал для узкоколейки.
Крёберс замолчал, его глаза сузились, словно он все еще не мог прийти в себя от боли и ужаса. Затем он, запинаясь, поведал о том, как решил вложить средства, нажитые спекуляцией, в более солидные предприятия.
— В то время я и предоставил Новаку кредит. Заверенный нотариусом, разумеется. Вы сможете убедиться в этом, заглянув завтра ко мне в магазин. Этот кредит поставил Новака по-настоящему на ноги. Двести тысяч полгода спустя после денежной реформы — сумма немалая. — Заметив, что Феллини открыл рот, чтобы задать ему вопрос, Крёберс торопливо добавил: — Дело в том, что я не ограничивал свои операции одной только Австрией. Я отдал Новаку почти все деньги, вложенные мной в Германии.
— А залог?
Крёберс пожал плечами.
— Разумеется, в то время Новаку почти нечего было предложить. Но я верил ему, и он меня ни разу не подвел. Проценты выплачивались всегда в срок.
— О чем вы говорили с ним в последний раз?
— О покупке одного замка, — не задумываясь, ответил Крёберс. — Некий граф фон Гатцфельд-Бахенгофен предложил Новаку замок. Новак спросил у меня совета, я съездил, посмотрел на развалины и настоятельно предостерег его от сделки; однако Новак по-прежнему кокетничал с проектом. По той же причине его знакомая позвонила мне в полночь несколько дней назад. Новак просил, чтобы я перевел ему какие-то деньги. Как будто ему мало двухсот тысяч! Туманная история. Она даже не сообщила, сколько он просит. Кстаги, когда был убит Новак?
— Предположительно в тот самый час, когда вы разговаривали с Лиль Кардо.
Крёберс так стиснул руки, что хрустнули суставы пальцев.
— Ужасно! — произнес он. — Во цвете лет!

Феллини задал еще несколько вопросов, но так и не узнал ничего, что могло бы помочь следствию. Крёберс плохо знал Кардо, дважды бывал в доме Новака в Вене и ничего не слышал о его врагах. Наконец Феллини извинился за вторжение в столь поздний час и распрощался. Они условились, что завтра
у
гром он зайдет к Крёберсу в магазин.

Но Феллини не пришлось побывать в магазине. Вернувшись в отель, он заказал разговор с Глурнсом. Вскоре послышался голос Мольккаммера:
— Новость из Модены. Там не проживает и никогда не проживал доктор Перотти!
— Срочно выезжаю! — закричал в трубку Феллини. — Ждите меня и не спускайте с парня глаз! Позвоните прокурору в Меран и испросите ордер на его арест по подозрению в убийстве. В

этой пограничной области все возможно. Вышлите машину к железнодорожной станции в Больцано.
Утром следующего дня все трое сидели за столом в полицейском участке Глурнса: Феллини, Молькхаммер и доктор Перотти.
— Я попрошу вас еще раз подробно рассказать, — начал Молькхаммер, — что вы делали в ночь, когда произошло убийство.
Доктор Перотти застонал.
— Неужели эго так важно?
Досадливо морщась, Перотти описал все свои слова и действия, и, несмотря на величайшее внимание, оба криминалиста не обнаружили ни малейшего противоречия между этим и прежними показаниями.
— Куда вы направились, выйдя из комнаты фрау Риман? — спросил в заключение Молькхаммер.
— Я вернулся к себе и лег спать.
— У вас есть свидетели?
Перотти улыбнулся, обнажив ровный ряд безупречных зубов.
— У меня отдельный номер.
Феллини попросил Перотти повторить еще раз, при каких обстоятельствах он познакомился с Новаком; при этом Феллини напряженно ждал подходящего момента, чтобы ошеломить мнимого доктора разоблачением, что он не врач и зовут его не Перотти.
Но Феллини так и не дождался этого момента, так как Перотти неожиданно произнес:
— Господа, я по горло сыт игрой в прятки. Я не доктор Перотти, и вообще никакой я не врач. Моя фамилия Андреоло, я лейтенант СИФАРа, — и он выложил на стол свое удостоверение.
Феллини и Молькхаммер недоуменно переглянулись, нерешительно взяли удостоверение, прочли, перелистали, и Феллини, к величайшему изумлению Молькхаммера, вдруг обрушился на Андреоло:
— Черт побери, к чему тогда весь этот спектакль? Известно ли вам, что вы спутали нам все карты?
— Я этого опасался, — согласился Андреоло. — Но не забывайте, что я должен работать конспиративно. И кроме того, вы тоже значительно осложнили мне работу. Вот уже две недели я живу в гостинице, выполняя секретное задание, содержание которого я не могу открыть даже вам и ради которого я пошел на некоторые личные жертвы. — Андреоло скорчил мину: — Вспомните только эту раздобревшую Риман. Но в тот самый момент, когда я уже приготовился к решающему прыжку, происходит убийство. Являетесь вы, и люди, с которых я не спускал глаз, словно переродились. Короче, все мои усилия пошли прахом.
— Почему же вы сразу не предупредили нас?
— Не имел права.
Феллини вернул удостоверение. Всегда одно и то же: военная контрразведка, сокращенно именуемая СИФАР, считает важной только свою работу и ни в грош не ставит остальных. Она присвоила себе право узнавать интересующие ее сведения от всех органов и в то же время сама ведет себя как скупердяй, стоит только попросить у нее какую-нибудь информацию.
— Надеюсь, я не слишком помешал вашему расследованию, — без тени насмешки сказал Андреоло. — Я сегодня же уезжаю. Здесь мне больше нечего делать.
Андреоло поднялся. Молькхаммер и Феллини корректно попрощались с ним за руку, и Андреоло вышел.
— Если СИФАР посылает сюда человека, — сказал Молькхаммер, — то уж неспроста. Прошлой осенью террористы взорвали здесь мачты высоковольтных линий электропередач. СИФАР до сих пор не обнаружила преступников. Это выводит ее из себя.
— Как вы считаете, у нас есть шансы поймать преступника? — немного помолчав, спросил Феллини.
— Очень мало, — ответил Молькхаммер. — Собственно говоря, почти никаких.
— Вы по-прежнему намерены руководить расследованием?
— Не согласились бы вы возглавить его?
— Я спрашиваю об этом по вполне определенным соображениям. Наши отношения оставляют желать много лучшего. Вы — шеф, я — ваш советник. При этом я старше вас по должности.

Пора внести в дело ясность. Если мы успешно придем к финишу, я вовремя остановлюсь и предоставлю вам право первым разорвать ленточку.
— Пока что дело пахнет не победой, а скорее поражением, — улыбнулся Молькхаммер. — В прошлом году в Италии остались нераскрытыми двадцать шесть процентов убийств. Возможно, теперь этот процент несколько возрастет.
— В таком случае, я думаю, вы не обидитесь, если я возглавлю расследование?
Молькхаммер облегченно вздохнул.
* * *
Феллини и Молькхаммер вместе приехали в Вену. Молькхаммер отправился к вдове Новак, а Феллини позвонил в контору фирмы «Новак».
Контора находилась недалеко от вокзала Зюдбангоф. Феллини был принят управляющим фирмы Бекмессером — правой рукой усопшего. На нем был темный костюм с черным бантом в петлице. Управляющий говорил так тихо, словно покойник лежал в соседней комнате. Феллини выразил соболезнование по поводу смерти принципала, и Бекмессер сдержанно поблагодарил.
— Мы ликвидируем фирму, — сообщил он и в осторожных выражениях пояснил, что таково желание вдовы Новак и что оно вполне разумно, ибо вопросы коммерции ей чужды, а вырученная сумма обеспечит ей и ее детям приличное, хотя и более скромное, существование в течение долгого времени.
Разговор зашел о зарождении фирмы, и управляющий упомянул среди кредиторов имя владельца филателистического магазина; он не скрывал своего разочарования тем, что Крёберс на другой день после похорон потребовал назад свой пай.
— То есть позавчера?
— Господин Крёберс первым из кредиторов обратился к фирме с подобным требованием. Двести тысяч марок! Мы, разумеется, не могли погасить весь долг немедленно. Для начала я перевел на его счет в Мюнхенском банке сорок тысяч.
Феллини задал вопрос о ранних деловых связях Новака с Крёберсом. Но Бекмессер отвечал очень осторожно. Возможно, у них и было деловое сотрудничество, но в книгах о нем не упоминается ни словом. Поэтому ему ничего не известно.
— В наше время не слишком охотно доверяют бумаге импортно-экспортные операции, — пожал он плечами.
— Что верно, то верно, — согласился Феллини. — Кстати, какие контакты поддерживал Новак с фирмами в Граце?
Бекмессер задумался.
— В последнее время никаких. Около двух лет тому назад мы заключили крупную сделку с одним машиностроительным заводом на поставку электромоторов, динамной стали и запасных частей. Если желаеге, можете взглянуть на документы.
— Не стоит. Во всяком случае, вы абсолютно уверены, что не заключали в последнее время и не собирались заключать никаких сделок с фирмами и Граце?
— Мне об этом ничего не известно.
— Не намеревался ли Новак незадолго до своей смерти съездить в Грац?
Но и на последний вопрос Феллини получил отрицательный ответ. Больше спрашивать было не о чем. Он поблагодарил Бекмессера и вручил ему листок с адресом и номером телефона уголовной полиции Милана, попросив сообщать обо всем, что покажется ему подозрительным.
Феллини условился с Молькхаммером встретиться в полдень в одном из кафе. Он пришел несколько раньше, заказал стакан какао и раскрыл утреннюю газету.
Ровно в двенадцать в кафе появился Молькхаммер.
— Все ясно, — заявил он. — Новак и Губингер вместе служили в армии. Еще несколько лет тому назад Новак рассказывал об этом своей жене. В общем и целом я бы не сказал, что она слишком тяжело переживает утрату. Довольно симпатичная женщина; даже удивительно, что Новак так упорно держался за Кардо.
— Его политические взгляды?
— Политикой не интересовался. К партиям не принадлежал. По словам жены, читал в газетах только биржевые новости и никогда не слушал последних известий. По телевизору смотрел иногда детективные пьесы. К театру и кино относился равнодушно.
— Типичный делец периода экономического чуда: деньги, разъезды, любовница. Но кому же он встал поперек пути? Вероятно, вам придется так же тщательно разобраться в прошлом

Крёберса, как вы изучили в последние дни биографию Новака. У меня не выходит из головы телефонный разговор Кардо с Крёберсом Я возвращаюсь в Милан, а вы поезжайте в Инсбрук.
* * *
Колокольчик над дверью трижды тонко и жалобно прозвенел, и Молькхаммер вошел в магазин. Он торопливо обежал глазами помещение: марки за стеклом на стенах, в витринах, альбомах, ящиках, и над всем — запах старого дерева, как в некоторых крестьянских избах. За прилавком стояла молодая женщина.
— Вы хозяйка магазина?
— Ну что вы! — улыбнулась женщина. — Хозяин — господин Крёберс.
— Могу я с ним поговорить?
— Он в отъезде. Мы ожидаем его возвращения послезавтра.
— Я бы хотел предложить вашему шефу старую Болгарию — почти полную коллекцию марок, погашенных и непогашенных. Комплектные блоки, много дубликатов — одним словом, действительно стоящая вещь.
— Совершенно верно! К сожалению, господин Крёберс на аукционе в Брюсселе и вернется только послезавтра.
— Хорошо, — сказал Молькхаммер. — Я пробуду в Инсбруке несколько дней. Возможно, я загляну к вам еще разок.
— Господина Крёберса, безусловно, заинтересует ваше предложение.
Снова трижды прозвенел колокольчик, и Молькхаммер вышел на улицу. Он сел в машину, немного проехал, остановился в узком переулке и стал думать, что ему еще надо сделать до возвращения Крёберса. Два дня он копался в прошлом этого человека. Крёберс был торговец с широкими связями. Его магазинчик производил довольно скромное впечатление, но в задних комнатах заключались, вероятно, более крупные сделки, чем в иных кичащихся своим богатством столичных дворцах, построенных из алюминия и стекла. Крёберс ведет, насколько можно судить, довольно умеренный образ жизни, часто ездит по делам за границу; со стороны таможенных и налоговых властей жалоб не поступало. Примерный семьянин. Его единственное хобби — исследование жизни и творчества Андреаса Гофера — не слишком разорительное удовольствие. Его «мерседес» не роскошь, а скорее необходимость, учитывая его деловые связи. Короче, Крёберс был старательным, деятельным, солидным, преуспевающим, то есть самым заурядным бюргером.
Быстро решившись, Молькхаммер развернул машину и повел ее через весь город на запад. В деревне Риц, в тридцати километрах от Инсбрука, Крёберс приобрел несколько лет назад крестьянское хозяйство. Туда-то и направился Молькхаммер.
Полчаса спустя машина остановилась перед трактиром на окраине деревни. Молькхаммер вошел в трактир и заказал клецки с копченым мясом. В этот полуденный час в помещении было тихо, трактирщик стоял за стойкой и вытирал стаканы. Завязался неторопливый разговор. Прекрасная местность, но дурацкая погода, спокойные безлюдные недели — лыжники уже поразъехались, а дачники еще не приехали, неторопливо поведал трактирщик. Молькхаммер незаметно перевел разговор в нужное ему русло: он ищет некоего господина Крёберса, боевого друга своего отца, павшего на войне. У его матери сохранились письма этого господина, и он хотел бы встретиться и поговорить с ним.
Трактирщик, разумеется, знал Крёберса.
— Его отец, — вспомнил он, — был здесь учителем, а с сыном я ходил вместе в школу. Но Крёберс уже давно переселился в Инсбрук. Иногда он наезжает сюда, чтобы посмотреть на хозяйство, которое купил здесь после войны. Вон его дом с большими коричневыми воротами.
Трактирщик подробно пересказал историю семьи Крёберсов, гордясь своими познаниями и, по-видимому, тем, что уроженец их деревни выбился в коммерсанты и землевладельцы.
— Малый не промах. Иногда твердолоб, но — голова!
Неожиданно он насторожился:
— Боевой друг, говорите? Но Крёберс никогда не был солдатом. Он служил у гаулейтера в Клагенфуртс.
— В конце войны его, кажется, все-таки забрали в армию, — выкрутился Молькхаммер. — Мой отец пал в начале сорок пятого. К тому времени Крёберс уже находился в действующих войсках. Они вместе стояли у озера Платтен.
Трактирщиком овладела подозрительность.

— Возможно, — буркнул он, — все возможно. Меня там не было.
Затем он пробормотал что-то насчет дел на кухне и вышел, оставив вместо себя молоденькую девушку. Молькхаммер понял, что больше ничего не узнает, и расплатился. Выехав из деревни, он остановился па окольной дороге, исчезавшей в лесу, и отправился пешком к усадьбе Крёберса.
Вскоре он увидел дом в тирольском стиле с круговой галереей и зелеными ставнями, современный амбар и длинный хлев. Молькхаммер достаточно хорошо разбирался в сельском хозяйстве, чтобы с первого взгляда определить, что усадьба специализируется на производстве молочных продуктов и что в дело вложен солидный капитал.
— Здравствуйте, — сказал Молькхаммер, войдя в прихожую и увидев на лестнице спускавшегося ему навстречу мужчину. — Меня зовут Келер. Вы хозяин дома?
Мужчина кивнул, провел Молькхаммера в горницу и указал рукой на резной стул.
— Я пришел, чтобы услышать о своем отце, — присев, заговорил Молькхаммер. — Недавно мать показала мне старые письма…
Прошло несколько минут, прежде чем было рассеяно мнимое заблуждение Молькхаммера. Мужчина пояснил, что его зовут не Крёберс, а Лейтнер и что он арендует усадьбу. Крёберс живет в Инсбруке и торгует марками. Увидев неподдельное изумление Молькхаммера, Лейтнер рассмеялся, достал бутылку энциана, и они выпили по рюмочке. Разговор зашел о ценах на молоко и о том, что хорошо организованное молочное хозяйство все еще остается самой выгодной отраслью по крайней мере в этих краях.
— Выходит, можно прокормиться на аренду? — спросил Молькхаммер.
— Можно, — согласился Лейтнер. Он допил водку и снова наполнил рюмки.
— Я не слишком много знаю о своем отце, — начал Молькхаммер. — Мне лишь известно, что он и Крёберс служили в Клагенфурте у гаулейтера. В конце войны мой отец погиб где-то под Зальцбургом, при подходе американцев.
— Я тоже знаю Крёберса по Клагенфурту, — сообщил Лейтнер. — Он служил адъютантом гаулейтера. Но Келера…
— Он служил в общественном вспомоществовании.
— Ах так, — облегченно вздохнул Лейтнер. — Тогда я, конечно, не мог его знать. Я был банфюрером до 1943 года. Потом воевал на Восточном фронте. Кстати, вы откуда родом’
— Из Кицбюэля.
— И всегда там жили?
— Когда там, когда в Вене. Теперь снова там.
Слушая Лейтнера, Молькхаммер испытывал такое же чувство удивления, какое овладевало им всякий раз, когда на страницах газет ему попадались портреты кавалеров рыцарского креста или дубового листа, снятых в сегодняшней обстановке, в современном цивильном платье Глядя на фотографии, он всегда поражался тому, с какой быстротой бравые вояки превращались в респектабельных бюргеров. За благодушным лицом преподавателя университета скрывался убийца из концентрационного лагеря, а какой-нибудь судья, похожий сегодня на доброго отца семейства и даже, возможно, действительно образцовый семьянин, некогда безжалостно выносил смертные приговоры. Молькхаммер безуспешно пытался представить себе сидящего перед ним человека в должности молодежного фюрера Хотя волосы Лейтнера изрядно поредели и над углами губ свисали нечесаные усы, глаза все еще глядели молодо, голос звучал властно, и фигура оставалась плотной и стройной. Тем не менее Молькхаммер не смог представить себе его в коричневой рубашке, коротких штанах, галстуке, с походным ножом на поясе.
— Да-а, — протянул он наконец, — все выглядит действительно далеко не так, как я себе представлял. Извините, что отнял у вас столько времени. Возможно, я встречу господина Крёберса в Инсбруке.
Они уже вышли во двор, когда Лейтнер изумленно уставился на Молькхаммера.
— Вы же не спросили, где живет Крёберс в Инсбруке!
— Верно, — спохватился Молькхаммер, — хорошо, что вы напомнили.
Лейтнер назвал адрес, и Молькхаммер записал. Неожиданно Лейтнер вспылил:
— Что же ты все время забивал мне баки, что ты из Кицбюэля?
— А откуда же еще? — возразил Молькхаммер, подозрительно взглянув на собеседника.

— Из Южного Тироля ты, вот откуда! Я сразу понял это по твоему диалекту. Ты что тут вынюхиваешь? Что ищешь у нас в горах? Шпионишь небось для италийцев?
Глаза Лейтнера сузились, и в голосе послышалась скрытая угроза:
— Нам соглядатаи не нужны, понял?
— Как вы могли подумать? — возмутился Молькхаммер. — Вы заблуждаетесь! Возьмите себя в руки! Я вовсе не из Южного Тироля, а из Кицбюэля и…
— Убирайся отсюда к чертовой матери! — заорал Лейтнер.
Но не успел Молькхаммер отступить на шаг, как Лейтиер схватил его за борта плаща, притянул к себе и рявкнул еще раз:
— Нам соглядатаи из долины не нужны, понял?
Молькхаммер не решался оттолкнуть Лейтнера.
— Отпустите меня, — спокойно произнес он. — Вы заблуждаетесь! Будьте же благоразумны!
Лейтнер разжал пальцы. Молькхаммер воспользовался моментом, чтобы более или менее достойно ретироваться.
— Вы совершенно напрасно погорячились, — пожал он плечами, повернулся и направился к машине. Прежде чем сесть, он еще раз обернулся: Лейтнер стоял у дороги и смотрел ему вслед
Молькхаммер вернулся в отель лишь после полуночи и проспал до утра. Весь следующий день он ходил вокруг дома Крёберса, выжидая удобного случая. К вечеру ему, наконец, надоело слоняться; он подошел к дверям и нажал на кнопку звонка. Узнав, что господин Крёберс в отъезде, он притворился чрезвычайно огорченным. Дело в том, сказал Молькхаммер, что он приехал из Куфштейна и сегодня вечером уезжает из Инсбрука. Известность господина Крёберса как знатока жизни и творчества Гофера долетела и до Куфштейна. У его друга хранится календарь 1836 года, в котором опубликованы воспоминания одного из участников восстания 1809 года. Возможно, этот календарь представляет интерес для господина Крёберса.
Фрау Крёберс отвечала, что, к сожалению, ее муж вернется только завтра, но ненадолго — через день он уезжает в Грац. Договориться о встрече и ближайшие дни не представляется возможным. Ее муж, несомненно, заинтересуется календарем, и она просит господина обязательно заглянуть к ним еще раз или, еще лучше, оставить свой адрес. Однако мнимый гость из Куфштейна счел, что в этом нет необходимости. Через месяц, сказал он, он снова заедет в Инсбрук и заодно привезет календарь.
Вечером в гостинице Молькхаммер сверил записи. Итак, Крёберс собирается в Грац, туда же, куда должен был ехать Новак, если, конечно, Кардо говорит правду. Не поможет ли эго пролить свет на сотрудничество Новака с Крёберсом, о последнем этапе которого Крёберс рассказывал без особого энтузиазма? Далее: почему Лейтнер так разгорячился? Конечно, люди не любят, когда их водят за нос, но разве Лейтнер не заявил без околичностей, придравшись к ничтожному поводу, что считает его итальянским шпионом? Нет, тут, право, есть над чем поломать голову.
* * *
Вечером Феллини встретился с Молькхаммером. Оба криминалиста устали, но нетерпеливое желание обменяться новостями и впечатлениями на много часов отодвинуло время сна.
Рассказав о своем пребывании в Инсбруке, Молькхаммер добавил:
— Возможно, мне, как ассистенту великого магистра, не к лицу выскакивать вперед со своими советами, но мне на ум пришли некоторые идеи.
— Выкладывайте!
— Крёберс помешался на Андреасе Гофере. К тому же он и Лейтнер старые нацисты. Догадавшись по моему произношению, что я южнотиролец, в то время как я выдавал себя за уроженца Северного Тироля, Лейтнер рассвирепел. Принимая во внимание их взгляды, не исключено, что оба — Лейтнер и Крёберс — являются членами союза Бергизельбунд. Потому-то Лейтнер так испугался, что принял меня за агента СИФАРа.
— Интересно!
Феллини не нужно было объяснять, что такое Бергизельбунд и чем он занимается. Союз был основан в 1954 году в Инсбруке с целью пропаганды немецкой культуры в Южном Тироле. Но шаг за шагом он все больше превращался в организацию, которая подстрекала уроженцев Южного Тироля, говорящих на немецком языке, к выступлениям против Италии. Следует, конечно, признать, что временами бывало нелегко согласовать интересы двухсот тысяч южнотирольцев с интересами Италии. К тому же правительство иногда пренебрегало

некоторыми справедливыми требованиями Народной партии Южного Тироля. Но в мире столько сложных проблем, что они нередко вытесняли из газет Южный Тироль и его заботы. Этим воспользовались экстремисты, чтобы актами террора, главным образом подрывами мачт высоковольтных линий электропередач, привлечь всеобщее внимание к Южному Тиролю.
— Не знаю, известно ли вам, — добавил Молькхаммер, — что в настоящее время СИФАР пытается просочиться в Бергизельбунд в Северном Тироле, чтобы раскрыть базы снабжения южнотирольских террористов. Для этой цели СИФАР использует, конечно, южнотирольцев, владеющих немецким языком. Лейтнер потому и рассвирепел, что почуял во мне такого человека.
Гипотеза Молькхаммера не вызвала у Феллини восторга.
— Слишком смело скомбинировано. Если бы удалось доказать связь между Крёберсом и Бергизельбундом, наш друг Андреоло и его СИФАР немедленно ухватились бы за эту ниточку. Но какая связь между Бергизельбундом и смертью Новака? Или Новак выступал против союза? Сплошные гипотезы! Меня куда больше интересует поездка Крёберса в Грац. У вас нет желания последовать за ним?
— Я встречался с его женой, арендатором, продавщицей — и каждый раз под другой фамилией. Увидев, что я слежу еще и за ним, он может насторожиться. Поэтому я выделил для наблюдения одного из своих людей.
* * *
Арендатор Франц Лейтнер давал жене последние наставления: луг перед лесом следует очистить от грязи, а если удержится облачная погода — разбросать навоз; кузнеца попросить отремонтировать прицеп; если позвонит скотопромышленник, сказать, чтобы приходил не раньше чем в конце месяца.
Лейтнер знал, что оставляет хозяйство в надежных руках, более надежных, чем его собственные. Он так и не примирился в душе со своей теперешней ролью и жил в надежде на новые времена. Если бы все зависело от него, он бы давно бросил хозяйство и подался в город! Но в том-то и дело, что не все в его власти; тут и жена, которую десять лошадей не оторвут от земли; а главное — он ничему не научился, кроме одного: ухаживать за скотом. Золотые времена Клагенфурта не вернуть, и думать об этом — только бередить душу. Он здесь зарабатывает деньги, а для острых ощущений имеется, слава богу, другое занятие.
В то время как поезд приближался к Инсбруку, Лейтнер думал, рассказывать ли Крёберсу о подозрительном визите Келера. Он сам, конечно, тоже свалял дурака, но он и не собирается выкладывать все подробности. А вдруг этот белобрысый юнец действительно интересовался своим отцом и уже побывал в Инсбруке? Тогда Крёберс наверняка разозлится, если Лейтнер умолчит о визите; в последнее время он стал вспыльчив, как порох.
Уже сидя в задней комнате магазина, где находилась конторка Крёберса, Лейтнер окончательно решился рассказать о Келере. Крёберс слушал внимательно, изредка перебивая его вопросами, стараясь говорить тихо, чтобы их не услышала продавщица. Это означало дополнительное напряжение для Крёберса и ухудшало его и без того скверное настроение.
— Ты вел себя как прачка, — сказал он, когда Лейтнер замолчал.
— Но всем известно, что ты служил в Каринтии у гаулейтера!
— Не всем. Но не в этом дело. Людям незачем знать, что мы столько лет знакомы. Понял?
— Думаешь, он из полиции? Или шпион СИФАРа?
— Только этого еще не хватало!
Крёберс нахмурил свои кустистые брови и прищурился, отчего уголки глаз усеялись морщинками.
— У меня тоже немало новостей, — сказал он, — и не только хороших, но, видит бог, и плохих. В ближайшие месяцы нам придется работать не покладая рук, если мы хотим чего-то добиться
У Лейтнера мелькнула мысль о том, что еще произойдет немало событий, прежде чем он сам попадет в беду. Он всегда старался, не в последнюю очередь под влиянием своей жены, не слишком лезть на рожон. В то же время членство в Бергизельбунде давало ему некоторые преимущества. Так, например, он платил чрезвычайно низкую арендную плату. Даже когда Крёберс попадется в капкан, с ним еще долго ничего не случится.
— С финансами дело обстоит более или менее благополучно, — продолжал Крёберс. — Я уже получил от управляющего Новака сорок тысяч. На первое время хватит. Мне также удалось заставить снова раскошелиться некоторых наших покровителей. А теперь следующее.

Немедленно поезжай к Губингеру и передай, чтобы он раз и навсегда прекратил торговать наркотиками. Это приказ. И если он еще раз продаст хоть одну косую сигарету — будет такой скандал, что у него потемнеет в глазах. Намекни, что при определенных обстоятельствах у него неожиданно могут потребовать обратно ипотеку. И еще: дай ему понять, что он не оберется неприятностей, если в ресторане случайно взорвется бомба, такая небольшая штучка, от которой во все стороны разлетаются стулья и вылетают окна.

— Убийство Новака и без того нагнало на него достаточно страха, — осклабился Лейтнер.

— Судя по всему, недостаточно. Он снова, насколько мне известно, продает косые сигареты. Передай также, что он должен найти трех или четырех надежных человек, у которых можно было бы спрятать динамит. Сейчас главная задача — создать во всех частях Южного Тироля склады взрывчатки, чтобы небольшая группа подрывников могла оперировать с максимальной безопасностью и быстротой.

На другое утро Лейтнер купил билет на поезд и выехал через Бреинер в Южный Тироль. Всю ночь Лейтнер, к своей досаде, как ни старался, не мог уснуть, но едва он занял место в купе, как глаза закрылись сами собой.

Лейтнер счел за лучшее не останавливаться у Губингера. В это время свободных коек в Тауферсе было более чем достаточно. Он снял комнату в ближайшем пансионате и, когда стемнело, отправился в «Бурый Медведь».

Едва увидев Губингера, Лейтнер почувствовал, что на сей раз он не желанный гость, и дело заключалось не в личной антипатии: он уже трижды бывал в горах с поручениями от Крёберса и всегда легко находил общий язык с хозяином гостиницы. В этот вечер Губингер казался нервозным и испуганным.

— Дернула вас нелегкая явиться прямо сюда, — раздраженно заговорил он. — Могли бы послать кого-нибудь вместо себя, чтобы договориться о месте встречи. После убийства Новака тут такая кутерьма!

— Здесь будет еще большая кутерьма, если вы не перестанете спекулировать своими идиотскими сигаретами. Приказ Крёберса.

Губингер сложил руки и протянул их вперед, словно умоляя о пощаде:

— Я согласен! Но для этого нужно время. Пока спровадишь всех клиентов, пройдут недели. Или вы хотите, чтобы кто-нибудь разозлился и донес на меня?

— Вам вообще не следовало браться за это. Не предупредив Крёберса, вы нарушили уговор. Когда последняя косая сигарета исчезнет из гостиницы?

— Через две недели, — немного подумав, ответил Губингер.

Лейтнер вскипел от ярости.

— Слушайте внимательно, — угрожающе тихо произнес он. — Время забав прошло раз и навсегда Мы готовим большой удар, и каждый должен работать как часы.

В то время как Лейтнер излагал приказ Крёберса, глаза Губингера наполнялись страхом. Это не ускользнуло от внимания Лейтнера, и он серьезно задумался над тем, стоит ли вообще давать толстяку какие-либо задания.

Он вспомнил, что Крёберс советовал ему припугнуть Губингера, но у того и без бомбы уже тряслись поджилки.

Феллини провел беспокойную ночь; его слишком мучила мысль, что слежка за Крёберсом не принесет результатов. Утром он никак не мог заставить себя приняться за дело, так как вся дальнейшая работа зависела от новостей из Граца. И когда, наконец, пришла телеграмма, он впился взглядом в строчки сообщения. То, что он прочитал, прогремело как гром среди ясного неба: Крёберс ездил в Грац и провел полдня и целую ночь в одном особняке, а утром снова выехал в Инсбрук. Особняк принадлежал доценту университета доктору Шмендлю, руководителю местной организации Бергизельбунд.

От радости Молькхаммер щелкнул себя линейкой по бедру.

— Вот оно — доказательство того, что Крёберс связан с Бергизельбундом. Возможно даже, что он один из тех, кто финансирует его деятельность. Теперь важно выяснить, не имел ли Новак какого-либо отношения к Бергизельбунду.

Феллини попросил телефонистку связать его с отделением СИФАРа в Больцано. К телефону подошел подполковник Сандрино. Феллини кратко описал ситуацию, добавив, что сегодня же напишет и перешлет им краткий отчет. Он предлагал создать смешанную комиссию из представителей СИФАРа и уголовной полиции, поскольку их интересы переплетаются.

Однако подполковник не торопился говорить «да». Материал, безусловно, представляет интерес, и он даст указание проверить его как можно быстрее и тщательнее. Лейтенант Андреоло действительно работает в Больцанском отделении, но в настоящее время он в командировке. Итак, до скорой встречи!

— Каждый раз одно и то же! — чертыхнулся Феллини. — СИФАР чувствует себя государством в государстве. Ни один из его сотрудников не даст пустяковой справки, прежде чем десять раз не перестрахует себя. А им подавай все без утайки! Видно, придется самому поехать в Больцано.

* * *

Только к полудню Молькхаммер добрался до Виппталя, откуда дорога поднималась на Бреннер. Почти все время солнце светило прямо в глаза. Постепенно его внимание приковал «фольксваген», который следовал за ним, сбавляя скорость на проглядываемых участках пути, прибавляя газу на поворотах, но не торопился его обгонять, хотя Молькхаммер несколько раз недвусмысленно уступал ему дорогу.

Молькхаммер знал несколько способов, с помощью которых он мог проверить, ведется ли за ним наблюдение: достаточно было, например, заглушить мотор и поднять капот, чтобы преследователь выдал себя с головой. Однако он решил повременить.

Он остановил машину у придорожного трактира в Штафлахе, за которым начинался первый извилистый участок пути. В то время как он поднимался по ступенькам, за его спиной затормозил «фольксваген», и из него вылезли двое молодых людей в окантованных кожей спортивных куртках. Не успел Молькхаммер сесть за стол, как молодые люди тоже вошли в помещение и заняли места на расстоянии двух столиков от него.

Молькхаммер заказал сосиски с капустой и принялся за еду, время от времени поглядывая на обоих молодых людей, которые тоже ели, изредка переговариваясь. Он не удивился, когда немного погодя — официантка уже убрала со стола посуду — один из них подошел к его столу и попросил разрешения присесть. Он был ниже среднего роста и довольно щуплый на вид. С первого взгляда он показался Молькхаммеру гимназистом, и лишь пристальнее вглядевшись в лицо, Молькхаммер понял, что ему, вероятно, около тридцати. Его птичья головка была покрыта короткими, торчащими во все стороны русыми волосами. Молькхаммер жестом указал на стул.

— Вас, наверное, удивляет, — присев, начал молодой человек, — что я столь бесцеремонно заговорил с вами. Но я заметил, что на вашей машине итальянский номер, а когда вы заказывали еду, я услышал, что вы говорите по-немецки без иностранного акцента. Поэтому я принял вас за уроженца Южного Тироля.

— Верно, — согласился Молькхаммер.

— Моя фамилия Кюн. Я работаю в Кёльне инженером-электриком и уже несколько раз проводил свой отпуск в Южном Тироле.

Молькхаммер слушал не перебивая, давая своему собеседнику возможность выговориться. Он привычно запечатлел в памяти внешность Кюна: очки в приплюснутой оправе, кожаный галстук, модная двуцветная черно-белая куртка. Кюн говорил о лыжных походах, о красоте старика Тироля, о фруктах, вине и национальных костюмах. Молькхаммер мог спокойно слушать: Кюн оказался веселым и бойким рассказчиком. Однако вскоре он перевел разговор на более серьезную тему.

Правда, иногда в этой благословенной местности взрываются бомбы. Проблема Южного Тироля — крепкий орешек. Вероятно, вам известно, что Гитлер в своей книге «Майн кампф» уделил ей немало места? Кое-где перегнул палку, конечно, но, по существу, поразительная прозорливость. Когда Гитлер писал свою книгу, прошло всего несколько лет с того времени, как Италия аннексировала Южный Тироль. Пожалуйста, не поймите меня превратно: я далеко не во всем согласен с Гитлером!

Кюн улыбнулся. Молькхаммер оставался серьезным. Наступила пауза, во время которой Кюн торопливо оглянулся на своего напарника. Тот расплачивался с официантом.

— Сложная проблема, — продолжал Кюн. — Вы — итальянский подданный, возможно, вы даже государственный служащий и присягали на верность конституции. Однако вы к тому же и тиролец. Ваш родной язык — немецкий. Но вот происходят события, которые неожиданно приводят к расколу. Вы когда-нибудь задумывались над этим?

— Не ежедневно, но достаточно часто.

Кюн помолчал, глядя вслед удаляющемуся напарнику, и продолжал:
— Есть вещи, которые па первый взгляд не имеют ничего общего с политикой. Иной думает, что он только выполняет свой профессиональный долг, но его национальный инстинкт должен ему напомнить, что он к тому же еще и немец, не так ли?
— Голос крови, — насмешливо прокомментировал Молькхаммер.
— Называйте это как вам угодно.
— Видите ли, — заговорил Молькхаммер, — дело обстоит гораздо сложнее, чем вы думаете. Южный Тироль отошел к Италии в 1910 году в качестве платы за то, что Италия порвала с Тройственным союзом и, став на сторону Антанты, объявила войну Австро-Венгрии. Мой отец так и не примирился с этим, но я вырос в более умеренном климате. Сегодня Южный Тироль тысячами нитей связан с Италией, и я считаю Италию своим государством, так же как немцы в Эльзасе считают своим государством Францию. Или вам доводилось когда-нибудь слышать, что немцы в Швейцарии выражали желание присоединиться к Германии?
На одно мгновение Кюн заколебался, но взял себя в руки и наклонился вперед:
— Учитывая вашу профессию, вы волей-неволей оказались в довольно щекотливом положении. Хотя вы и не назвали своего имени, я тем не менее знаю, кто вы, и думаю, что придет время, когда мы кончим играть в прятки и перейдем к делу.
— Я сразу предположил нечто подобное, как только увидел в зеркале ваш «фольксваген».
— Сразу видно специалиста, — улыбнулся Кюн. — Нашему брату дилетанту надо держать с вами ухо востро. Я бы хотел побеседовать о деле, которым вы в настоящее время занимаетесь.
— Кто вас послал?
— На эту тему предлагаю поговорить несколько позже. Начнем с главного: некоторые лица хотели бы узнать, что известно полиции об убийстве Новака. До сих пор я безуспешно апеллировал к вашему национальному чувству. Но неужели вы лишены даже профессионального честолюбия? Вначале вы ведете следствие один, затем вам подсовывают знаменитого Феллини. Неужели вас это не оскорбляет?
Молькхаммер внезапно поднялся, подошел к окну и, немного постояв, вернулся на место.
— Если вы не успели записать номер нашей машины, — ухмыльнулся Кюн, — то вы опоздали. Мой друг уже уехал. Но я бы предпочел, чтобы вы отбросили свою недоверчивость. Вы лично не имеете здесь никаких полномочий, а чтобы найти местных полицейских, потребуется немало времени. К тому же мы разговариваем без свидетелей. Итак, не согласились бы вы при выяснении обстоятельств убийства Новака работать не только на полицию, но и немного на меня? Дружище, ведь вы же все-таки немец!
— Жаль, что вы меня так и не поняли, — вздохнул Молькхаммер. — Я так старался объяснить вам свою точку зрения.
— Кое-что из другой оперы. Феллини влез в дело, которое должны были вести вы один. Неужели вы не хотите подставить ножку великому Феллини?
Молькхаммер сделал вид, что задумался.
— А что я буду от этого иметь? — помолчав, спросил он.
— Думаю, мы найдем общий язык. Во всяком случае, за деньгами дело не станет.
— Все зависит от цены.
— Хорошо. Я посоветуюсь. Только не пытайтесь шпионить за мной, это бессмысленно и небезопасно для вашей жизни. Уж если мы договорились о деле, оставим всякие глупости в стороне.
— Хорошо, — согласился Молькхаммер. — Корда вы дадите о себе знать?
— Возможно, я появлюсь сам или кто-нибудь передаст от меня привет. Возможно, вы получите письменное извещение.
— Зеленую записку?
— Почему бы и нет?
Поднимаясь, Кюн засмеялся. Молькхаммер посидел еще четверть часа, расплатился и сел в машину. Всю дорогу его мучила мысль: не сделал ли он ошибки? Нет, пожалуй, все-таки лучше было оставить дверь открытой, чем уйти с пустыми руками. Интересно, что скажет Феллини?
* * *
В Больцано у Феллини была условлена встреча с подполковником Сандрино. Феллини явился минута в минуту и попросил даму в приемной доложить о себе. Подполковник сразу пригласил его в кабинет.

Феллини давно отучился судить о человеке по его внешности, но подполковника военной контрразведки он все-таки представлял себе другим. Сандрино оказался толстым, лысым коротышкой, хотя ему, возможно, лишь недавно пошел пятый десяток. Но едва он заговорил, как Феллини почувствовал, что перед ним человек с большой силой воли.
— Я попросил лейтенанта Андреоло пересказать мне историю о вашем столкновении с ним, — чуть улыбаясь, начал Сандрино. — Андреоло исключительно талантливый молодой человек, способный лингвист, ловкий, энергичный, находчивый. Боюсь, что вскоре разведка заберет его от нас.
— Он оставил у меня самое хорошее впечатление, — сказал Феллини. — Хотя, конечно, — и тут Феллини постарался придать своему голосу юмористический оттенок, — он и был слишком сдержан в своих показаниях и в первые дни здорово спутал нам карты
— Что делать? — вздохнул Сандрино. — Военная контрразведка должна работать конспиративно. К тому же в настоящее время у нас и без того забот полон рот. Южнотирольские террористы готовят крупную диверсию.
Он подошел к настенной карте, па которой была изображена пограничная территория между Австрией и Италией в районе Альто Адидже
— Правда, большие участки границы в этом районе наглухо забаррикадированы скалами и льдом. Однако прыгуны, как называю (в народе террористов, тем не менее находят лазейки. Для здоровых парней из альпийских долин нет ничего увлекательнее, чем участвовать в этой маленькой войне Они отличные лыжники, скалолазы и стрелки. Стрельба у них — национальный вид спорта, в каждой деревне существует стрелковый кружок. Вот эти-то парни и переправляют в настоящее время через перевалы взрывчатку. Задержать их чрезвычайно трудно. Собственно, это даже не наша задача, а карабинеров. Мы лишь пытаемся время от времени выяснить, что делается по ту сторону границы.
— Вы знаете, какую роль в Бергизельбунде играет небезызвестный доктор Шмейдль? — спросил Феллини.
— В его особняке были организованы курсы по обращению со взрывчаткой, а также ее хранению и транспортировке.
— К Шмейдлю в Грац ездил Крёберс.
Сандрино кивнул головой. Однако он считал Крёберса не более чем кредитором Бергизельбунда. Но именно эта область являлась, по его мнению, наиболее труднодоступной для расследования.
Как Сандрино, так и Феллини придерживались правила никогда не тратить даже минуты на переливание из пустого в порожнее, как только тема разговора подходила к концу. Феллини еще намекнул, что было бы неплохо создать смешанную комиссию, однако не встретил особою энтузиазма, получив уклончивый ответ. На этом они расстались.
Полчаса спустя Феллини и Молькхаммер встретились в кафетерии.
— СИФАР по-прежнему не поднимает жалюзи и глядит сквозь щепку, — сказал Феллини. — Итак, все остается по-старому: мы возвращаемся в Вену.
* * *
По дороге в Вену Молькхаммер сменил Феллини у руля. Они ехали всю ночь, лишь иногда делая короткие остановки. Добравшись перед рассветом до города, криминалисты сняли номер в первой попавшейся гостинице и проспали до восьми утра. Затем они спустились в ресторан, позавтракали и разошлись, договорившись встретиться в ресторане к обеду. Феллини решил снова навестить Бекмессера.
— К сожалению, — поздоровавшись, начал Феллини, — я все еще не могу назвать имя убийцы вашего принципала. Может быть, у вас есть для меня новости?
Мет, покачал головой Бекмессер, он не заметил ничего особенного, что бы могло представить интерес для полиции. Шаг за шагом он выполняет ранее принятые обязательства, удовлетворяет, как может, кредиторов и пытается противостоять темпу ликвидации, чтобы не нанести ущерба фирме.
— Ваш шеф никогда не имел дело со взрывчаткой? — неожиданно спросил Феллини.
Бекмессер посмотрел на него широко открытыми от удивления глазами.

— Я как раз собирался сообщить вам об одном странном происшествии. Позавчера ко мне зашел представитель венской фирмы «Динамит Нобель АО», расположенной в Медлинге

[11]
, и спросил господина Новака. Я сообщил ему о кончине шефа, и тогда он поинтересовался, по-прежнему ли нам необходим допарит — это взрывчатое вещество. К тому же я чрезвычайно изумился, услышав, что господин Новак торговал подобным товаром. Разумеется, я ответил отказом.

Феллини был так поражен услышанным, что забыл про свои вопросы Он сидел, не шевелясь, пронзительно буравя взглядом Бекмессера, словно ожидая от него все новых и новых разоблачении. То, что он узнал, являлось, возможно, ключом к разгадке дела Новака.
— Как фамилия представителя фирмы?
Бекмессер ответил, что забыл, но что может дать более или менее точное описание его внешности: высокий, толстый мужчина с темными волосами и быстрой речью.
— Если бы я знал, что эта новость имеет для вас такое значение, я бы немедленно позвонил, — заключил он.
После обеда Феллини и Молькхаммер выехали в Медлинг. Целое утро Молькхаммер собирал информацию о докторе Шмейдле, но все это было ничто по сравнению с сообщением Бекмессера. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы выяснить в отделе сбыта фамилию агента, посетившего фирму «Новак». Его звали Скомик. Они узнали его домашний адрес и вернулись в гостиницу.
По дороге Феллини позвони а Скомику из автомата. Сегодня ночью, сказал Феллини, он уезжает из Вены. Он просит господина Скомика уделить ему несколько минут для делового разговора. С изысканной любезностью Скомик пригласил его на восемь вечера.
До восьми оставалось еще несколько часов. Феллини и Молькхаммер сели на пароход и спустились по Дунаю к Мансвёрту. Там они зашли в ресторанчик и заняли место на веранде, чтобы видеть луга на берегу Дуная и быстрые коричневатые воды реки.
— Однажды я уже был уверен, — сказал Молькхаммер, — что нахожусь у цели, — и сел в лужу. Поэтому теперь я более осторожен в своих прогнозах. Тем не менее я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы сделали большой шаг вперед.
— Подождем до вечера.
Молькхаммер рассказал обо всем, что ему удалось узнать про Шмендля. Все угри он просидел в университетской библиотеке, читая письменные труды доцента. Свою диссертацию доктор Шмейдль посвятил Гормейеру, разработавшему план восстания, в соответствии с которым Андреас Гофер и его люди в апреле 1809 года нанесли удар по французам в Баварии. Далее одна брошюра Шмейдля посвящена книготорговцу из Граца Дирнбоку, автору штирийского гимна.
— Играет на националистических струнках, — констатировал Феллини.
— Он идет еще дальше. В настоящее время он предпочитает писать об актуальных проблемах Тироля. В одной из брошюр Шмейдль осуждает так называемую линию Наполеона, разделившую некогда Тироль. Шмейдль доказывает, что южная граница Тироля проходит у Залурнского ущелья, и нигде больше Он поносит домостроительство вокруг Больцано, предназначенное главным образом для итальянских переселенцев с юга, и пышет злобой оттого, что вокруг Больцано растет промышленность. Я записал одну характерную фразу: «Южнотирольская девушка, помни о своем народе и отвергай всякие отношения с итальянскими совратителями. Ассимиляция — путь к вырождению народа!»
«Старая песня, — подумал Феллини. — Они хотели бы превратить Южный Тироль в резервацию, наподобие тех, которые Америка создала для индейцев. Они хотели бы оставить все, как при дедах и прадедах: одежды, внешний вид деревень, диалект и примитивный труд».

Феллини никогда не возражал против разумной заботы о сохранении национальной самобытности, но ему казалось противоестественным желание оградить ее от всех внешних влияний. В то время как во всем мире происходит сближение народов, именно в Южном Тироле экстремисты пытаются противопоставить шуплаттлер
[12]
твисту и бумазейную рубашку нейлоновой блузке.

Феллини и Молькхаммер просидели в ресторанчике до вечера и после ужина вернулись в Вену. Ровно в восемь Феллини был у Скомика.
— Мне очень жаль, — начал он, — что я ввел вас в заблуждение, но телефон все еще остается общественным средством коммуникации, в том числе и у вас в Вене.
Побудительные мотивы этого краткого вступления имели, однако, иной смысл: он решил не давать Скомику время на размышления и заговорил сразу о деле. Речь идет о деловых связях Скомика с Новаком, который был убит на итальянской территории; не исключено, что продажа донарита сыграла при этом определенную роль.
— Я бы никогда не обратился к нему первым, — сказал Скомик, — поскольку сфера деятельности его фирмы не представляла для нас интереса. Обычно я объезжаю карьеры, всевозможные рудники, лесоразработки, фирмы, занимающиеся строительством подземных сооружении, и т. д. Он первым пришел ко мне, чтобы купить донарит для экспорта во Францию. Как полагается, я обратил его внимание на положения австрийского закона об экспорте взрывчатых веществ, но он ответил, что уже ознакомился с ними. Спустя несколько дней он принес разрешение на вывоз. Отныне ничто не препятствовало заключению сделки, и я поставил ему триста килограммов взрывчатки.
Феллини спросил, какой французской фирме продал Новак товар, но Скомик только развел руками.
Задав еще несколько уточняющих вопросов, Феллини поблагодарил Скомика и торопливо распрощался.
* * *
Поздно встав, Лиль Кардо быстро умылась и, надев легкое платье для прогулки на яхте, спустилась в холл пансионата. В холле сидел Феллини.
— Хеллоу, шериф, — сказала она, — вам удался сюрприз!
Феллини галантно сделал ей несколько комплиментов, и Лиль зарделась от удовольствия. Однако он тут же погасил ее радость, заговорив о деле Новака.
Но оказалось, что Лиль даже не слышала о донарите. Новак часто выезжал по делам во Францию, неоднократно брал ее с собой. Они останавливались в Лионе, Клермонте, конечно, в Париже, несколько раз в Гренобле. Там Лиль познакомилась с несколькими коммерсантами, но по вечерам, когда они вместе сидели за столом и пили, все дела уже бывали обычно обговорены.
У Лиль оказалась отличная память: она припомнила по именам почти всех клиентов Новака, названия ресторанов, в которых они сидели, и иногда даже называла марки вин, которые они пили. Она рассказала о посещении лесопильного завода; его владельцем оказался восхитительный старик, настоящий кавалер с такими холеными усами, каких она никогда раньше не видела. Он даже трогательно, по-стариковски ухаживал за ней. Но Лиль понятия не имела, что продавал ему Новак.
С некоторым трудом Лиль припомнила фамилию старика, но не могла вспомнить названия деревни, в которой он жил; она находилась недалеко от Флорака, в департаменте Лозер.
Феллини, не теряя ни минуты, выехал в Милан. Там ему сообщили, что в ответ на его запрос поступило сообщение от одной из внешнеторговых организаций Вены: Новак испрашивал разрешения на вывоз трехсот килограммов взрывчатого вещества, получил таковое и вывез донарит во Францию. Получатель: Пьер Арно, Веброн, департамент Лозер.
* * *
Это был современный особняк с двумя гаражами, бассейном в саду и небольшой оранжереей; он стоял у подножия холма, в окружении других особняков. С холма открывался живописный вид на Грац, крепость и собор, за которым вырисовывалась крыша одного из факультетов университета: там работал доктор Шмейдль, владелец особняка.
Молькхаммер не решился прогуляться мимо дома более двух раз; на безлюдной улице это могло вызвать подозрение. Поэтому он свернул на тропинку, прошел по ней в лес и приблизился к особняку с обратной стороны. От опушки леса начинался большой луг. в ста метрах от него возвышался забор, окружавший участок Шмейдля. Прямо через луг к воротам сада вела узкая, не шире двух ступней, тропинка. Кто протоптал тропинку к саду и почему владелец луга разрешил топтать его землю? Молькхаммер прошел по тропинке в лес, поднялся на вершину холма, спустился по обратному склону в низину и вышел к трамвайной остановке.

Итак, по тропке можно легко и незаметно пробраться в особняк доктора Шмейдля — удобный путь для прыгунов, обучающихся здесь обращению со взрывчаткой.
Молькхаммер вернулся и, сойдя с тропинки, присел у опушки леса. Внизу, в городе, уже зажигались огни, какая-то машина проехала и остановилась у соседнего особняка.
Когда совсем стемнело, в кабинете доктора Шмейдля зажглась настольная лампа. В то же мгновение залаяла собака, послышался шум опускаемого жалюзи, и сад и дом погрузились в темноту.
Молькхаммер поднялся. Впереди оставался свободный вечер, но он не знал, как его провести. Погруженный в размышления, Молькхаммер медленно поднимался по узкой тропинке в гору. В лесу было темно, и он так глубоко задумался, что едва не столкнулся с мужчиной, шедшим ему навстречу. Молькхаммер издал негромкий, полуиспуганный, полуизумленный возглас, слегка подался вперед, почувствовал удар в плечо и нанес встречный удар. В первое мгновение он действовал инстинктивно, и, только когда мужчина сделал нырок в сторону, он решил, что это нападение и наибольшая опасность должна угрожать сзади; в любую минуту второй противник мог прыгнуть ему на спину. Единственный выход — быстрее убрать с дороги стоящего перед ним мужчину.
Молькхаммер что было силы выбросил вперед ногу; удар пришелся по голени, мужчина вскрикнул от боли и вскинул голову. Не теряя времени, Молькхаммер подался вперед и нанес несколько боковых ударов справа и слева в голову и по корпусу; затем он ударил его коленом в нижнюю часть живота. Удар был нечестный, но эффективный: мужчина повернулся и бросился бежать. Молькхаммер устремился за ним, готовясь применить контрприем, если противник вздумает остановиться и подсадить его. Но мужчина несся во всю прыть в низину, к трамвайной остановке. И хотя мозг Молькхаммера работал в полную силу, в нем все-таки осталось место для удивления тем обстоятельством, что напавший на него преступник не ищет спасения в темноте, а бежит к свету.
Мужчина бежал быстрее Молькхаммера. Вскоре он уже стоял, согнувшись пополам, у освещенной витрины магазина. Молькхаммер прислонился к дереву, ближайшему к улице, и прислушался: в лесу было тихо. «А что, если, — вдруг подумалось ему, — никакого нападения не было, если мы, случайно столкнувшись в лесу, просто испугались друг друга?»
Молькхаммер отделился от дерева и медленно пошел по улице. Он исподлобья взглянул на незнакомца и застыл от изумления.
— Андреоло, вы?
Андреоло был поражен не меньше Молькхаммера. Он смущенно протянул ему руку.
— Дурацкая история, — сказал он. — Но разве не вы ударили первым?
— Бьюсь об заклад, что вы.
— Подлый прием — бить коленом снизу. Хорошо, что удар оказался неточным. Я уже решил, что на меня набросились проклятые прыгуны.
— Я тоже, — сказал Молькхаммер. — Потому-то я и хотел сбить вас как можно скорее с ног.
Они стыдились друг друга.
— Отступление являлось для меня единственным выходом, — сказал Андреоло, краснея за свое бегство.
— Я тоже хотел бежать на свет.
Они почистили, как могли, свои костюмы. У Молькхаммера кровоточила большая царапина поперек руки, у Андреоло на правой скуле лопнула кожа. Молькхаммер осторожно вытер ему платком кровь. Они говорили о драке, обсуждали удары, но ни один не признался, что испугался встречи в лесу.
Им пришло в голову, что нехорошо стоять здесь, на свету, где каждую минуту может появиться прыгун. Они отошли в тень и подождали, пока подошел трамвай. Ни один из пассажиров, сошедших на остановке, не свернул на тропку, ведущую к особняку Шмейдля. Когда трамвай тронулся, Молькхаммер и Андреоло вскочили в разные вагоны.
Они вышли в центре и встретились, как было условлено, у входа в один из ресторанов.
— В самый раз, — сказал Андреоло, — выпить по рюмке за испуг.
После второй рюмки Андреоло сказал, что ему пора на свидание. Затем он сообразил, что Молькхаммер мог бы составить ему компанию. Он побежал к телефону и вернулся с сияющим лицом: его знакомая сердечно приглашала Молькхаммера в гости.

— Там будет еще несколько человек, — сказал он, — в том числе кузина хозяйки дома, довольно симпатичная особа.
— Под каким именем вас там знают?
— Хорошо, что вы вспомнили об этом. Меня зовут Маркуччи, я являюсь представителем ФИАТа и занимаюсь продажей автомашин. Вы не возражаете, если я представлю вас как своего коллегу из Больцамо?
Молькхаммер кивнул.
— Зовите меня, пожалуйста, Гестнером, мое удостоверение личности выписано на эту фамилию. А теперь поищем цветы для наших дам.
Компания, в которую они пришли, понравилась Молькхаммеру с первого взгляда. Хозяйка дом;: била женщиной лет тридцати, незамужней и, вне всякого сомнения, по уши влюблена в Андреоло. В комнате, кроме нее, находились молодая чета и уже упоминавшаяся кузина — высокая двадцатилетняя девушка с черной челкой и большим, сильно накрашенным ртом. Хозяйка устроила так, что Молькхаммер и девушка, которую звали Кат, оказались рядом за столом.
Если бы в этот вечер Молькхаммер продолжал наблюдение за особняком, а Андреоло выполнил поручение Сандрино, от их внимания не ускользнуло бы обстоятельство, имеющее важное значение как для них, так и для их шефов. Но на другое утро Андреоло сообщил по месту работы, что в течение ночи вокруг дома доктора Шмейдля не наблюдалось ничего подозрительного и никто не входил в особняк и не выходил из него. Еще раньше Андреоло попросил Молькхаммера, если того спросят, подтвердить его сообщение. Они также договорились не рассказывать о потасовке.
Когда рано утром молодые люди вышли на улицу, Кат прижалась к Молькхаммеру и положила голову ему на плечо. Он проводил ее до дома. Она дала ему свой рабочий телефон и сказала, что работает служащей в отделе снабжения фабрики колбасных изделии «Мельхиор» Он может звонить ей ежедневно, кроме воскресенья и субботы, с семи утра до четырех вечера. Затем она пожелала ему приятных сновидений и вошла в дом.
Несколькими часами раньше, вскоре после того как Молькхаммер и Андреоло сели в трамвай и уехали веселиться в город, перед особняком Шмейдля остановились две автомашины — «мерседес» и «фольксваген», — и двое мужчин прошли в дом. Один из них был Крёберс, другой — тот самый молодой человек, который неделю назад склонял Молькхаммера к предательству.
В эту ночь Шмейдль, Крёберс и Кюн обсуждали вопросы, связанные с нанесением «большого удара» на территории Южного Тироля.
* * *
Подполковник Сандрино любил короткие совещания. Это совещание могло затянуться, если бы представители уголовной полиции по каждому из главных пунктов соглашения отстаивали свою точку зрения; но Феллини пошел на уступки СИФАРу во всех основных вопросах.
— Господа, — удовлетворенно сказал Сандрино, — мы рассматриваем следствие по делу Новака как составную часть нашей борьбы против террористов. В состав комиссии входят: со стороны СИФАРа я и лейтенант Андреоло, со стороны уголовной полиции комиссар Феллини и криминаль-ассистент Молькхаммер. Если убийца будет найден, СИФАР скромно отойдет в сторонку, предоставив уголовной полиции одной купаться в лучах славы. Мы предпочитаем оставаться в тени.
— Сейчас я считаю наиболее важным разобраться до конца в истории с продажей взрывчатки, — сказал Феллини. — Узнав, что Новак получил разрешение на вывоз во Францию трехсот килограммов донарита, я решил было, что снова оказался в тупике. Но Новак ничего не сообщил о разрешении своему управляющему, и это насторожило меня. Я снова отправился в Вену и попросил Бекмессера еще раз порыться в книгах. И действительно, в одной из них упоминалась сделка с неким Пьером Арно из Веброна под туманным названием «На нужды лесного хозяйства». Вполне возможно, что под этой фразой подразумевается донарит. Необходимо поехать во Францию и разузнать обо всем на месте.
Тут же решили, что поедет Андреоло, который лучше остальных знал французский язык. Когда стали распределять остальные задания, Молькхаммер предложил оставить его в Граце, где, по его мнению, он сможет принести наибольшую пользу. Поскольку по-прежнему существует

подозрение, что в зеленой записке подразумевался особняк доктора Шмейдля, остается много неясных вопросов, связанных с Грацем.

Андреоло был очень доволен поручением. Он охотно ездил, охотно использовал свое знание иностранных языков, а эта поездка во французскую провинцию будет скорее напоминать приятную прогулку, чем серьезную командировку. Он доехал поездом до Милана и вылетел оттуда самолетом в Марсель. Но добраться из Марселя в Веброн оказалось нелегким делом. Он дважды пересаживался с поезда на поезд — в Авиньоне и Алэ, — затем доехал по одноколейке до Флорака и лишь оттуда, выбрав лучшее из трех так<, и, имевшихся в этом горном городишке, выехал в Веброн.

К полудню Андреоло добрался, наконец, до Веброна — полудеревни, полуремесленного поселка, живописно окруженного зеленеющими склонами. Он пообедал в единственном небольшом ресторанчике и, не теряя времени, отправился на розыски Пьера Арно.

Когда Андреоло предъявил свое удостоверение, у старика широко раскрылись глаза и невольно вздрогнул рот, скрытый наполовину холеными белыми усами Выдержав паузу, Андреоло сообщил ему об обстоятельствах смерти Новака.

— Поразительно! Поразительно! — повторял старик, словно в забытьи.

Лишь когда Андреоло попросил Арно рассказать о его деловых связях с Новаком, старик снова пришел в себя. Он сообщил, что в свое время купил у Новака несколько машин для перевозки бревен, так как давно убедился, что эти машины, изготавливаемые одной штирийской фирмой, являются лучшими в Европе. Арно не забыл ни одного визита Новака и перечислил по памяти почти все его поставки. Затем он достал амбарные книги, счета и накладные Андреоло постучал пальцем по одной накладной и спросил:

— Донарит тоже?

По словам Арно, Новак всего один раз предложил ему донарит, и он ударил по рукам, так как Новак запросил очень низкую цену. Обычно же он покупает взрывчатку в Монпелье. Однако спустя всего несколько часов после получения товара примчался Новак Он извинился и сообщил: дополнительная экспертиза установила, что эта партия донарита очень низкого качества и что поэтому он просит расторгнуть сделку. Часть донарита Новак в тот же день увез в багажнике машины, а спустя неделю забрал остаток При этих словах Андреоло вскочил и, к изумлению Арно, стал прощаться. Несколько минут спустя Андреоло уже сидел в машине и мчался к железнодорожной станции: он торопился доставить новость в Больцано

* * *

— А сколько машин ты продал сегодня? — спросила Кат.

Молькхаммеру вдруг стало противно постоянно изворачиваться, и он заколебался, не открыть ли Кат всю правду или хотя бы часть правды. Все равно выдуманная им легенда не выдержит испытания временем Но разве он собирается серьезно встречаться с Кат?

Они только что вышли из кино, где смотрели «Замок Грипсхольм» — сказочную фантазию под вечно голубым небом, и теперь шли по улице под моросящим дождем навстречу порывистому ветру, который брызгал им прямо в лицо каплями дождя, стекавшими с зонта.

— Принцесса! — укоризненно сказал Молькхаммер. — Кто спрашивает о таких прозаических вещах? К счастью, мы не женаты, и тебе не о чем волноваться. Какая разница, сколько машин я продал: две или шесть тысяч? Зайдем выпьем? Или, может, потанцуем? — предложил он, остановившись у небольшого ресторанчика.

Они не заметили, что у выхода из кинотеатра их ждал мужчина, который теперь шел за ними на некотором расстоянии. Проследовав в ресторанчик, он позвонил оттуда по телефону, и десять минут спустя на другой стороне улицы остановился «фольксваген»; в нем сидел Герберт Вихман, он же Кюн. Мужчина, звонивший ему по телефону, выскочил на минуту на улицу и сказал:

— Судя по всему, они уйдут не скоро. Там стоит музыкальный ящик, и они все время танцуют.

— Они похожи на влюбленных?

— Трудно сказать

Два часа просидел Вихман в машине, дожидаясь, пока Молькхаммеру и Кат надоест танцевать Едва те вышли на улицу, как за ними снова пристроился мужчина, дожидавшийся их у кинотеатра. Вихман ехал на таком расстоянии, чтобы видеть только спину своего напарника. Улица была почти безлюдной, и Кюн не боялся спутать его с другим человеком. У дома, где

жила Кат, молодые люди поцеловались, и Кат открыла дверь. Тем временем Вихман остановился за углом и вылез из машины.
— Позвольте вас спросить? — остановил он возвращающегося Молькхаммера.
— Пожалуйста, — ответил Молькхаммер — Но едва ли я смогу вам помочь. Я — приезжий.
— Я не собираюсь спрашивать у вас дорогу Речь идет о господине Новаке.
Молькхаммер вздрогнул, но тут же рассмеялся
— Ах, это вы? Я уже несколько дней жду, когда вы перебежите мне дорогу. Но в такое время? За этим углом? Действительно, неожиданная встреча.
— Вы продумали мое предложение?
— Разумеется. Вам повезло: я сел на мель и нуждаюсь в деньгах. Скажу сразу: мне нужно восемьсот тысяч лир. И не будем торговаться Если достанете деньги, я смогу кое-что сделать для вас.
Вихман, казалось, задумался. Наконец он сказал, что сумма, запрошенная Молькхаммером, хотя и немалая, но не чрезмерная. Однако он должен прежде посоветоваться. Он предложил продолжить разговор в машине, но Молькхаммер покачал головой
— Думаете, я спрятал там магнитофон, — засмеялся Вихман, — чтобы шантажировать вас потом? У меня предложение: вы сообщаете нам все, что известно полиции о деле Новака, и немедленно получаете деньги Согласны? Только не думайте, будто мы заинтересованы в том, чтобы преступление осталось нераскрытым. Наоборот, мы сами стремимся выяснить, кто убил Новака. Но нам хотелось бы узнать об этом немного раньше полиции.
— После всего, что вы рассказывали, как-то не верится.
— Возможно, вам так кажется, но я говорю чистую правду. Итак, вы согласны?
Молькхаммер потер подбородок, делая вид, что колеблется. Нужно найти основу для соглашения, нерешительно отвечал он. Если он первым выложит карты на стол, другая сторона может «забыть» заплатить за информацию. Если он получит деньги вперед — опять нехорошо. Третья возможность — оплачивать каждую информацию в отдельности. Но где гарантия, что он наберет требуемую сумму?
Необходимо некоторое взаимное доверие, возражал Вихман. Например, он мог бы уже сейчас дать задаток, если бы Молькхаммер доказал свою добрую волю. Вихман стоял и ждал, и, наконец, Молькхаммер решился:
— Хорошо, я начну первым Мы еще не напали на след убийцы, но знаем, чем убили Новака. Его оглушили колотушкой для мяса и закололи двузубой вилкой Оба предмета были взяты из кухни гостиницы Твердо установлено, что Кардо не причастна к убийству. У нас есть некоторые основания подозревать в убийстве доктора Перотти.
— Все, что вы рассказали, очень мило, — усмехнулся Вихман. — Только не считайте нас круглыми дураками! Доктор Перотти известен нам давно. Или вы действительно не знаете, что он не врач, а агент СИФАРа?
— Не может быть! — изумился Молькхаммер, досадуя на самого себя, отчего его изумление прозвучало несколько фальшиво. — Вы заблуждаетесь!
— Мы не заблуждаемся. Что до остального, то я вполне понимаю мотивы, по которым вы пытаетесь морочить нам голову в самом начале нашего знакомства. Вначале бывает довольно трудно перебороть самого себя Впрочем, то, что вы сказали об орудиях убийства, похоже на истину. Еще один вопрос. Что вы делаете в Граце?
— У меня контрвопрос. Как вы отнесетесь к предложению оплачивать каждое мое сообщение в отдельности?
— Не пугайтесь, когда я полезу в карман, — сказал Вихман.
Он достал бумажник и отсчитал несколько купюр.
— Не возражаете против шиллингов? Это задаток. Предлагаю встретиться завтра в восемь вечера в том же погребке, где вы танцевали сегодня. Если вы передадите мне подробный письменный отчет о результатах расследования — получите четыреста тысяч лир. Идет?
Молькхаммер протянул руку и взял деньги.
— Нет ничего легче, чем шантажировать меня, имея на руках такой отчет, — сказал он. — Я не напишу ни строчки, но я согласен предоставить вам устную информацию.
— Подобная точка зрения — плохая основа для переговоров, — обиженно произнес Вихман, словно оскорбленный недоверием Молькхаммера. — У нас нет ни малейшего желания шантажировать вас. Наоборот, мы надеемся и в будущем поддерживать с вами деловые

отношения. Я и мои друзья чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы иметь в итальянской уголовной полиции своего человека. Когда первые трудности будут преодолены, ничто не помешает нам договориться о более регулярной оплате ваших услуг.
— Хотя я и работаю в уголовной полиции, а не в разведке или контрразведке, — возразил Молькхаммер, — я достаточно наслышан о порядках в этих организациях и могу вас уверить, что сделки, подобные нашей, не заключаются темной ночью в глухом переулке. Я даже не знаю, на какую организацию я должен работать.
— Зачем вам это знать? — пожал плечами Вихман. — Вы ничем не рискуете. В отличие от разведки и контрразведки я не требую от вас письменного обязательства сотрудничать с нами. Вы предоставляете мне информацию, а я оплачиваю ваши услуги.
— Хорошо, — согласился Молькхаммер — Но тогда вам придется удовлетвориться устным отчетом.
— Будь по-вашему? Итак, завтра в восемь, как условлено.
Не подав друг другу руки, они стали медленно отступать назад и, лишь сделав по нескольку шагов, повернулись друг к другу спиной и торопливо пошли прочь, ловя ухом малейший шорох.
* * *
Незадолго до окончания работы Марио Феллини вошел в здание миланской уголовной полиции. В дверях отдела его встретил молодой сотрудник.
— Боже мой, где вы пропадали? — набросился он на Феллини. — У меня для вас важная новость. Звонил Молькхаммер и сообщил о новой встрече с молодым блондином. Он также звонил Сандрино, но тот рекомендовал ему ничего не предпринимать до вашего возвращения. Молькхаммер звонил еще раз, а затем сообщил, что решил действовать на свой страх и риск.
— Он собирается предложить им мешанину из маловажных фактов и доброй порции домыслов, — пояснил Феллнни.
— Сандрино дал ему некоторые указания, что он может говорить и чего нет, но решительно отказался от единоличной ответственности.
Феллини подумал о Молькхаммере, который в эту минуту ведет игру с противной стороной Противная сторона — так ли? Быть может, всего-навсего конкуренты? Феллини не сомневался, что при первой же возможности Молькхаммер позвонит ему.
В десять вечера раздался телефонный звонок. Прямо с аэродрома звонил Андреоло. Он только что прилетел из Франции с потрясающей новостью.
— Немедленно приезжайте, — сказал Феллини.
Через сорок пять минут Андреоло устало бросился в кресло около письменного стола Феллини. Обычно молодцеватый, он выглядел вконец измотанным.
— С момента совещания в Больцано я не прилег ни на одну минуту, — сказал он. — До Марселя все идет как по маслу, но, пока оттуда доберешься до этого горного гнезда, вымотаешь все силы. Приключение на приключении, как в экспедиции. Обратно — тоже не легче. Но поездка стоила того.
Андреоло передал свою беседу с Арно.
— Таким образом, — заключил он, — существуют все основания подозревать Новака в том, что он вывез донарит в багажнике машины обратно в Австрию. Ясно, что он не вернул его Скомику, иначе бы тот сообщил вам о расторжении сделки. Я также не верю, что донарит был низкого качества, так как он мог узнать об этом только от Скомика, но тогда в разговоре с вами Скомик обязательно упомянул бы и этот факт. По-моему, все это не более чем хитроумный трюк Новака с целью добыть взрывчатку для Бергизельбунда и спрятать концы в воду. Новак был связан с Крёберсом, одним из тайных заправил Бергизельбунда. Он также имел какие-то связи в Граце, в котором, как известно, находится центр по обучению прыгунов. А кто, как не это чертово племя, больше всего заинтересовано в донарите?
Это здание Феллини терпеливо возводил камешек по камешку, и теперь оно, казалось, стало прочнее, чем когда-либо. Он мог бы торжествовать победу, если бы его не мучила мысль, что все узнанное им до сих пор служит исключительно интересам СИФАРа. А он даже не знает мотивов преступления. Для чего террористам потребовалось убрать с дороги такого нужного им человека, как Новак?
Даже на улице пахло копчением. Молькхаммер любил этот запах. В доме всегда была скотина, и когда резали свинью, для него, ребенка, наступал праздник, более веселый, чем рождество. Он

с утра помогал по хозяйству, вырезал куски мяса для буженины, начинял колбасу, крутил мясорубку. Позже из коптильни разносился такой же запах, как сейчас из фабрики колбасных изделий «Мельхиор».
Кат сообщила по телефону, что останется работать сверхурочно. Сейчас она сидела за одним из этих освещенных окон и составляла счета на копченую колбасу, вареную колбасу, салями, консервированный гуляш из говядины и ливерную колбасу, а он ждал ее у ворот, держа под мышкой коробку с пралине.
Уже пробило семь часов, когда, наконец, в воротах фабрики показалась Кат. Быстрыми шагами она приблизилась к Молькхаммеру, взяла его под руку и прижалась к нему. Он хотел ее поцеловать, но она заметила наигранным тоном гувернантки:
— Только не здесь!
Радость от встречи с Кат возобладала над остальными мыслями.
— Ты сегодня недурно одета, — сказал он. — Этого берета я еще не видел. Принцесса, сколько же у вас всего платьев, туфелек и шуб?
— Семь раз по семьдесят, — с серьезным видом ответила она. — А кроме того, мой отец, милостивый король, каждое утро дарит мне новый наряд. А по воскресеньям я получаю сверх того по одному золотому дукату.
— Перед воротами замка, — продолжал Молькхаммер, — каждый вечер стоит королевич. Иногда он приносит тебе белую овечку, иногда серебряное кольцо, а сегодня он принес коробку пралине. Но, к сожалению, он должен скоро уйти, так как королевский сын зарабатывает на жизнь продажей моторизованных карет и как раз сегодня вечеров у него деловая встреча, которую никак нельзя отложить.
— Он хочет продать карету злой ведьме?
— Нет, одному врачу, очень хорошему и важному клиенту, который может с ним встретиться только сегодня вечером, — отвечал Молькхаммер и добавил, переходя на серьезный тон: — Мне действительно очень не хочется расставаться. Но обстоятельства сильнее нас.
— Произошла удивительная история, — немного помолчав, снова заговорил он и посмотрел Кат в глаза: — Королевич серьезно влюбился в принцессу.
Она наклонила голову в одну, потом в другую сторону, оставаясь совершенно серьезной. Но затем в ее глазах снова заискрился юмор.
— Я, конечно, понимаю, что у странствующего королевича нелегкая жизнь. Он бывает в разных городах, крепостях и замках, в которых живет так много принцесс. Вернется ли он когда-нибудь в Грац?
— Я буду писать тебе, — пообещал он, — и я обязательно вернусь. Самое позднее через неделю. Хотя я и езжу не туда, куда я хочу, а куда хочет начальство, мне ничто не помешает сделать крюк и заглянуть в Грац.
— Посмотрим, вспомнишь ли ты Кат через неделю, — серьезно сказала она. — До свидания! Мне было с тобой очень хорошо эти три дня. Пиши, но еще лучше — приезжай!
Она на мгновение прижалась к нему и быстро поцеловала. Несколько секунд он смотрел ей г. след, пока она не затерялась среди прохожих.
За полчаса, проведенные с Кат, он ни разу не вспомнил о Кюне. Он только знал, что в двадцать часов должен быть в кабачке. Но едва он остался один, как им снова овладели беспокойство и тревога, полностью вытеснив горькое ощущение, вызванное прощанием с Кат. До восьми оставалось двадцать минут. Следовало поторопиться.
Войдя в погребок, он сразу увидел Кюна, сидевшего за столиком в углу, спиной к стене. Молькхаммер торопливо оглядел зал, но определить среди немногих посетителей, кто сообщник, было не легко, если вообще возможно.
Кюн — Вихман поднялся и протянул Молькхаммеру руку:
— Очень рад, что пришли.
— А вы сомневались?
— Немного да. Рюмку коньяку?
— Одну. В порядке исключения.
Вихман заказал два коньяка, а Молькхаммер, который еще не ужинал, бутерброд с колбасой
Пока официант выполнял заказ, Молькхаммер обвел глазами зал: за соседним столом сидела увлеченная разговором молодая пара, у противоположной стены пожилой мужчина перелистывал иллюстрированный журнал, у музыкального ящика две скучающие девицы ели

мороженое, ожидая, судя по всему, кавалеров, чтобы потанцевать. Вошел молодой человек, поискал кого-то глазами и подсел к девицам. Молькхаммер решил не спускать с него глаз.
— Вы так и не решились написать отчет? — спросил Вихман.
— Я — за разговор. При этом вы сможете по ходу дела задавать вопросы.
— Деньги при мне, — сказал Вихман. — Начинайте!
Вначале Молькхаммер повторил то, что уже было известно Вихману: Феллини обнаружил, что из кухни гостиницы пропали колотушка для мяса и вилка, и он не сомневается, что преступник воспользовался ими для убийства Новака.
— Мы подозреваем трех человек, — фантазировал Молькхаммер, — Губингера, который незадолго до убийства заходил на кухню, одну посудомойку и повара. Замечу, что все трое подозреваются не в убийстве, а в том, что передали преступнику орудия убийства, так как, по словам повара, накануне в кухне ничего не пропадало. По разным причинам посудомойка в принципе отпадает, Губингер забегал лишь на минуту, поэтому главный подозреваемый — повар.
После обеда Молькхаммер сочинил версию, которую теперь и излагал Вихману. Согласно этой версии, брат повара работал якобы портовым служащим в Бриндизи. В Бриндизи Новак грузил товары, полученные из Бельгии, на суда и переправлял их в Кувейт. В последнее время Новак несколько раз приезжал в Намюр, где находятся заводы по изготовлению легкого стрелкового оружия. В бумагах покойного найдено анонимное письмо с угрозами, написанное на чистом итальянским языке. В письме содержалось требование к Новаку оставить а покое Кувейт. Еще один повод для подозрения: в последнее время повар перевел на свой счет в банке крупные суммы, которые он никак не мог скопить при его скромной зарплате.
Молькхаммер перевел дыхание. Вихман воспользовался паузой, чтобы задать новый вопрос:
— Чем вы занимаетесь в Граце?
— Мы подозреваем, что здесь находится перевалочный пункт оружия, — ответил Молькхаммер, — а именно — на фабрике колбасных изделий «Мельхиор». В связи с этим я познакомился с одной служащей фирмы.
— С той самой, с которой вы танцевали вчера?
— Да.
— Сочетаете приятное с полезным. Неплохо! Но какое дело СИФАРу до этой истории?
— Все проще пареной репы, — продолжал плести Молькхаммер, — где пахнет оружием, там и СИФАР. Существует подозрение, что Новак продавал оружие также в Италию.
Вихман снял очки и тщательно протер стекла.
— Занятная история, — зевнул он. — Но почему мы должны вам верить? Где доказательства? Хотя бы частичные?
Молькхаммер счел уместным разыграть оскорбление. Если ему совершенно не доверяют, то ни о каком сотрудничестве действительно не может быть и речи. Откуда взяться доказательствам, если он находится в Граце, а не в управлении уголовной полиции? К тому же такие вещи не делаются менее чем за сутки.
— Не будьте ребенком, — возразил Вихман. — В сделке, подобной нашей, смешно говорить о каком-нибудь доверни. Тут ценятся голые факты и ничего больше. Каким образом вы намереваетесь предоставить нам фактический материал? Нас особенно интересует та часть, которая относится к Грацу. Кроме того, нам бы очень хотелось побеседовать с этим мнимым доктором Перотти. Вы не возьметесь устроить нам рандеву?
— Не будем забегать вперед. Всему свое время.
— Хорошо, — согласился Вихман. — В этом тоже есть свое преимущество.
Они заговорили о материалах следствия, и Вихман предложил Молькхаммеру изготовить с каждого протокола машинописную копию. Молькхаммер согласился, добавив, что его секретарша безумно в него влюблена и готова оказать ему любую услугу, в том числе и эту. Копии протоколов, посоветовал Вихман, Молькхаммер должен положить в конверт и во время очередной командировки в Австрию опустить в любой почтовый ящик. Адрес: «Инсбрук, до востребования».
Их встреча длилась уже два часа. Молькхаммер встал и, попросив извинения, вышел в туалет. Когда он вернулся, на столе уже стояла новая рюмка с коньяком.
— За успешное сотрудничество, — сказал Вихман. Они выпили.

— Кстати, — спросил Молькхаммер, — вы полностью заплатите мне за сегодняшнюю информацию или я должен вначале представить доказательства?
— Разумеется, вы получите деньги немедленно. Жаль, что вы не сказали мне об этом раньше. Мы бы вместе вышли в туалет. Самое удобное место для подобного рода расчетов. Хотите сигарету?
— Нет, спасибо, — сказал Молькхаммер.
Он вдруг почувствовал сильное давление в голове, члены налились свинцом, и мысли оцепенели, словно разбитые параличом. Очки на лице Вихмана стали расти, а рот застыл в усмешке. В какую-то долю секунды Молькхаммер сообразил, что произошло, но у него уже не было сил вскочить со стула. Он хотел поднять руки, но они бессильно повисли вдоль тела, хотел кричать, но не мог разжать челюсти. Отчаянным напряжением воли Молькхаммер попытался побороть смертельную усталость, и это отняло у него столько сил, что он уже не испытывал гнева ни к мужчине в огромных очках с насмешливой улыбкой на губах, ни к самому себе. Молькхаммер еще успел заметить, как над ним наклонился молодой человек, сидевший с девушкой за соседним столом, услышать глухое дребезжание музыкального ящика; затем он потерял сознание.
— Не умеет пить, — сказал Вихман так громко, чтобы было слышно за соседними столиками. — Возись теперь с ним. Вы не поможете донести моего друга до машины?
Молодой человек с готовностью согласился. Официант поставил на место стулья и открыл дери на улицу. Вихман и его помощник вынесли Молькхаммера и уложили на заднее сиденье.
— Чисто сработано!. — произнес молодой человек.
— Побудь минуту здесь, — сказал Вихман, — пока я расплачусь с официантом, а затем возвращайся и посиди со своей куклой еще немного. Проследи, но заинтересовался ли кто-либо происшествием
Пятью минутами позже Вихман сидел в машине, увозя бесчувственного Молькхаммера из Граца.
* * *
Далеко за полночь Молькхаммер пришел в себя. Его первым ощущением была боль в левой руке, которую он придавил телом. Голова казалась чугунной. Он с трудом поднял свинцовые веки, положил ладонь под голову, медленно повернулся на бок и снова впал в забытье. Наконец холод привел его в чувство. Он вытянул руку, нащупал корень, с усилием оторвал туловище от земли и застонал ог резкой спазмы в желудке. Так, полусидя, полулежа, он подождал, пока его вырвет, почувствовал облегчение и открыл глаза. Он увидел стволы деревьев и пятна ночного серого неба в промежутках между черными кронами; между стволами мигал далекий огонек. Молькхаммер встал и пошел шатаясь, на свет. Только выйдя из леса, он понял, что это был не одинокий огонек, а целая цепочка огоньков, растянувшихся вдоль длинной улицы по ту сторону долины Там проехала машина. Внизу, в долине, лежала деревня. Молькхаммер хотел взглянуть на часы, но увидел голое запястье. Он испуганно ощупал пиджак: бумажник исчез; из кармана брюк пропал кошелек. Свежий ветер, дувший в лицо, окончательно привел его в чувство. Как сквозь сон, Молькхаммер припомнит свою встречу с белобрысым. Вначале он долго беседовал с ним, потом вышел в туалет, а когда вернулся, на столе стояли новые рюмки с коньяком; он выпил и почти сразу потерял сознание. Молькхаммер стыдился происшедшего. Совершенно ясно, что этот Клон подсыпал в коньяк наркотик, дождался, пока он потеряет сознание, втащил в машину, ограбил и бросил здесь, в лесу, — старый прием гангстеров и разведчиков, в котором их натаскивают уже на первом году обучения. Нетрудно представить, как отнесутся к происшествию Феллини и в первую голову Сандрино. Умолчать о нем тоже нельзя. Иначе как объяснить исчезновение служебного удостоверения?
Молькхаммер вышел на тропинку и, перейдя луг, оказался на краю деревни На дорожном указателе белело: Грац 14 км. Шагая по направлению к городу, Молькхаммер обдумывал ситуацию. Он находится за границей без денег и документов, на нем, вероятно, испачканный костюм и грязные ботинки. Он не может заплатить за номер в гостинице и даже остановить машину, не опасаясь быть переданным в руки полиции. Если кто-то и мог помочь ему сейчас в Граце, так только Кат.
Почти у самой городской черты он почувствовал сильную слабость: ноги неожиданно подкосились, и все тело покрылось испариной; в одну минуту он взмок сверху донизу. Он испугался, что упадет, и прислонился к стене, но не присел, опасаясь, что тут же заснет; у него

стучали зубы и мелко дрожали руки. Он попытался преодолеть слабость, находя ее смешной и досадуя на самого себя, но не мог.
Вот и дом Кат. Молькхаммер нажал на кнопку звонка и прислушался. В одной из комнат зажегся свет. Он стал у фонаря так, чтобы его было видно, и снял шапку. Кат приоткрыла окно и выглянула на улицу.
— Ты должна мне помочь, — сказал он.
Она сразу узнала его и, не говоря ни слова, захлопнула окно. Минуту спустя она вышла на улицу. Молькхаммер еле держался на ногах Кат обхватила его одной рукой и, чувствуя, как он весь обмяк, с трудом удерживая его на ногах, довела до кухни и усадила на стул.
— Боже мой! — сказала она — Что с тобой стряслось?
Молькхаммер убрал со лба волосы и прижал ладони к вискам, пытаясь утишить колющую боль в голове.
— Сейчас все узнаешь, — слабым голосом произнес он.
Он понял, что должен открыться ей и рассказать обо всем, что с ним произошло; к тому же он был настолько слаб, что все равно не смог бы выдумать более или менее правдоподобную историю.
Она сняла с него обувь, поставила кипятить воду для кофе и протянула мыло и полотенце, чтобы он вымыл хотя бы лицо и руки.
— Расскажешь потом, — сказала она, — а пока сходи умойся. К сожалению, тебе сейчас нельзя принимать ванну; в таком состоянии ты можешь потерять сознание и захлебнуться.
Она положила на хлеб колбасу и открыла несколько банок рыбных консервов. Молькхаммер первым делом набросился на консервы.
— А ты, я вижу, испугалась. Почему ты не спрашиваешь меня, что произошло?
— Потому что вначале ты должен поесть. Ты уже вычерпал ложкой все масло из банок. Не слишком ли много для ночного ужина?
— У меня такое чувство, что в самый раз. Одна собака подсыпала мне в коньяк яд. В таких случаях рекомендуется пить масло. — Он натянуто улыбнулся. — Ты не вычистишь мой пиджак? Кстати, который час?
— Яд? — спросила она. — Какой яд? И кто эта собака? И с каких пор ты пьешь коньяк? Ты должен немедленно пойти в полицию!
Он взглянул на кухонные часы: без нескольких минут четыре. В глазах Кат промелькнуло подозрение.
— Выкладывай, что же действительно произошло, — приказала она.
И в то время как Кат чистила ему ботинки и пыталась удалить наиболее грязные пятна на пиджаке, Молькхаммер, ничего не утаивая, рассказал ей о встрече с Кюном и открыл свое настоящее имя и свою профессию. Она недоверчиво посмотрела ему в глаза. И даже когда он описывал, как его увезли и ограбили в лесу, она несколько раз скептически вытягивала трубкой губы.
— Не чересчур ли много приключений сразу? — наконец произнесла она. — Теперь тебе, разумеется, нужны деньги?
— Вот именно! — облегченно выдохнул он и торопливо добавил: — Если я пойду в полицию, то вопросам и формальностям не будет конца. Мне бы только добраться до итальянской границы. Кроме того, я бы хотел заплатить за гостиницу. Границу я перейду без паспорта, а дальше все пойдет как по маслу. Любой итальянский полицейский окажет мне содействие, и самое большее через три дня я верну тебе деньги.
Кат повесила кое-как очищенный пиджак на спинку стула и села.
— Чересчур много приключений сразу, — повторила она. — Все, что ты рассказал, слишком невероятно. Но я верю. Возможно, потому что влюбилась в тебя.
Он протянул к ней руку, но она отвела ее в сторону.
— Сейчас не время. Сколько тебе нужно?
Он назвал сумму, подумал, назвал большую. По некотором размышлении Кат сказала, что у нее здесь нет таких денег, но что главный почтамт открывается в шесть и она могла бы снять деньги с почтовой сберкнижки. Она вскочила со стула.
— Я буду готова через двадцать минут.

Около шести они вышли из дому. Еще не рассвело, но по улицам уже торопились пешеходы, и трамваи были переполнены. Свежий воздух окончательно оживил Молькхаммера. Он почувствовал, как исчезают последние остатки слабости и возвращается хорошее настроение.
— Кат, — сказал он, — ты самая прекрасная девушка на свете! Я никогда не забуду того, что ты сделала для меня!
На углу перед почтамтом стоял полицейский. Когда до него оставалось несколько шагов, Кат неожиданно схватила Молькхаммера за рукава пиджака.
— Арестуйте его! — громко крикнула она. — Полиция! Арестуйте этого мужчину!
Молькхаммер даже не пытался вырываться и бежать. Полицейский быстро приблизился к ним. Несколько прохожих остановились, Кат все еще не отпускала Молькхаммера.
— Отведите его в участок! — кричала она неестественно громким голосом. — Это мошенник!
— Я иду с вами, — спокойно сказал Молькхаммер полицейскому. — Попросите эту даму не портить мой пиджак. У меня нет другого.
В сопровождении полицейского с одной стороны и Кат с другой Молькхаммер шел по улице. Он был не столько взбешен, сколько опечален. Ему ничто не угрожало, кроме потери времени, но именно этого в данной ситуации не простит Феллини.
* * *
Лицо Сандрино было серьезно и угрюмо, но сверх того в нем проскальзывало нечто, чего Феллини никак не мог предположить: смущение.
— Я пригласил вас к себе, — начал Сандрино, — хотя, собственно говоря, сам должен был бы явиться к вам, поскольку я перед вами в большом долгу. Однако, воспользовавшись вашим пребыванием в Больцано, я пригласил вас сюда, так как нет более подходящего места для беседы, чем мой кабинет. Правда, сейчас несколько необычное время, но и причина тоже не совсем обычная.
Сандрино сделал паузу, чтобы насладиться эффектом, который должно было вызвать его сообщение, и действительно насладился им в полной мере.
— Дело в том, что примерно три недели назад, то есть за пять дней до смерти, Новак имел доверительный разговор с итальянской таможней.
Феллини всплеснул руками и простонал:
— И вы говорите мне это только сегодня!
Сандрино кивнул головой и продолжал:
— Направляясь вместе со своей подругой в Тауферс, Новак при переходе границы отвел в сторону одного итальянского таможенника и спросил, каким образом он сможет в случае необходимости передать таможне секретное сообщение. Таможенник проводил его к своему начальнику. Там Новак долго мялся, но, наконец, развязал язык и сообщил, что в ближайшее время ему. возможно, станет известно о нарушении границы, и он хотел бы знать, к кому он в этом случае должен будет обратиться. Начальник дал ему телефон таможенной полиции. Двумя днями позже Новак позвонил по телефону, чтобы, как он выразился, убедиться в исправности линии. В связи с этим к таможне был прикреплен связной офицер СИФАРа. Но от него до нашего отдела, который единственно занимается прыгунами, как вы сами понимаете, довольно длинный путь.
— Понимаю, — сказал Феллини.
Его взгляд еще был прикован к губам Сандрино, а мысли уже мчались, обгоняя друг друга, взлетали, сцеплялись и разлетались в стороны, пытались встроить новый факт в систему старых, наталкивались на противоречия, строили схемы и отвергали их.
— Невероятно! — сказал он — Возможно, это и есть мотив убийства?
— Не исключено, что мы обнаружили звено, которого не хватало в вашей цепи. Если это так, то ваша теория верна. Можно вас поздравить.
— Избави бог! Такая поспешность только навредит делу.
Но, говоря так, Феллини улыбался, и Сандрино понял, что скала, о которую грозило разбиться сотрудничество СИФАРа н уголовной полиции, благополучно обойдена.
— В первой записке говорилось, что Новак будет подлецом, если потребует деньги, — развевал свою мысль Феллини. — Предположим, Новак передал прыгунам партию донарита, вывезенную им из Франции. Предположим далее, прыгуны не хотели платить за взрывчатку и даже апеллировали к патриотизму Новака. Поэтому Новак решил подставить им ножку и выдать пограничникам один из их транспортов. Прыгуны, возможно, подозревали или

пронюхали о его намерениях. Не исключено, что он легкомысленно угрожал им. И когда им показалось, что он становится опасен, они убрали его.
Сандрино согласно кивал головой: логичная цепь, любое из ее звеньев можно считать доказанным, контраргументов — никаких. Старая практика правоэкстремистских организаций: предавать предателей тайному суду Сандрино знал десятки подобных примеров от чернорубашечников Муссолини и черного рейхсвера в Германии до хорватских коллаборационистов и французских оасовцев. Так почему же подстрекателям из Бергизельбунда не прибегнуть к тому же методу?
— Пожалуй, мотив мы выяснили, — сказал Феллини и слабо улыбнулся. — Теперь осталось найти убийцу. Завтра же еду на озеро Гарда. Если кто-то и можеи им помочь, так это Кардо.
Зазвонил телефон. Сандрино снял трубку. Почти в то же мгновение с его лица сбежала улыбка. Он прижал трубку плечом к уху и достал записную книжку и шариковую ручку.
— Взорвали мачту, — прошептал он Феллини, записывая сообщение.
— Десять минут назад в верхнем Пасаейртале взорвали мачту, — кончив разговор, сообщил он. — После девяти недель полного затишья — первое преступление. Это в непосредственной близости от Зандгофа. Как известно, там жил старик Андреас Гофер.
— Святой заступник прыгунов, — добавил Феллини. — Если хотите, в этом есть своя символика.
Снова зазвонил телефон. Сандрино доложили, что новая мачта взлетела на воздух, на этот раз в Арнтале, более чем в ста километрах по прямой от места первого взрыва. Затем последовало такое же сообщение из Стерцинга, расположенного по соседству с Бреннером. У Залунского ущелья заряд донарита вырвал с корнями шесть придорожных деревьев, которые образовали на дороге завал.
Сандрино записывал, приказывал, отдавал контрприказы, спорил с областным управлением карабинеров и требовал соединить его с Римом. Наступила полночь.
— Шестнадцать взрывов за три часа, — торопливо подсчитал он — Такого еще не бывало. Вот он — донарит вашего высокоуважаемого трупа.
Минутой позже Сандрино сообщили, что у прохода в долину Мартенталь сорвана с фундамента еще одна мачта.
* * *
Крёберс пропустил через пальцы запальный шнур. Он был двухметровой длины и утопал одним концом в капсюле-детонаторе, от которого расходились три детонирующих шнура, соединенных с зарядами донарита у трех опор мачты. Кажется, все выполнено по инструкции. Крёберс взглянул на часы: новому дню исполнилось всего четырнадцать минут. Ровно через двести секунд мачта взлетит на воздух и свалится в пропасть. И тогда весь Глурнс погрузится в темноту. А затем он посмотрит, пригоден ли его план возвращения в Северный Тироль.
Он достал из кармана коробок, положил спичку головкой на конец шнура и чиркнул по ней теркой; вспыхнуло пламя, и запах горящего шнура ударил в нос. Крёберс торопливо вскарабкался по склону и прилег за деревом. Напряжение, в котором он жил последние два дня с момента перехода границы, уступило место полному покою.
Вспышка, взрыв, свист и удары камней и осколков фундамента о скалы. Крёберс выглянул из-за дерева: серый силуэт мачты исчез. Быстро, насколько позволяла темнота, он стал карабкаться по склону. Вскоре он встретил обоих парней, помогавших ему доставить донарит к месту взрыва. Они восторженно пожали ему руку и засыпали вперемежку поздравлениями, советами и призывами к осторожности при переходе границы. Крёберс велел им возвращаться домой и ложиться спать. Утром они должны делать вид, что ничего не знают, и, как условлено, удивляться происшедшему и бранить сумасшедших, которые оставили их на несколько недель без света.
Ночь была мягкой и тихой. Взобравшись на одну из вершин, Крёберс увидел внизу, в долине, десятки фар: из-за поворота медленно выползала большая автоколонна. Это были они — карабинеры, которых Крёберс и его единомышленники подняли ночью с постелей; теперь начиналась борьба против их превосходящих сил. Крёберс шел по тропинке, которая волнообразно поднималась вверх, пересекала альпийский луг и исчезала в лесу. Там он немного отдохнул, очистил рюкзак и карманы от всего, что могло стать вещественными уликами: щипцов, проволоки, промасленной бумаги и спичек, и пошел дальше.

Часом позже Крёберс испугался, что сбился с пути, но немного погодя увидел знакомую просеку, круто спускавшуюся к ручью в долине. Он шагнул в воду, некоторое время шел вниз по ручью, сделал петлю на лугу, вернулся к ручью и снова пошел по предательски скользким камням.

Оставив русло, Крёберс пересек влажный от росы луг и, дойдя до его конца, остановился. Теперь он был уверен, что ни одна ищейка не возьмет его след. Он выжал вымокшие до колен брюки, достал из рюкзака сухие носки и ботинки и переоделся. Мокрые носки и ботинки он связал вместе и сунул под куст. Еще до рассвета Крёберс, осторожно ступая, спустился в низину, перепрыгнул через ручей и поднялся по склону. Когда стало светать, он забрался в заросли, лег и сразу заснул мертвым сном.

После полудня Крёберс продолжил путь. От лежания у него затекли ноги, и ему понадобилось больше получаса, чтобы разойтись и размять члены. Некоторое время он шел лесом, продираясь сквозь густую поросль и досадуя на вызываемый этим шум, более сильный, чем ему хотелось, а потом долго лежал у опушки, осматривая в бинокль луг, копну сена и поросший кустарником склон, прежде чем решился перейти луг.

* * *

Пока Феллини в это утро добирался на машине из Больцано до Гарда, у него не менее шести раз проверяли документы. На всех дорогах и у всех мостов стояли карабинеры, полицейские службы безопасности, солдаты и наряды дорожной полиции. Они придирчиво проверяли его паспорт, заглядывали в машину, просили открыть багажник. Усердие патрулей являлось, видимо, следствием беспомощности и гнева. У Залунского ущелья саперы с помощью пилы и автокранов разбирали дорожный завал. Один из криминалистов, собиравший щепки в месте взрыва, был знакомым Феллини. Он рассказал, что на этом участке погиб дорожный рабочий Джиованни Посталь: в тот момент, когда он хотел удалить неразорвавшийся заряд донарита, произошла детонация и его буквально разорвало на куски. Подъезжая к Вероне, Феллини услышал по миланскому радио первый обобщенный обзор событий. Диктор сообщил, что в течение ночи в области Трентино — Альто Адидже взорвано сорок мачт высоковольтных линий электропередач. В результате энергичных операций по прочесыванию, в которых приняли участие карабинеры, полиция и армейские подразделения, за короткое время были задержаны и арестованы многие террористы. Далее подробно описывалась смерть дорожного рабочего Джиованни Посталя. В заключение диктор сообщил, что это была самая крупная диверсия, на которую когда-либо отваживались террористы.

Часом позже, обогнув южный берег Гарда, Феллини остановил машину у пансионата, в котором жила Лиль Кардо. Вскоре Феллини и Кардо уже сидели в ресторане и беседовали о событиях ночи. Постепенно Феллини перевел разговор в нужное ему русло.

— Направляясь в Тауферс, ваш друг при переходе австро-итальянской границы беседовал с итальянским таможенником, не так ли? — спросил он.

— Возможно, — пожала плечами Лиль. — Мой друг часто вел переговоры с таможенниками, — и, немного помолчав, облегченно добавила: — Теперь я припоминаю, что он прошел в таможню и вернулся примерно через полчаса. Мне кажется, что Гериберт был тогда немного взволнован.

— Упоминал ли ваш друг когда-нибудь в разговоре таможню?

— Однажды, беседуя с Губингером. Он сказал, что, возможно, в скором времени таможенники вытаращат от удивления глаза. Замечание было сделано вне всякой связи с остальным разговором и поэтому несколько удивило меня. Если бы вы сейчас не поинтересовались, я бы никогда не вспомнила о нем сама.

— И вы сообщаете мне это только сегодня?

— Но вы никогда не спрашивали меня об этом, — виновато возражала она. — Беседа состоялась вечером накануне убийства, незадолго до того, как Губингер заказал для меня разговор с Инсбруком. То есть нет, — поправилась она, — я все перепутала. Вначале мы с Герибертом поднялись наверх, а потом он послал меня позвонить в Инсбрук. А замечание о таможне он сделал днем раньше.

— Вы только что сказали, что Губингер заказывал для вас разговор с Инсбруком. Разве не вы сами? Об этом вы мне тоже ничего не сообщили.

— Неужели? — удивилась она. — Хотя возможно. Но я помню, что говорила об этом вашему молодому коллеге.

— В протоколе, во всяком случае, это не зафиксировано.
— Значит, я действительно забыла или не придала факту никакого значения. От всего, что произошло, я была тогда сама не своя. Неужели это так важно?
— Вовсе нет, — ответил Феллини. — По крайней мере в данный момент.
Поговорив еще полчаса на отвлеченные темы, Феллини попрощался и выехал в Милан.
К удивлению Молькхаммера, допрос в полицейском управлении Граца продолжался не так долго, как он опасался. Уже к полудню полицейская машина доставила его к границе и перепоручила заботам итальянских властей.
Вот уже два бесконечных часа Молькхаммер сидел в караульной комнате таможни, слушая рассказы о событиях ночи.
Наконец за ним приехала машина. По дороге в Больцано он обдумывал вопрос, в какой мере его вина переплетается с упущениями СИФАРа и объективными причинами, чтобы знать, что сказать, когда придется отчитываться перед Сандрино. Но Сандрино было не до Молькхаммера, и вообще никого не интересовали его приключения. Главное, что он снова на месте, все остальное пока не играло роли. Сейчас СИФАРу прежде всего нужны люли, имеющие опыт борьбы с прыгунами. Ему выдали удостоверение и велели немедленно отправляться в Глурнс. У Молькхаммера гора свалилась с плеч.
В полицейском отделении Глурнса он встретил Феллини.
— Очень рад вас видеть, — сказал Феллини. — Сегодня утром я распорядился арестовать Губингера и уже несколько часов допрашиваю его. Пока что он упрямо отрицает свою причастность к преступлению. Есть интересные новости, но я не хотел бы выкладывать их сию минуту. Как вы себя чувствуете?
— Отлично!
— Тогда немедленно собирайтесь в путь. Вы помните, конечно, что, когда Крёберс ездил к Шмейдлю в Грац, мы взяли его под наблюдение. Так вот, наш агент, следивший тогда за ним, видел сегодня Крёберса в нижнем Мачертале, но, к сожалению, упустил его. По некоторым причинам необходимо во что бы то ни стало арестовать Крёберса. Докажите, что вы хороший лыжник.
Карабинеры, расположившиеся в местной школе, достали ему лыжи, ботинки и палки. Посте некоторых поисков нашлись также лыжные брюки, куртка, шапочки, перча ikh, рюкзак. В сгущающихся сумерках Молькхаммер и трое карабинеров вышли в горы. У каждого, в том числе и у Молькхаммера, висел на груди автомат.
Молькхаммер и карабинеры взяли с места в карьер. Долгое время Молькхаммер шел первым, прокладывая лыжню, но едва он пристроился сзади, чтобы немного передохнуть, как темп резко спал. Во время одного из спусков он снова возглавил отряд. Обернувшись, он увидел, что один из карабинеров отстал, но не снизил скорости, надеясь, что по крайней мере радист выдержит темп гонки. Он готов был и дальше один прокладывать лыжню, лишь бы быстрее идти вперед. Почувствовав второе дыхание, он мчался, уже не обращая внимания на карабинеров, далеко выбрасывая палки и сильно отталкиваясь, как учил тренер. Один раз он вынужден был снять лыжи, чтобы перелезть через скальный гребень. И снова вперед. Наконец он остановился и стал внимательно осматривать местность: метр за метром, склон за склоном, впадину за впадиной. Вдруг далеко впереди он заметил точку, едва различимо шевелившуюся на снегу. Он поднял бинокль, и точка превратилась в мужчину, который карабкался по ложбине вверх.
Все чаще и чаще на пути попадались валуны. Молькхаммер отстегнул лыжи и снял с груди автомат. Держа его в руке, он стал прыжками приближаться к мужчине, перескакивая с валуна на валун. Тот все еще не видел его. Наконец он остановился, поднял бинокль и начал осматривать местность. И только тогда он заметил Молькхаммера.
Молькхаммер поднял руку и крикнул: «Стой!» — но мужчина уже снова поспешно карабкался в гору. Молькхаммер сделал предупредительный выстрел. Мужчина пригнулся и изменил направление. Молькхаммер заметил, что беглец передвигался с трудом, словно очень устал. С каждой минутой криминалист приближался к нему все ближе и ближе. Если мужчина вооружен, он будет сейчас обороняться, подумал Молькхаммер. «Полиция! Стой!» — еще раз крикнул он, но мужчина даже не обернулся. Когда расстояние между ними сократилось до ста метров, послышался шум мотора, и вскоре из тумана опустился вертолет и повис в нескольких метрах над головой беглеца. И лишь тогда тот обессиленно опустился на снег, злобно глядя на преследователя. «Вы арестованы, Крёберс!» — сказал Молькхаммер.

Феллини смотрел сверху вниз на мертвенно-бледное с отвисшей челюстью лицо и удивлялся, как у этою больного и слабонервного человека все еще хватало сил отпираться.
— Губингер, — сказал он, — не пора ли вам, наконец, взяться за ум? Я допрашиваю вас уже шесть часов, и вы все время упорно отпираетесь. Я спрашиваю еще раз: кому вы передали вилку и колотушку для мяса?
— Я их в глаза не видел, — застонал Губингер, — и никому не передавал.
— Продолжая упорствовать, — сказал Феллини, — вы только усугубляете свою вину. В таком случае я не смогу сообщить суду о вашем чистосердечном признании, и тогда вам нечего рассчитывать на смягчающие вину обстоятельства. Во всяком случае, я вас предупредил.
В том же духе он продолжал говорить еще некоторое время; слова легко слетали с языка — все это было привычным делом. Затем он велел увести Губингера.
Феллини распорядился доставить арестованного Губингера в Милан и теперь ждал, когда привезут Крёберса. Твердо установлено, что Крёберс взорвал одну мачту; поэтому добиться перевода Крёберса из больцанской тюрьмы, в которую свозились все арестованные террористы, в Милан оказалось нелегким делом.
Феллини потратил еще несколько часов, снова и снова сопоставляя факты. Наконец прибыл Молькхаммер и сообщил, что привез Крёберса.
— Хотите сразу допросить его? — спросил он.
— Я, собственно, так и думал, — сказал Феллини, — но, может быть, нам удастся склонить Губингера к признанию, ошеломив его правдой об обстоятельствах убийства. Попробуем сделать это сейчас.
Он велел привести Губингера. Тот вошел и, сев на табурет, стоявший у двери, положил руки на колени и потупил взгляд.
— Вы по-прежнему отказываетесь от чистосердечного признания! — спросил Феллини.
— Я уже признался во всем, — пробормотал Губингер.
— Вы солгали мне, — сказал Феллини. — А теперь я досконально опишу, что произошло в Тауферсе в тот вечер.
Событиям в Тауферсе предшествовала следующая история.
Бергизельбунд отказался оплатить поставленный Новаком донарит. В ответ Новак пригрозил выдать союз итальянцам и даже предпринял некоторые шаги в этом направлении Ни Крёберс, представитель союза, ни Новак не желали уступать, и ситуация обострилась. Так это в общем-то не непреодолимое разногласие из-за неуступчивости обоих разрослось в пробу сил Тогда-то Бергизельбунд и послал Новаку зеленую записку. Может быть, ее автором был доктор Шмейдль? Ничего, мы постараемся выяснить и это Итак, решив отомстить, Новак установил связь с итальянской таможней Вам, Губингер, он сообщил об этом Лиль Кардо слышала, как Новак сказал вам, что в скором времени таможня вытаращит глаза от удивления Вы всполошились и в тот же день позвонили Крёберсу в Инсбрук Я справлялся на почтамте в Глурисе: вы разговаривали ровно семь минут, достаточно долго, чтобы договориться о чем угодно В результате Крёберс немедленно выехал в Тауферс.
Губингер удивленно вскинул голову.
— Это неправда!
— Нет, правда, — возразил Феллини. — Крёберс приехал к вечеру В тот момент ни вы, ни Крёберс еще не имели намерения убить Новака. Скорее всего вы хотели еще раз с ним поговорить и даже, возможно, заплатить за допарит Но тут случилось нечто, что резко изменило ваши планы, а именно — поручение, данное Новаком Лиль Кардо: позвонить Крёберсу в Инсбрук. Вы, Губингер, сделали вид, что заказываете разговор, в действительности же Крёберс в это время сидел в вашем кабинете.
И снова Губингер хотел протестовать, но так и остался сидеть с раскрытым ртом, словно онемев.
— Я справлялся на почтамте Глурнса: вы не заказывали разговора с Инсбруком. В тот вечер из вашей гостиницы не был заказан ни один междугородный телефонный разговор. Крёберс и вы молниеносно сообразили, что случай дает вам в руки блестящее алиби, и Крёберс решил убрать с дороги потенциального и уже частично фактического врага. Не хватало только орудия убийства. И тогда вы пошли на кухню, взяли колотушку и вилку, вернулись в кабинет и передали их Крёберсу. Последний вылез через окно, расположенное вровень с землей, во двор, вернулся через черный ход в дом и поднялся на третий этаж. Он постучал в дверь номера, в

котором жил Новак, и тот, разумеется, впустил его. Предположительно Новак был оглушен Крёберсом в тот момент, когда повернулся к нему спиной. Крёберс втащил Новака в смежную комнату, положил его на постель и нанес смертельный удар в сонную артерию.
Все это заняло не слишком много времени. Совершив преступление, Крёберс тем же путем вернулся в ваш кабинет. Вы, Губингер, сообщили Кардо, что Инсбрук на проводе, и соединили ее с Крёберсом, который сидел в нескольких метрах от нее в вашем кабинете.
Чем ближе подходил Феллини к концу, тем все более стекленел взгляд Губингера: он прижал руки к подбородку и не изменил позы даже тогда, когда Феллини замолчал. Молькхаммер не смел пошевелиться.
— Так это было? — вдруг крикнул Феллини.
Руки Губингера медленно опустились, нижняя челюсть отвисла, и лицо застыло в глупой гримасе. Губингер сделал глотательное движение и еле слышно выдавил «Да».
Феллини выключил настольную лампу.
— Сейчас я позову секретаршу, — сказал он, — и мы составим протокол. Курите!
Феллини позвал полицейского, чтобы Губингер не оставался без наблюдения, и вышел с Молькхаммером в коридор.
— Поздравляю вас, — сказал Молькхаммер.
— А я поздравляю вас. Крепкий нам достался орешек, а?
— Но мы его раскололи, хотя одно время казалось, что это невозможно. Один я бы никогда не раскрыл преступления.
— А я, — сказал Феллини, — никогда бы не поймал Крёберса.

Перевод с немецкого

Ю.Котлярского

П.Гамарра. Пиринейская рапсодия



I

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет набездны, и пойдет на погибель и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Апокалипсис,XVII

Кровавые лучи заката заливают Венаск. Одна за другой на небе вспыхивают мерцающие звезды — и внизу подо мной, у слияния долин, загораются звезды огней в Люшоне. Сначала я не различаю ничего, кроме синеющей громады гор, одетых листвой, и хрупких огоньков в небе и на земле. В этот краткий миг между светом и тьмой голоса и шумы тонут в густых тенях. Белое и черное сливаются в сумерках.

Вершины Венаска загораживают небо.

Я прислушиваюсь. Кто-то ходит наверху. Кто бы это мог быть? То ли косарь возвращается домой, то ли пастух ищет свое стадо. А может быть, это заблудившийся охотник или торговец шафраном или апельсинами. Или кто-то с гитарой в руке…

Ветер дует из Испании. Он несет с собой аромат помидоров и миндальной халвы, едкий запах дубильни, звон кузницы. Образы Франции и Испании, цветы и лица внезапно возникают и смешиваются в моем сознании. Бесчисленные венчики жасмина, вечерний дурман жимолости, поля маиса и виноградные лозы, под которыми сложены кучки камней — чтобы сохранить дневное тепло… Тише! Тише!.. Я слушаю голос сердца.

Закрыв глаза, я мысленно вижу тенистые дороги, идущие между трепещущими тополями, блестки ледяной воды в пустых дуплах. Песню водопада подхватывают овечьи колокольчики. Мир и благодать!

Так кто же шагает там, наверху, по невидимым тропам? Пастух или Зверь, охотник или добыча? Я чую запах Зверя, и вот Зверь сам спускается к моему дому. Не смыкай глаз! Будь начеку, читатель. Мне не раз придется пересказывать слова здешних жителей или говорить за них. Долго передавать их речи трудно: бумага и чернила не всегда достоверны.

Однако этот пиренейский говор по-прежнему звучит в моей памяти, неторопливый, гортанный, ласкающий слух своим раскатистым «р», певучими окончаниями слов, инверсиями, испанскими и баскскими оборотами… Я вспоминаю простодушные, корявые фразы в сочинениях моих учеников… Я ощущаю аромат снегов и леса, гречихи и молока, сухой травы и яблок. Помню яблоко, отдающее фиалкой, и сливу с привкусом рома. Когда звон родника доносится до моего слуха, я вспоминаю миндаль и жареного барашка, вечерние беседы за блинами и горячим вином, пахнущим апельсинной коркой. Образы Пиренеев трепещут у самых моих губ, обжигают их, точно жаркое дыхание молодости, точно брызги чистейшего ледникового потока. Мне хочется обнять знакомые долины и вдохнуть полной грудью вольный ветер пограничных просторов. Я хмелею от ветра, и мне чудятся холодные мартовские фиалки, нарциссы из горных расщелин, терпкая сладость нагретых солнцем шиповника и самшита. И заря, словно разрумянившаяся женщина, встает из озерной глади.

* * *

Овцы спускаются с дальних лугов. Сухой топот бесчисленных копыт градом рассыпается по серой дороге. Медленно поднимается облако пыли, золотое в закатных лучах. Солнце садится над Венаском. Осенний вечер. Колокольчики звенят на все лады. Звяканье бубенцов, стук копыт, собачий лай доносятся до меня разноголосой музыкой.

Но вот над живой рекой пушистой шерсти возникает силуэт пастуха в вельветовых штанах и полотняной рубахе, потрепанная куртка переброшена через плечо. Это Модест Бестегн, пастух из селения Кампас. Он размахивает на ходу палкой. Его собака замечает меня внизу у поворота. Она отрывисто лает, прыгает на придорожный камень и вытягивает морду, чуя знакомый запах.

Я кричу:

— Эй, Модест! Здорово!

— Здорово! — отвечает пастух, поднимая палку.

Он останавливается и с улыбкой смотрит на меня.

А за ним солнце охватывает пламенем склоны гор. Деревья рыжеют, на вишнях тут и там вспыхивают алые пятна. Приближается ночь. Туман над долиной кажется теперь белее и гуще. От обгоревшего куста ежевики тянется дымок.

— Эй, Модест… Мне бы надо немного мяса…

Бестеги качает головой. Из недр своего кармана он достает пачку табаку и курительную бумагу, неторопливо отрывает один листок, приклеивает его на нижнюю губу и продолжает путь. Собака прыгает на дорогу и возвращается к овцам.

— Мяса? Ишь ведь! Ну да ладно, для вас уж постараемся.

Посмеиваясь, он быстро скручивает сигарету, щелкает зажигалкой и спускается. В двух метрах от меня он останавливается. Стадо идет дальше.

> — Ну, что там у вас творится? — спрашивает Модест. — Говорят, в лавках уже ничего нет. Хоть шаром покати, даже несчастную пару эспадрилей
> [13]
> не купить. Черт возьми! Проводите меня немного. Отведу скотину и угощу вас анисовой. Еще малость у меня найдется…

Собака ожесточенно лает. Модест оглядывается. Тени сгущаются вокруг нас. Пастух внимательно смотрит на собаку. Потом пожимает плечами.

— Ничего там нет. Верно, заяц шмыгнул поблизости. Заяц или лиса.

И он повторяет:

— Ерунда. Наверно, заяц или лиса, больше ничего.

* * *

Когда я учительствовал близ Люшона, я часто наведывался к Модесту Бестеги. Я спускался со своей горы, пересекал городок и снова карабкался наверх к его дому. Я ходил к нему даже зимой по глубокому снегу. Летом я взбирался по дороге к испанским хребтам еще выше селения Кампас, до лугов, где он пас овец.

Помню, как в иные дни я шел по занесенной снегом тропе, проваливаясь по колено, пока над моей головой не появлялись каменные носы домишек Кампаса. По пушистым

заснеженным склонам струились, предвещая жилье, запахи дыма и хлеба. Из сараев доносился стук топора и кувалды. Это кололи дрова невидимые дровосеки. Сверкающий стальной клин вонзался в розово-желтые поленья бука, твердого темного дуба, суковатого каштана.

Мне знакома эта работа. Человек наклоняется, крепко хватает кувалду, рывком выпрямляется, занося ее высоко над головой, и соединяет обе руки на рукоятке. Тяжелое орудие словно теряет свой вес, и его можно направить точно и без усилия. Мощный удар обрушивается на клин, разбивая его. Дерево стонет, плоть его рвется. Тогда останавливаешься, прислушиваясь к его жалобам и оглядывая направление раны в треснувшем стволе. Дерево плачет.

Это зимняя работа. Модест Бестеги прекрасно справлялся с ней, несмотря на свой возраст. Я не раз заставал его в сарае; в бледном свете зимнего дня я видел его широко расставленные ноги, занесенные над головой руки, сжимавшие поблескивающую кувалду Он оборачивался ко мне и подмигивал в знак приветствия. Затем упругим движением он опускал кувалду.

Я отряхивал снег с сапог и плаща и подходил к только что нарубленным поленьям, пахнущим свежей древесиной. Модест предлагал мне кофе и стаканчик чего-нибудь крепкого. Мы пристраивались у очага, и завязывалась беседа. Так я узнал жизнь Модеста Бестеги и его односельчан.

Несмотря на трудности военного времени, для меня здесь, наверху, всегда находилась яичница с картофелем, кусок жареного кролика, ломоть ветчины или даже телятины. Иной раз Модест водил меня к кому-нибудь из соседей. В Кампасе было в то время уже немного жителей, и обойти все дома было делом недолгим. Если я засиживался допоздна, я оставался ночевать у Бестеги в комнатушке, наподобие ниши, между кухней и хлевом. Маленькое квадратное окошко выходило на белизну долины. Не одну ночь и не один рассвет встретил я у этого окошка, смотревшего в самое сердце гор. Случалось, я спускался по заснеженным тропам ночью и таинственное око луны следило за моим неверным шагом. Модест не одобрял этих поздних уходов, но в конце концов и он убедился, что я знаю каждый поворот и каждый камень на дороге. Летом это было легко. Светлая ночь обволакивала меня запахом смолы и цветов.

Помню, как после демобилизации я впервые попал в Кампас. Я получил место в школе близ Люшона и понемногу осваивался в этом краю. Занятия еще не начались, и я день за днем исследовал окрестности.

В одну из последних прогулок я взобрался на гору Кампас. Она походила на ту, где жил я сам. Луга на пологих склонах, яблоневые сады, маленькие участки за самшитовой изгородью. Здешний почтальон научил меня подниматься медленно, чтобы не задохнуться. Дома Люшона казались отсюда совсем маленькими, их темные шиферные крыши теснились в низине. Я миновал каштановую рощу, обширные пастбища, затем еще лес и луг.

Я добрался до Кампаса. Ни души. Из домов не доносилось ни звука. Я шел среди палящего безмолвия. Блестки сланца поскрипывали под моими сандалиями. Мне показалось, что большая часть домов полуразрушена. Их старые камни крошились, рассыпаясь щебнем, а крыши, крытые соломой, шифером, коричневой или серой дранкой, осели к земле, сливаясь с ней. На покосившемся крыльце нежилась кошка. Возле кучи навоза бродили неприступно-важные куры. Перед домами тянулись узкие садики, где рос виноград, львиный зев и высокие кустики помидоров. Все двери были закрыты. Люди, должно быть, разбрелись по склонам, выкашивая позднюю траву. И действительно, поднявшись еще выше, я услышал свист кос и звенящие удары точильного камня. И тогда я вспомнил, что Модест Бестеги, о котором мне рассказывали внизу, живет в этом самом Кампасе.

Дорога стала eq \o (у;г)же. И эти прижатые к склонам домишки, в свою очередь, скоро скрылись из виду. Я шел долго. Луга и гречишные поля сменились каштановыми рощами, за ними потянулись холмистые пастбища, потом темный буковый лес. И вдруг открылись широкие просторы, залитые щедрым солнцем.

Передо мной расстилалось огромное пространство — скалы и скошенные луга. Гребни гор на горизонте лежали, несомненно, уже в Испании. Нигде ни души. Ни единого жилища, ни малейшего, как мне казалось, следа человеческого существования. Я был не столько

удивлен, сколько взволнован этой картиной — это было мучительное волнение, тревога. После привычных лесов, кустарников и полей, взрыхленных мотыгой, эти почти голые склоны, полого вздымающиеся к горам Испании, бездонная ширь небес, неумолимое одиночество и суровая тишина сдавили мне сердце.
Потом это первое впечатление исчезло. Вдыхая чистейший воздух, вновь ощущая прилив любви к горам, я взбирался выше и выше, прямо к диким белым вершинам. Внезапно на дорогу с лаем выскочила собака Бестеги. А вслед за ней на фоне безоблачного неба появилась фигура пастуха.
В этот день я добрался до больших пастбищ и вместе с Модестом Бестеги смотрел, как солнце заходило над Венаском.
Тени карабкались по склонам гор. Надвигалась ночь; словно женщина, она высоко воздевала к небу то одну, то другую руку, захватывая скалы, деревья. Каждый раз рука гасит где-нибудь блик света, здесь на золотистом клене, там на серебряном буке или ели, светло-серой, как форель. На вечных снегах протянулись ярко-розовые и вишневые отсветы заката. Снизу из долины доносились ночные звуки. Водопады и ручьи звенели, как тонкий хрусталь. Стрекот и жужжание ночных насекомых и голоса животных сливались в привычный хор. Модест учил меня распознавать каждый голос в мощном дыхании горы. Вот сарыч охотится в последних дневных лучах. Там, пониже, раздается протяжный и дрожащий крик совы. Сарыч улетает вслед за солнцем; то серебристый, то черный как смоль, он плавно парит и исчезает в рдеющем небе. Крик совы разносится в темноте. Сова — терпеливая птица. Впрочем, все животные терпеливы. Они ждут подолгу, они умеют ждать.
Лает собака. Сначала недружелюбно, затем приветливо: она узнала путника. Кто-то из деревни возвращается домой. Все спокойно.
Близ невидимых домов раздается лай другой собаки. Модест прислушивается. Собака учуяла зверя: верно, поблизости бродит лиса. Именно лиса, а не куница. Куницы гораздо хитрее. Да-да! Если в своем сарае вы обнаружите куницу, не гоните ее. Пусть живет, она защитит вас от других куниц. Ваших кур она не тронет. Она будет охотиться в другом месте, чтобы никто не разорял здесь ее гнездо… Чтобы поймать куницу, надо раздразнить ее аппетит. Эта плутовка редко попадается на приманку. Ее сначала надо разохотить. Не ставьте ловушку слишком близко от ее обычной дороги. На дороге она должна только почуять запах. Лучше всего привяжите на веревочку вяленую сардинку или селедку и протащите ее по траве до капкана. Куница идет по следу и хмелеет от аромата вяленой рыбы. Вожделение лишает ее рассудка. Забыв об осторожности, она приближается к приманке. Она охвачена возбуждением. Вот тут-то и щелкает западня.
Так бывает и с людьми…
* * *
Мы сидели с ним на пороге его хижины на пастбище и скручивали сигареты. Вечерний свет, то лиловатый, то темно-медный, струился вокруг нас. Модест провел рукой по воздуху. Словно хотел приласкать вечерние лучи или помахать кому-то невидимому. Его смуглая сухощавая кисть с выступающими узлами вен, с щербатыми темными ногтями на мгновение блеснула отраженным светом и снова исчезла в тени. Легкое потрескивание табака. Красный огонек вспыхнул у рта. Модест повернул голову к испанским хребтам.
— Были такие, которые пробрались через них, — медленно сказал он.
— Через них? Ну, вряд ли что им легко далось…
— Вы-то не знаете, но я вам говорю, здесь никому не пройти. Даже я не сумел бы. И все же нашлись такие, которые пришли оттуда.
— Из Испании?
— Да. Тут просто стена. Стена да и только, уж поверьте.
— А они сумели?
— Да.
— Значит, где-то есть проход.
— Нет тут прохода. Сплошная стена.
— Что ж, стену можно обойти или подняться по ней. Он пожал плечами.
К чему он заговорил об этой непроходимой стене? Я бы рассказал ему об испанцах, но он уже встал. Он ходит во тьме, прислушиваясь к чему-то. Я поворачиваюсь к хижине. Оттуда

доносится запах молока и сена. Дверь открыта настежь. Последние лучи солнца задержались на ней.
Стол сколочен из бревен, распиленных вдоль и набитых на четыре буковых необтесанных чурбана. На столе рядом с сумкой лежит мешочек с крупной солью. Я вижу еще ковригу хлеба, завернутую в тряпку, две жестяные тарелки и помятую эмалированную кружку. Кровать — деревянная рама, набитая сеном. У изголовья грубая полка — доска, укрепленная на двух необструганных треугольных подпорках. На ней стоят пакеты с лапшой и консервы, одно яйцо белеет на темной доске.
Модест выходит из тени. Я тоже встаю. Над долиной поднимается слабый туман.
— Мне пора идти, — говорю я.
— Поздно, пожалуй, слишком поздно. Вы и Кампас не успеете пройти, как уже стемнеет.
— Бояться нечего. Тропа хорошая.
— Я бы не сказал. Да вы ее еще плохо знаете. В потемках нужно знать, куда ставить ногу. Ночуйте здесь, еще не так холодно. А то возьмите ключ от моего домишка в Кампасе. Конечно, это вам не люшонские хоромы…
Он смеется, потом отворачивается на мгновение, словно опять прислушиваясь к чему-то. Я благодарю его.
— Ну, как хотите. Может, закусите кусочком сыра перед уходом?..
Я затягиваю ремни на мешке и скручиваю последнюю сигарету. Модест смотрит на Венаск. Тьма густеет. Он внимательно оглядывает окрестности. Кажется, будто он всегда настороженно ждет чего-то. Может быть, именно сейчас надо было бы намекнуть ему, заговорить о медведе. Однако я не решаюсь. Я еще не раз приду сюда.
В самой хижине солнечных лучей все меньше. Лишь узкая полоска света дрожит на столе. Тонкое лезвие со сверкающей рукояткой. Это наваха Бестеги.
Уходя, я снова бросаю взгляд на наваху. Она лежит на столе между хлебом н солью. Это та самая наваха с перламутром на медной рукоятке, о которой мне рассказывали внизу. Модест не режет ею ни мясо, ни хлеб. Для этого у него есть другой нож, старый, с роговой ручкой. Наваха ждет своего часа.
Я выхожу. Позади в густой тьме горит наваха.

II

— Buenos dias [14], Пилар! Не найдется ли у вас чашки шоколада?

— Шоколада, Dios mio [15]. Вы так уж его любите, что ли?

— Я люблю, когда вы его готовите, Пилар!
— Шоколада теперь нигде нет, сеньор, и вообще уже ничего не найдешь. Да не стойте же вы в дверях. Входите. Кладите свой мешок. Какое холодное сегодня утро, я совсем окоченела. Армандо сейчас придет, он за хлебом пошел. А который час?
— Ровно восемь, Пилар.
— И охота же вам вставать в такую рань и таскаться по горам в мороз!
— День будет хороший.
— Если солнце не схватит насморк. Пока что я вся дрожу от холода.
Пилар стягивает полы халата на своей пышной груди. Она подходит к дверям и всматривается в серую улицу.
— Ну, вот и Армандо. Будет свежий хлеб.
— А шоколад?

— Quien sabe?
[16]
Пойду взгляну, не остался ли кусочек. В лавках ничего не купишь.

На пороге появляется Армандо Баррага. Это низенький плотный человек с веселым нравом. На его круглой голове большой берет.

— Привет, senor maestro
[17]
!

— Привет, Армандо!
— Пощипывает сегодня. Вы, наверно, продрогли, пока спускались!
— Что нового?
— Да ничего особенного. Нет ни черта.
Он кладет хлеб на одни из трех мраморных столиков и садится передо мной. Я пододвигаю к нему табак и курительную бумагу. Пилар ушла на кухню. Мы в маленьком темном зале, куда свет проникает только через застекленную дверь, выходящую на улицу Ортанс.

— Gracias
[18]
. Так вы собираетесь к Бестеги?

— Да, к Бестеги.
— За провизией?
— Да нет, так, для удовольствия.
— И что вы только нашли в этой горе! Ведь она самая скудная во всей округе, а вы, как ни посмотрю, все на нее забираетесь!
— Она хороша, Армандо, очень хороша!
— Хороша камнями, но из камней похлебки не сваришь!
— А буковый лес перед пастбищем вы знаете?
Лицо Армандо делается серьезным, он качает головой:
— Да, я знаю его.
Молчание. Городок медленно просыпается вокруг нас. Где-то на дороге из Этиньи громыхают молочные бидоны.
— Со стороны Кампаса пришли наши, — добавляет Армандо.
— За лесом большие луга, а дальше горы стоят стеной, там не проберешься. Бестеги уверяет, что прохода там нет.
— Какой-нибудь да есть. Ведь люди не птицы.
Армандо поворачивается к кухне.

— Эй, Пилар, как насчет завтрака? Сеньор ведь ждет. Пилар, de mi alma
[19]
, увидим мы, наконец, твой шоколад? А? Будет шоколад?

Пилар не отвечает. Доносится ее пронзительный и насмешливый голос:
Abreme fa puerta,
la puerta tan dura.
Donde estб la liave

di tu cerradura?
[20]

Слышно, как она крошит ножом толстую плитку. Она готовит шоколад. Он будет темным и густым, с корицей и гвоздикой. Пилар красивая и дебелая, ее длинные волосы темнее

чернил кальмара. Ее полные, четко нарисованные губы всегда подкрашены. Муж иногда говорит ей: «Пилар, душечка, ты у меня что реклама анисовки».
Армандо называет их — наши. Между тем сам он пришел из Испании еще до войны. Он появился здесь с женой давно. Сначала они торговали фруктами, потом приобрели это маленькое кафе. Каждый раз, как я спускаюсь с гор, я захожу к ним пропустить стаканчик или поесть. Мы болтаем по-испански. Пилар родом из Мадрида, Армандо — из Севильи. Его быстрая речь и мягкий выговор выдают андалузца. Детей у них нет. Они уже немолоды — им под пятьдесят — и мечтают когда-нибудь вернуться в Испанию. От них я узнаю, что делается в городе и окрестных деревнях. Испанцы, осевшие в этом районе, заходят к ним. После перемирия в Люшоне оказались беженцы из разных мест: бельгийцы, эльзасцы, жители северных районов. Они раскупили все, что можно было найти в лавках, и теперь рыщут по окрестным селам в поисках провизии.
Армандо рассказывает о том, что слышал в булочной. Машина, набитая немецкими офицерами, промчалась через город на большой скорости. Она ушла к перевалу Портийон. Это первые немцы в здешних местах. Может быть, они собираются расставить посты вдоль границы? Ведь юг Франции не оккупирован. Демаркационная линия проходит в центре страны и спускается к Байонне, огибая узкую полосу вдоль Атлантического побережья. Так или иначе, они не бросят границу без присмотра.
Я спрашиваю:
— Вы думаете, они оставят солдат в Кампасе?
— Вряд ли, — отвечает Армандо. — Слишком уж там дикие места. Медвежий край.
Медведь. Вот мы и коснулись главного.
* * *
Впервые я встретил Модеста Бестеги однажды утром на террасе перед кафе Армандо. Терраса эта — два круглых столика и пара горшков с бересклетами. Здесь положили медведя, подстреленного накануне. Модест спустился со своей горы взглянуть на медведя. Кто-то около меня произнес:
— А вот и Модест Бестеги из Кампаса.
Он приближался неторопливо, свинцовой походкой горца. Я увидел худощавый силуэт на фоне неяркого осеннего солнца. Смазанные салом башмаки поблескивали при каждом шаге. Через плечо висела сумка, в руке он держал палку из мушмулы. Наклонив сухое, морщинистое лицо с седыми усами, которые скрывали его рот с выступающим вперед подбородком, Модест шел к медведю.
Таким я увидел его в первый раз; но в тот день мы не обменялись ни словом и даже не познакомились. Он спустился из Кампаса, чтобы осмотреть зверя.
Люди расступились и пропустили его.
Зверь лежал на спине. Мощный, хоть и коротковат, как говорили собравшиеся мужчины. Задние лапы его были вытянуты, передние согнуты, словно он приготовился плясать. Голова показалась мне огромной. Из приоткрытой пасти шел отвратительный запах. Накануне вечером на дороге к Портийону его убил сын Баррера. Барреру-младшему было восемнадцать лет, и он впервые участвовал в облаве. Отец взял его с собой, чтобы побаловать. Парню сунули в руки ружье и поставили его на краю дороги так, больше для вида. Кому бы в голову пришло, что медведь повернет к городу и забредет сюда? Правда, зверь уже доказал свою лихость. Он задрал за несколько последних недель трех телок. Знакомый мне таможенный лейтенант как-то говорил, что после Испанской войны медведи стали захаживать в эти места. Он даже утверждал, будто видел их у самого города. Крестьянин из деревни Артиге, где я недавно обосновался, взял меня за локоть и стал рассказывать, как шла облава.
— Вот чертовщина! Собаки, как почуяли след, прямо обезумели и бросились в гору. Охотники поспевали за ними как могли. Все уже решили, что медведь заберется куда-нибудь в самый отдаленный угол. Этого парнишку поставили здесь одного на краю дороги, он вовсе и не ждал ничего. Он был уверен, что и не увидит медведя, что ему не придется и — ружье поднять. Взяли на облаву — и то хорошо, он и тем был доволен. Вдруг он слышит шорох в кустах. Дело было уже к вечеру. Он спокойно оборачивается и думает: верно, кто-то пришел постоять со мной. О медведе он и не подумал. Ружье висело за плечом. И что же он видит? Огромный ком шерсти. Да это же медведь, смекает он. Медведь скатывался к

нему по склону. Медведь, говорю я вам, съезжает прямо на заду, становится на ноги, поднимает морду и ревет. Знаете, и для людей бывалых это не так-то приятно! Медведь встает на дыбы, потом бросается напрямик. Беда! К счастью, парень не из пугливых и глаз у него меткий. Он видит, зверь идет прямо на него и, должно быть, разъярен облавой и хочет уйти от нее. Тут парень не растерялся, встал на колено, вскинул ружье и прицелился. Баррер, отец его, скажу я вам, охотник отменный и сына обучил что надо! Он затаил дыхание и выстрелил. Убил наповал. И вот ведь здорово: медведь упал тут же на краю дороги. И тут малый струхнул, сам признался. Ну, волнение от удачи, и все-таки страшно было. Но он испугался уже после. Молодец парень! Этот медведь много прошел. Он долго кружил по горе, сумел обмануть и собак и охотников и выбрался потом сюда на дорогу… Парень гордится — и не зря. Правда, особого труда он не приложил. Облаву вел не он, ему, как говорится, подали медведя на блюде. Но все же он молодец. Не растерялся перед зверем, а тут есть чего бояться. Нападение медведя — не шуточное дело. Вы и руки не успеете поднять, как он сгребет вас в лапы…

Когда Модест Бестеги подошел к бару Армандо — и тут я увидел, какой он рослый и, худой, долговязый, в истрепанных вельветовых штанах, — люди, столпившиеся там, поздоровались с ним и расступились.

Его хотели пропустить поближе к медведю. Модест поздоровался со всеми сразу, не взглянув ни на кого. Он был занят только медведем.

Он нагнулся и не спеша окинул взглядом животное от морды до хвоста. Он нагнулся к самой пасти н, не обращая внимания на вонь, раздвинул шерсть и мягкие губы, осмотрел и сосчитал зубы, затем обследовал лапы и когти с налипшими комками земли. Наконец он покачал головой и сказал:

— Это не мой.

— Откуда же этот взялся? — спросил кто-то.

— Не знаю. Он пришел издалека, вон как у него стерты лапы.

Собеседник чуть заметно пожал плечами, словно говоря: «Ладно, пусть толкует свое, он ведь помешан на этом».

Бестеги снова подошел к зверю, присел возле него на корточки и добавил:

— Это не мой. Слишком мал. Он хоть и старый, но невелик ростом. А мой — большой. Этот, наверное, забрел издалека, из Испании.

— Да уж, — весело отозвался лейтенант, — для медведей границ нет. Паспортов они не признают.

— Испанские медведи живут впроголодь, — продолжал ровным голосом Бестеги, — они хуже кормится и меньше растут. Во всяком случае, мой больше, гораздо больше. Это не он.

— Да ты его вблизи-то видел, твоего? — спросил лейтенант.

В вопросе звучала легкая ирония. Но Модест не ответил, он поднял голову, разыскивая взглядом парня, который убил зверя.

— Ах ты, черт тебя возьми! — крикнул он. — Это здорово для начала! Поздравляю, парень! Не каждому удается и одного-то подстрелить. Молодец!

Позднее мне довелось сидеть за бутылкой анисовки в компании лейтенанта, Армандо и крестьянина с моей горы. Они мне рассказали о Бестеги. Бездетный вдовец, он жил небольшим клочком земли в Кампасе. Летом он пас овец над селением, на пустынных пастбищах, лежащих у подножия испанских хребтов. Куда больше охотник и браконьер, чем земледелец.

Его отца растерзал когда-то медведь. Об этом часто говорили и по сей день. Как только заходила речь о медведях, тотчас вспоминали Бестеги. Но не всем было известно, что отец Бестеги погиб от когтей и зубов медведя совсем недалеко от своего дома на горе Кампас. Когда в окрестностях устраивали облаву на медведя, всегда звали Модеста Бестеги. Все знали, что он хороший стрелок и будет рад приглашению. Однако со дня гибели его бедняги отца — а случилось это задолго до первой войны — близ Кампаса не устраивали ни одной облавы. Не было ин одной жалобы от крестьян, и ничье стадо в округе не пострадало от медведя. Да и Модест не стал бы просить помощи у лейтенанта из охотничьего хозяйства или у жителей Люшона. Если около Кампаса и обитал медведь, то расправиться с ним было его личным делом. И Бестеги утверждал, что медведь существует

и что он не раз видел его. По словам Модеста, это был огромный зверь, рослый самец. Но этот медведь принадлежал ему одному, и он брался сам его найти и прикончить.
— Вот слушайте-ка, — сказал крестьянин из Артиге. — Бестеги теперь лет шестьдесят пять, а то и больше. Но ему столько не дашь. Он жилист и сух, точно камень. Когда медведь задрал его отца, Модесту было лет десять — двенадцать. Отец его пришел сюда из Нижних Пиренеев, фамилия их тамошняя. Здесь он нанялся дровосеком. Потом взял участок в Кампасе. Это было не вчера, и в ту пору Кампас был богатым селением. Мне мать рассказывала про его гибель, вся округа его жалела. Подумать только — медведь сожрал человека! Даже в те времена это было неслыханное дело… Бестеги-отец был, говорят, здоровяк и такой же высокий, как его сын, но плотнее, шире в плечах. И топором владел славно. И вот видите, господин учитель, медведь все-таки растерзал его. Мать говорила, что Бестеги-отец пошел па медведя с ножом, с испанским ножом — навахой по-ихнему. Эти клинки остры, но они все же слишком малы и тонки, если подумать. Не выручила его наваха. И вот с тех-то пор Бестеги все ищет медведя…
— С этой навахой?
— Да.
— Медведь — зверь опасный, — промолвил лейтенант. — Самый опасный из всех. Он хитрый, ловкий, свирепый. Любой дрессировщик скажет вам, что медведю никогда нельзя верить.
Я повернулся к крестьянину из Артиге.
— Не пойму, за кем же охотится Бестеги? За тем медведем, который убил его отца, или за его потомками? Медведь-то не вечно живет!
* * *
С высоты моей горы открывается вся местность к западу от Арапской долины. Это край и дикий и волнующий. На юге вздымаются цепи сьерры, устремляя ввысь белые клыки. Это молодые горы с острыми шпилями, отвесными скалами, крутыми уступами, на которых лежат нетающие снега.
Пониже видны уже сглаженные вершины, вытянутые ленты лугов, оттесняющих лес, а еще ниже открываются долины — желоба, обтесанные древними ледниками.
Река Пик спускается с Венаска. Она скачет между елями, как девчонка, что спешит на танцы. Между деревьями поблескивают ее украшения; и не знаешь, вода это, снег или блики света. У моста Рави в нее вливаются ледниковые потоки, клокочущие и холодные, родившиеся где-то между Монтарруй и Сакру. В долине Лис река успокаивается и тихо скользит среди полей. Долину замыкает узкая горловина ущелья Бурб. Затем ущелье резко расширяется, и река входит в Люшонский бассейн. Обе мои горы — гора Артиге и гора Кампас — расположены по обоим берегам Пика.
Таков вид, открывающийся из моего окна. Даже в осенние густые туманы и зимой, когда валит обильный снег, я не могу вдоволь насмотреться на эту картину. Напротив моего дома уходит ввысь темная и массивная гора Кампас. Селение Кампас притаилось в скалах, скрывая камни своих жилищ среди камней горы. Я научился угадывать серые и рыжие пятна селения на горе и черные крылья ельников над ним, а еще выше зеленые полосы лугов, за которыми простирается обширный голый край скал и озер, раскинувшийся до пограничного хребта. Порывистый ветер носится над этим пустынным краем и стонет на разные голоса меж камней и вод.

III

Теперь я расскажу вам, что произошло с Бестеги-отцом.
Он поднялся в полночь. Он лежал с открытыми глазами. Он так и не заснул, с тех пор как лег, но не хотел тревожить жену. Она безмятежно спала рядом с ним. Усталость трудового дня заглушила беспокойство. В темноте он не видел женщины — ни ее черных волос, уже тронутых сединой, ни ее медленно вздымающейся груди, ни ее рук, загорелых и огрубевших от работы.

Он же, Бестеги-отец, не сомкнул глаз. Он лежал неподвижно, спокойно, скрестив руки на груди, и выжидал. Когда он решил, что час пробил, он бесшумно поднялся, оделся и вышел. Он осторожно вылез из постели, не потревожив спящую жену. Это был человек в расцвете сил, гибкий и ловкий. Он натянул, штаны и надел широкий черный пояс. Несмотря на холод, он делал все обстоятельно и неторопливо. Руки его не дрожали, дыхание было ровным и неслышным. И женщина не пошевелилась. Муж ушел, а она осталась одна в теплой постели.
Луна, похожая на масленый блин, плыла по небу, но свет ее падал только на верхнюю часть селения. Дом Бестеги остался во мраке, и он знал это. Длинные тени буков и елей тянулись к тропе. Все, кроме линии домов и ближнего леса, тонуло в молочной, пуховой, сахарной белизне. На снежной пелене синели скользящие лунные лучи. А воздух — как бы это сказать? — воздух был невесом, но резал, словно острое, тонкое, злое лезвие. Ветра не было. На ходу чувствовались только цепкие невидимые жгучие когти холода. Словно отточенная бритва, ледяной воздух впивался в лоб, в глаза, в рот идущего… Но ведь настоящему охотнику нипочем и холод и жара. Бестеги-отец не думал ни о снеге, ни о морозном воздухе, ни о круглом диске луны. Он думал только о медведе.
Он знал, что медведь придет обратно Накануне зверь унес у него телку и начал рвать ее недалеко от дома Там оставались еще добрые куски. Зверь придет. Голод заглушит в нем осторожность.
Бестеги не притронулся к убитой телке, чтобы не оставить на ней запаха человека. Медведь почуял бы его, несмотря на мороз
Этот медведь стишком рано проснулся, и вернувшиеся холода застали его врасплох. Он был голоден. Бестеги был уверен, что зверь придет
Горец не мог понять, как это телка вышла из стойла. Сам ли он забыл запереть дверь, или кто-нибудь открыл ее потом. Он допросил жену и сына. Нет, они не открывали хлев Может быть, телка сама сбросила засов головой и вышла напиться? Всякое случается. И вот, на беду, поблизости рыскал медведь. Что заставило его проснуться? Ему полагалось спать наверху, в своем логове на скалах, нагулявши заранее впрок жиру на зимний сон. Должно быть, в теплое время он не отъелся как надо, не запасся жиром. И вот голод погнал его к человеческому жилью.
Словом, так или иначе, телка вышла из стойла, и медведь напал на нее и загрыз. А может быть, зверь бродил вокруг дома? Он спустился в овраг, сунулся к окошку хлева, и телка почуяла его запах. От страха она сорвалась с привязи и бросилась к двери, чтобы убежать. Медведи знают, что их запах внушает ужас. Недаром говорится: пуганый зверь себя погубит. Нередко при хорошей погоде в горах медведи становятся на ветру так, чтобы их запах доходил до стада. Коровы, обезумев, начинают метаться в поисках убежища, часто срываются в расщелину и разбиваются. Когда корова падает, медведь не спеша спускается за ней и пожирает ее.
Бывает, что коровы защищаются. Вместо того чтобы удирать, они становятся в круг и, опустив рога, наступают на медведя. Круг сужается. Коровы топчут медведя. Против целого стада медведь бессилен. Он знает это и не нападает на стадо. Он выбирает отбившееся животное и расправляется с ним.
Было уже за полночь, когда собака издала почти неслышный, какой-то утробный звук и все ее тело напряглось. Бестеги-отец погладил ее, чтобы успокоить. Шерсть на ней встала дыбом от страха и ярости. Значит, зверь был недалеко. Собака почуяла его, и в ней боролись страх и злоба. Бестеги присел на корточки и долго ласкал собаку. Это был умный и храбрый пес, и он понял, что нужно молчать.
Итак, все спали в эту ночь. Жители селения давно забрались под одеяла, пригрелись в постелях. Собаки и кошки посапывали на теплых плитах перед очагом. Легкий дым подымался из труб. Обычно по вечерам женщины прикрывают угли золой, и огонь тихо тлеет до утра. Все спали. Один Бестеги-отец шагал по снегу, и собака скользила за ним безмолвной тенью.
В снежной тишине приближался медведь. Бестеги хорошо знал, что он вернется. Зверь был голоден. Одна ночь пиршества не могла его насытить, запах телки несся ему навстречу
Среди множества запахов людского жилья — горелого дерева, золы, хлеба и муки, капусты

и сала, яблок и груш в амбарах, овечьего пота и человека — медведь чуял запах растерзанной плоти. Он не спутал бы ее с живой

Бестеги-отец, вышел из дому с ружьем в руках и с навахой за поясом. Эта длинная и узкая наваха с медной рукояткой и синеватым лезвием досталась ему от отца, который добыл ее у какого-то испанца-контрабандиста или дровосека. На перламутровом украшении виднелась полустертая надпись: «Honor»
[21]
.

Пройдя еще двадцать шагов, Бестеги присел на корточки, подождал, снова встал и, пригнувшись, медленно пошел дальше вдоль изгороди Он старался угадать и рассчитать приближение зверя.
Хищник осторожно крадется между скалами. Селение еще далеко. На миг медведь вырисовывается на лучном небе, приподнимается на задних лапах, вытягивает морду к сверкающим вершинам и зевает. Человек не может его видеть. Никто не может его видеть. Медведь спускается дальше. Запахи усиливаются. Голод вызывает у него жевательные движения. Он садится на задние лапы и съезжает со снежных склонов.
Он избегает простора полей, залитых лунным светом. Он пробирается в тени деревьев. Озера спят, скованные льдом. Медведь обходит большое озеро Кампас Он чешет мохнатую спину о ствол ели. Снежные хлопья падают на морду, от нее валит пар Медведь облизывается и идет напрямик к селению, к убитой телке, к тому, что от нее осталось. Он весь словно огромный ком шерсти и шелка, упругий, гибкий, легкий. Он движется бесшумно и плавно, точно танцует в ночном мраке. Никто его не слышит.
Почуяв телку совсем близко, он не удержался и глухо зарычал, всего лишь раз. Только голод мог исторгнуть из его пасти этот приглушенный звук, и Бестеги-отец услышал его сквозь деревья и мрак.
Среди горного безмолвия прозвучало только это короткое рычание Издали можно было подумать, что хрустнула ветка, камень треснул от мороза или прошмыгнул заблудившийся зверек… А может, охотнику почудилось или его обманул случайный шорох или стук собственного сердца? Но нет, это был медведь, голодный медведь
Наконец Бестеги увидел его — черное пятно во тьме. Медведь спускался к телке, человек поднимался навстречу медведю. На миг оба они остановились, почти лицом к лицу Оба застыли на месте, превратившись из скользящего пятна в скалу, в занесенный снегом куст
Прижимаясь к ноге горца, трепетала собака. Ярость заставила ее забыть о страхе. Она готова была зарычать и броситься вперед. Человек снова погладил ее, надо было еще подождать.
Бестеги сказал себе: «Он меня не видел, голод ослепляет его; пусть подойдет к телке поближе. Когда он вопьется зубами в свою добычу, он будет в моей власти».
Да, надо было ждать, пока мясо и кости захрустят в прожорливой пасти. Тогда уж медведь забудет обо всем. Он забудет о запахе дыма, одежды и дыхания человека. Его заполнит блаженное ощущение мяса и жира в желудке.
Наступило мгновение, знакомое всем охотникам, последний миг перед нападением, когда уже предчувствуешь победу, когда она почти в руках. Бестеги виделся хищник, простертый на земле, убитый наповал. Вот он бежит к зверю, бросается на него и вонзает нож в его артерию, как свинье, которую закалывают под рождество. Он ощущал уже силу и жар кровавой струи, бьющей из перерезанного горла медведя. Он жаждал отдаться мщению, жаждал погрузить руки в горячую кровь.
* * *
Бестеги-сын поднялся вслед за отцом, бесшумно, не промолвив ни слова. Со вчерашнего дня он тоже все думал о медведе, задравшем телку, и хотел видеть его смерть. Конечно, ему было страшно, как любому ребенку, но он верил в силу рук отца, в его ружье и нож.
Мальчик встал со своего соломенного тюфяка, приоткрыл дверь и тихонько вышел вслед за отцом, держась на таком расстоянии, чтобы не помешать, но и ничего не упустить.
Все произошло стремительно.

Медведь привстал на задние лапы, черный на снегу, массивный и грузный на пушистом лунном ковре. Его поза выражала вызов, угрозу. Он увидел человека и собаку и понял: они пришли помешать ему. Он еле слышно зарычал.
Затем он снова опустился на четыре лапы, напрягшись, точно сжатая пружина, и внезапно бешеным галопом, взметая вокруг себя снежную пыль, ринулся на человека.
Мальчик испустил крик. В тишине селения крик Модеста Бестеги взвился подобно столбу дыма над соломенной крышей. Отец дрогнул, отступил и уронил ружье. В рукопашной нужен был нож, длинная гибкая наваха. Но страшные клыки и когти уже впились в него, и наваха не успела сослужить свою службу.
Крик ребенка разбудил мать. Она сразу все поняла. Она схватила топор, висевший у двери, но руки ее не удержали топора. Сталь грохнулась о каменный порог. Женщина дрожала всем телом. Раненая собака напрасно выла на снежной равнине, где чудовище пожирало Бестеги-отца. Крестьяне подоспели слишком поздно.
Для одного охота кончилась, для другого она началась.

IV

Итак, я познакомился с Модестом Бестеги в начале немецкой оккупации. Он рассказал мне, что после страшной ночи, пережитой в детстве, он несколько раз видел медведя. Он клялся в этом всеми богами. Одни только он и видел его. Зверь обитал наверху среди высокогорных лугов и диких скал. Никто из местных ни разу его не встречал.
Это был, разумеется, не тот самый медведь, но, возможно, его потомок. Или другой такой же крупный хищник, выживший своего предшественника из его владений. В Пиренеях медведей не так уж много, и у каждого из них свои владения. Прогнать его оттуда может только другой самец. Хозяин почти никогда не отступает добровольно. Он либо побеждает в бою, либо гибнет.
Странное дело, Бестеги говорил о медведе так, словно это был все тот же неподвластный смерти зверь. Медведь, который в ту трагическую ночь растерзал его отца. Пастух описывал его всегда одинаково: грузный и в то же время гибкий — чудовище, чьи необычные размеры и мощь челюстей были опасны не меньше, чем его поразительная быстрота и проворство.
Я кивал головой, слушая его, и иногда спрашивал:
— Модест, почему бы не собрать охотников из Кампаса, Люшона или еще откуда-нибудь? Ведь если хорошо организовать облаву…
Модест с грустью улыбался, потом делал решительный жест рукой:
— Нет! Этот медведь мой, и я сам с ним рассчитаюсь!
И мы меняли тему разговора. Когда Модест Бестеги говорил о медведях вообще, он проявлял и здравый смысл и знание дела. Он, как видно, досконально изучил все их повадки. Медведь прожорлив и очень хитер. Мало кто из животных умеет так хорошо запутывать свои следы. Удирая от погони, он безошибочно находит путь, где его следы труднее всего распознать. Он может взобраться по высокому стволу; и пока собаки оторопело лают у подножия, он ускользает, перебираясь с одного дерева на другое. Он способен бежать быстрее, чем несущаяся галопом лошадь. С приближением зимы медведь выбирает себе подходящее логово, но, прежде чем залечь, долго путает следы, петляет и кружит так, что ни собакам, ни охотникам его не отыскать.
Я возвращался к теме о медведе с горы Кампас. Пытались ли поймать и уничтожить его после гибели Бестеги-отца? Да, пытались, но хищник исчез. Нашли ли его следы? Да, по следу пошли, но зверя так и не обнаружили… На все мои вопросы Модест отвечал уклончиво: «Этот — мой, он принадлежит только мне…»
И тогда я думал: правы его односельчане и охотники из Люшона, которые говорят, что стоит Бестеги вспомнить этого медведя, и голова у него сдает. Ужас, пережитый в детстве, остался в его памяти и неотступно преследовал его. Конечно, медведь-людоед давно издох. Но медведь-привидение продолжал, как в кошмаре, носиться и рычать в мыслях одинокого пастуха.

А теперь я расскажу о том, что произошло много лет назад.

* * *

Вернувшись из Тулузы, где он отбывал военную службу в пехотных войсках, Модест женился. Свою будущую жену он встретил на постоялом дворе в Люшоне.

Уже в те времена девушки не очень-то охотно соглашались обосноваться в Кампасе. Слишком уж было высоко, безлюдно и бедно. Даже уроженки Кампаса предпочитали устраиваться служанками или выходить замуж и переселяться в другие места. Модесту повезло — его подруга согласилась перебраться в его дом.

Ее звали Камилла. Она была сиротой и служила на постоялом дворе близ дороги в Сен-Мамэ. Ей неплохо платили, но работа служанки надоела девушке. Она хотела обзавестись собственным домом.

Модест Бестеги был недурен собой. Рослый, крепкий, с приветливым лицом и живыми глазами, парень был видный и выглядел не таким деревенским, как его отец, дровосек. На танцах и на вечеринках он нравился девушкам. Он не пил, считался человеком серьезным, и наверху у него был каменный домик и клочок земли. «Я не богат, — сказал он служанке, — но немного земли и скота у меня есть. Можно купить еще земли. У нас она стоит недорого».

Итак, Камилла согласилась поселиться в Кампасе. Не красавица, не безобразная, она привлекала свежестью и здоровьем. У нее были темные густые волосы, черные глаза южанки, немного резкие черты лица, сочный, красный рот и красивые зубы. Болтали, будто за ней водилось немало интрижек, но Бестеги не обращал внимания на пересуды. Женщина нравилась ему, и он брал ее, не раздумывая. Что было, то прошло. А те, кто шушукается за спиной, пусть повторят свои сплетни ему в лицо!

Потом в четырнадцатом разразилась война, и Модест вместе с другими ушел на фронт. Детей у них еще не было. Он сожалел об этом, но, как и многие, полагал, что война продлится недолго. А после войны жена родит ему сына.

В долинах ударили в набат, и однажды летним утром Модест ушел со своими односельчанами по люшонской дороге. Старики и все, кто не провожал их до вокзала, стояли и смотрели вслед солдатам, их родителям и женам. Молчаливые группы мужчин с мешками и рюкзаками за спиной спускались по крутой каменистой дороге. Впереди бежали мальчишки, каждый новобранец, окруженный родственниками, шел в смазанных жиром башмаках, с дорожной флягой на боку, с палкой в руке.

У последнего поворота, откуда еще были видны серые дома Кампаса, они обернулись и помахали рукой тем, кто остался наверху. Рассветную тишину разорвали прощальные крики, а потом подкованные железом грузные башмаки тяжело зашагали дальше по каменистому спуску. Кое-кто пытался шутить и поносить проклятых пруссаков, с которыми французы управятся в два счета. Только где они, эти пруссаки? Далеко на севере, в неведомых краях. Пока до них доберешься, пройдешь пешком всю Францию.

Мать Бестеги умерла в шестнадцатом году, ранней весной. Когда Бестеги приехал на побывку, ее уже успели похоронить. Это была измученная женщина, которая весь свой век ходила по крутым горным тропам, жала серпом, била мотыгой твердую землю и носила на спине корзины с плодами и картошкой на люшонский рынок.

Чего только она не делала за свою жизнь! С высоких лугов, куда не могли добираться телеги, она таскала на плечах охапки сена. Скошенную траву напихивают в кусок холстины, связывают четыре конца, взваливают груз на плечи и, согнувшись в три погибели, осторожно спускаются по каменистым тропам. Я и теперь встречаю в горах женщин, которые идут вниз, сгибаясь под тяжестью ноши; их потемневшая от солнца кожа шершава, лица и руки точно вырезаны из дерева; в неизменных черных кофтах, в стоптанных эспадрильях они медленно шагают и под знойным солнцем и под моросящим дождем…

Эта женщина пришла сюда с Бестеги-отцом из Нижних Пиренеев. Они долго бродили по горам в поисках работы и жилья. Прежде чем осесть в Кампасе, они исходили вверху и внизу немало горных дорог.

Жена Бестеги-отца всю свою жизнь провела за работой. Даже по большим праздникам, когда трезвонили колокола, она не позволяла себе отдыхать целый день. Забот было так много! Она не знала ничего, кроме работы. Некоторым хоть в молодости удалось

потанцевать и повеселиться, прежде чем впрячься в повседневный тяжкий труд. Ей не посчастливилось: она работала всегда. С ранней зари до поздней ночи ее руки месили, шили, косили, пахали, стирали. Ее первой большой радостью был свой дом — хижина, которую Бестеги-отец подлатал и подновил. Потом она радовалась и гордилась сыном, его ловкостью и силой.
На кладбище Кампаса я подошел к ее надгробному камню с надписью: «Бестеги Берта-Жанна-Мария», — и под травянистым холмиком мне виделся прах этой давно ушедшей женщины, чей образ теряется в далеком прошлом.
Я ничего не знаю об этой женщине, кроме того, что она всегда работала. Я не могу представить себе ее лицо. Я вижу ее широкое и длинное черное платье на пологом лугу, на опушке леса. Я вижу, как ее грубые руки ставят хлебы в печь, как она задает птице корм, как прядет шерсть и полощет белье в горном ручье. Она не умела ни читать, ни писать. Цепь гор замыкала для нее мир. Вот она сгребает граблями сухие листья. Она доит коров и принимает от овцы ягнят.
Вечерами, когда я смотрю из своего окна и прислушиваюсь к дыханию листвы, мне чудится, будто со всех сторон поднимаются призрачные тени крестьянских женщин. Тени слетаются из края Смирения, они встают среди полей и лугов, пронзенные рубиновыми стрелами закатных лучей. Женщины из льда и коры, из тумана и земли. Никто не помнит их имен, да и в них ли дело? Они рожали сыновей, месили хлеб, напевая, баюкали детей, они пекли анисовые лепешки, разжигали огонь и долго поддерживали его по вечерам, они пасли скот и носили мужчинам кувшины и котелки с едой. Накормив мужей и сыновей, они ели последними, стоя возле очага. Они ложились позже всех, бросив взгляд в темноту сквозь запотевшее оконце, и вставали с первыми петухами. Их песни за пряжей исчезли так же, как их юные уста, как грошовое колечко, купленное у бродячего торговца, как их молитвы. Святая матерь божия, помяни этих женщин! О рыбак с Тивериадского озера, не забудь их лица, унесенные пеной горных потоков! Они обратились в глину и перегной, иссохшую кору и пепел. А когда-то они давали начало новой жизни и у них были неутомимые руки тружениц. Но сейчас, когда я пишу, их голоса звучат под моим пером. Их колыбельные шелестят в легком ветерке. Меня наполняют их нескончаемые горести и краткие радости. Мне светят их потухшие глаза. Эти женщины были лоном жизни и началом всего.
* * *
Когда, вернувшись с войны, Бестеги снова поднимался к своему селению, ему виделся, может быть, образ этой тихой женщины. Большими шагами он приближался к своему дому, к жилищу дровосека и крестьянки. Их руки незримо вели его по старым дорогам. То отец мерещился ему у подножия дерева; с коротким стоном он заносил топор, и сталь вспыхивала при каждом взмахе. То ему чудилась мать, окутанная алым светом зари.
Модест Бестеги вышел из Люшона, перед ним встали леса его детства. Навстречу ему с;ни по склонам горы Кампас устремились зеленые и огненно-рыжие реки. Ели, черные, кйк чернила, серо-белые буки, вишни в гранатовых и кроваво-красных пятнах…
Вон стоит вишня… По дороге в селение взгляд солдата — теперь лишь усталость и шинель напоминали ему о службе — упал на дикую вишню. Последние ягоды, перезревшие на уже облетевших ветвях, сморщились. Бестеги остановился и сорвал несколько ягод. Когда он ощутил вкус этой мякоти, присохшей к толстой косточке, ушедшие годы ожили в его душе. Высокие травы закачались под июньским солнцем. Ветер колыхал серебристые кроны тополей, душистые кусты малины.
Зима уже была недалеко, когда горец возвращался в Кампас, но погода стояла прекрасная, и сладостный вкус подсохших вишенок слился с мягкой лаской воздуха и солнца. Прежде чем начать подъем, Модест обернулся к Венаску и залюбовался первым снежным покровом. Четыре года он ждал этой минуты.
Однополчане считали его деревенщиной. Он почти не разговаривал, ел, пил, курил свою трубку и шагал со своим взводом. Говорили: «Марш!» — он шел вперед. Говорили: «Стой!» — он останавливался в грязи или в пыли, с бесстрастным лицом и отсутствующий взглядом. Когда кто-нибудь из начальства спрашивал: «Ну как, горец, все в порядке?» — Бестеги нехотя улыбался и кивал головой. Если его назначали в караул или посылали с поручением, он невозмутимо выполнял приказ. Раз велят — значит, надо делать. На войне приходится подчиняться. И он рыл траншей, стоял на часах, шел в атаку или отсиживался в

окопе вместе с остальными. Он таскал на спине походную кухню, убирал, спал, шагал, бодрствовал. Все видели у него большой испанский нож с медно-перламутровой рукояткой, который он заботливо чистил и поглаживал, как друга. «На что тебе этот нож? — спрашивали у него. — Пускать кровь у бошей?» Он не отвечал и с неопределенной улыбкой пожимал плечами.

Все же он подружился с одним каталонцем, работавшим до войны на сборе пробки в Серданье. Живой, разговорчивый каталонец с грехом пополам научил его читать и расписываться и даже писать каракулями несколько слов. Их всегда видели вместе. Они шагали бок о бок или сидели рядом в землянке, делясь солдатским добром и вспоминая вполголоса родной край, нередко каждый на своем наречии. И хотя они были из разных областей, все-таки оба родились близ Пиренеев, па юге, в недоступно далеких горах. Каталонец был убит в шестнадцатом, когда Бестеги вернулся после побывки, и до конца войны Модест оставался почти в полном одиночестве.

Однополчане расспрашивали его:

— А ты-то сам откуда?

— Из Кампаса, это селение около Люшона.

— Про Люшон я что-то слыхал. А вот Кампас…

— Это в горах. Медвежий край.

Больше из него ничего не удавалось выжать. И даже земляки, — которых ему привелось впоследствии встретить, не заставили его разговориться. Видно, каталонец унес с собой его голос.

* * *

Когда Модест Бестеги вернулся с войны, ему казалось, что леса приветливо склоняются к нему, а потоки, журча, окликают его по имени. Пчелы жужжали у него над ухом, словно говоря: «Тут пасека Дорэ, а вон там рига Сонье. Эти поля принадлежат Сулису, а это жнивье — Помареду. Узнаешь?»

Еще бы! После окопной грязи мирные будни снова оживали перед его взором. Руки сжимали не винтовки или саперные лопатки, а косы и топоры.

Поленницы вдоль тропинок говорили ему о повседневном труде дровосека. Пила проводит черту чуть повыше корней — и вот уже танцует топор, вырубая в дереве треугольную рану. Дерево дрожит, стонет, ветви и листья хлещут воздух, и, наконец, последние волокна рвутся. Ствол клонится медленно, повинуясь воле человека. Тут вступают в дело пила, кувалда и стальные клинья. Бревна перепилены, и расколотые поленья сбрасываются по склону вниз, где их сложат на сани и отвезут в селение. Модест узнавал деревья и дрова. Тяжелый матовый дуб жарко пылает длинными зимними вечерами; бело-розовый бук громко потрескивает в очаге; самшит горит с ослепительным блеском; липа так нежна, что даже ноготь оставляет на ней след; древесина боярышника очень тверда; ель истекает густым соком…

Модест почуял, наконец, запах родного селения. Да, это оно, одно-единственное. На войне он часто старался воскресить в памяти этот смешанный аромат дыма, сена, молока и хлева. Иногда ему казалось, что он вспомнил его, и он подолгу тешился иллюзией, будто чувствуя суровое и в то же время сладостное дыхание родной деревни. Но теперь, когда знакомый запах обволакивал его плотной пеленой, трепетал на его лице и руках, это было совсем другое дело. Он остановился, развел руки и подставил поднятое лицо и грудь волнам, струящимся от полей, деревенских домов и амбаров, полных хлеба.

Зайдите в амбар зимой, когда бледные отсветы снега скользят из отдушин к почерневшим балкам; в горах зерна вы вдруг заметите плоды, сохраненные с осени: айву, продолговатые, коричневые груши, яблоки… Амбар наполнится крепким, опьяняющим дурманом. Мороз отступит В таинственных отблесках снега брызнут фонтаном соки плодов, унося вас к синему небу, сочной траве и к венчикам цветов, напоенным нектаром.

Поднимаясь к себе в селение, Модест остановился. Ноги его дрожали. Он не просто устал от долгой ходьбы, от нескончаемой войны. Воздух родных мест взволновал его, он почувствовал себя слабым, как ребенок Он сел на выступ скалы и вытащил табак.

Там и увидел его дед Сонье. Старик спускался с Кампаса. У поворота дороги он вдруг заметил солдата, который набивал трубку и щелкал зажигалкой. Сначала старик не узнал Модеста. «Солдат? — подумал он. — Должно быть, из наших, а может, приехал

погостить?» Шинель с развевающимися полами, обмотки и густая борода изменили Модеста до неузнаваемости. Сонье продолжал спускаться, размышляя на ходу. «Нет, сегодня как будто никого не ждут в деревне. Никто не извещал. Кто бы это мог явиться?» И вдруг он узнал Бестеги, и сердце старика сжалось. Ведь Бестеги найдет в своем доме беду. Знал ли он об этом? Не для того ли он останавливается то и дело, раскуривает трубку, оглядывается по сторонам, чтобы оттянуть свой приход в селение и, главное, ту минуту, когда он откроет дверь своего пустого дома? Ибо дом Бестеги опустел, Камилла, жена Модеста, ушла. Сообщил ли кто-нибудь солдату об этой беде? Знал ли он, что, перешагнув три шатких камня у порога, он найдет в заброшенном жилище лишь запах плесени и остывшей золы?

Несколько месяцев тому назад Камилла Бестеги ушла из дому с бродячим дровосеком, который повел ее куда-то вдоль Пиренеев, а может быть, и через границу.

Что ж, обычное дело, такие истории случались в каждом местечке. С глаз долой — из сердца вон! Когда мужчина покидает свой очаг, никто не поручится за то, что он найдет по возвращении.

И все же жители Кампаса были удивлены. Хотя прошлое этой женщины было несколько сомнительно, она не слыла безрассудной и ветреной. Всю войну она работала, охраняла дом, ухаживала за скотиной, обрабатывала участок. Она ждала скупые письма, приходившие от мужа, ходила к тем, кто умел писать, и диктовала ответы. Эти ответы выдавали в ней спокойную, домовитую женщину. И вот, когда приблизился долгожданный конец бедствия, когда уже никто не сомневался в исходе войны, она влюбилась и потеряла голову.

Правда, в деревне заметили, что она уж слишком подолгу беседует с дровосеком, шутит и смеется с ним, но мог ли кто подумать, что она возьмет и бросит дом и все хозяйство? Слова никому не сказала и записки даже не оставила. В двери торчал ключ, в хлеву стояла скотина. В деревне ни о чем не подозревали. Люди услышали, как ревет голодная, непоеная скотина, и старик Сонье накормил животных и убрал хлев. Вот беда! Слыханное ли дело — бросить скотину на привязи без ведра воды, без охапки сена! Видно, этот дровосек и впрямь околдовал ее так, что она оглохла и ослепла ко всему на свете, кроме него самого.

Дед Сонье остановился посреди дороги и замахал обеими руками. Сначала Бестеги, погруженный в созерцание родных мест, не замечал старика и его безмолвного приветствия. Наконец он услыхал шаги и с улыбкой поднялся ему навстречу. Старик раздумывал, покусывая усы: «Знает или нет? Может, не хочет смущать меня и притворяется? Могла же она написать ему!»

В конце концов Сонье закричал бодрым тоном:

— Ну вот и ты, Модест! Разделался с этой проклятой войной!

— Да, разделался. И хватит с меня! Дорого нужно мне заплатить, чтобы я туда вернулся. Нет уж, меня туда ничем не заманишь.

— Понимаю, дружище, понимаю, еще бы! Ты из наших первый возвращаешься.

После легкого колебания он добавил:

— Я собирался в Люшон, но это не так уж срочно, Я вернусь с тобой, провожу тебя.

— Да не беспокойся, пожалуйста!

— Какое же тут беспокойство, черт возьми! Я сам рад…

И оба пошли, сутулясь и крепко опираясь на палку, так как подъем становился круче. Миновали поле, старик Сонье заговорил о погоде и об урожае, о том, как тяжко пришлось каждой семье из-за нехватки рук, и о засушливом последнем лете… Сонье упоминал то одного, то другого односельчанина. Он знал, что рано или поздно разговор коснется полей Модеста и его хозяйки. Речь зашла о лесах, вырубленных за годы войны на дрова. Старик еще сильнее стал покусывать кончики усов. Где дрова, там и дровосеки. Много раз бригады дровосеков появлялись в селении и его окрестностях и строили временные хижины, где стряпали свою простую еду.

— Конечно, дров требовалось много, — задумчиво проговорил Модест. — Война все обглодала со всех сторон. Да вот только нехорошо так много леса сводить, земля сохнет.

Старик Сонье подумал: «Зря я за ним увязался. Невмоготу мне ему рассказать. Видно, он ничего не знает».

«Но все-таки, — возражал он сам себе, — пусть лучше узнает заранее. А то если вот так войти в пустой дом, ничего не ведая, можно рехнулся с горя.»
Между тем все обошлось без лишних слов. В какой-то момент, когда оба замедлили шаг, чтобы закурить, Модест Бестеги положил руку на плечо старику. Тот повернулся к нему. Солдат смотрел ему прямо в глаза.
— А что у меня дома? Я давно уже не получал никаких вестей.
Старик Сонье отвел глаза и сплюнул табачную крошку.
— Должно быть, письма не доходили, — продолжал Модест. — В самом конце меня переводили с места на место.
— Бывает, — пробормотал старик.
— Ну так что там? — настойчиво повторил солдат.
— Да там…
Старик покачал головой, опершись обеими руками на свою палку, и ссутулился, пригибаясь к земле. Только что скрученная сигарета плясала в углу его рта. Наконец он пробурчал в свои седые усы:
— Понимаешь, Камилла ушла.
— Ушла? — медленно переспросил солдат.
— Ушла и дом твой бросила, — глухо ответил старик прерывающимся голосом.
— Как она ушла? С кем-нибудь?
— Толком никто не знает. Будто бы с дровосеком, из тех, что приходили сюда валить лес. За твоей скотиной я присмотрел. Она ухожена.
Старик тяжело вздохнул Модест, казалось, не двинулся с места.
— Ну что ж, поживем — увидим, — произнес он странным голосом. Этот голос не вязался с солдатским обличьем Модеста. Он вновь зазвучал по прежнему.
* * *
Жители Кампаса встретили Модеста с большой сердечностью. Он был первым, кто вернулся. Трое были убиты, двое ранены, трое в плену, и несколько человек находились еще на пути к дому. В первый раз после возвращения он обедал у Сонье. Как раз в тот день бабка испекла хлеб. От печи в кухне было тепло. На полу белела мучная пыль. На столе громоздились тяжелые ковриги хлеба. Собрались соседи, кто принес копченой колбасы, кто меду, кто форели. Модест ел со всеми, чувствуя на себе внимательные взгляды. Каждый старался выразить свое участие. Старик Сонье без устали наполнял узкогорлый графин — пурру — и пускал его по кругу, чтобы гости пили вволю. Несколько раз он повторил.
— Самое главное, дружище, — ты дома, да еще при тебе и руки и ноги. Ни малейшей царапины, это ли не везение! Вернулся целехоньким, словно и на войне не был.
Горцы расспрашивали Модеста о фронтовой жизни, и солдат отвечал без лишних подробностей. Все пришлось терпеть — и холод и жару, и голод и жажду. И спал он прямо на земле, и вши его заедали. После демобилизации ему довелось провести несколько ночей на настоящей кровати с мягким матрацем, — так он глаз не сомкнул, привык уже спать на твердой земле. Об атаках, боях, о пушках и снарядах он говорил еще короче. Видно, ему хотелось забыть об этой бойне, и он избегал даже слов, напоминавших ему о ней
Он тоже задавал вопросы. Кто умер, кто родился? Действительно ли истреблено так много леса, как он слышал? Сильно ли уменьшилось поголовье скота?
Когда Модест завел разговор о порубках, старики и женщины, окружавшие его, почувствовали замешательство при мысли о дровосеке, который увел его жену. Однако Модест был, как видно, не очень расстроен. Его гораздо больше заботила судьба родных мест и всего, что жило и росло в горах. Очевидно, не так уж много значила для него эта женщина — она была и ушла из его жизни.
Потом он с беспокойством спросил о медведях. Попадались ли они за это время, не видел ли кто их следов? Нет, ответили жители Кампаса, ни один не попадался. Больше они тут не водятся. Ни пастухи, ни охотники ни разу не замечали медвежьих следов. Должно быть, медведи переселились в другие края. Вдоль границы рубили и возили лес, стоял шум, и они, если и были, наверное, удрали на испанскую сторону или ушли па запад
Никого не удивили расспросы Модеста. Медведь загрыз его отца, и он не мог забыть этого. Еще мальчиком он в одиночку ходил в горы в поисках медведя. Мать звала его, бранила,

пыталась запугать — все было напрасно! Уже в те дни он носил за поясом медно-перламутровую наваху, которой его несчастный отец так и не успел защититься от зверя.
И вот, вернувшись с войны, Бестеги опять толкует о медведе! Словно фронтовые годы не изменили его, словно не было у него другой заботы, как найти это призрачное животное! Война, с которой он пришел, уничтожила больше людей, чем все медведи всех гор на свете. Но Бестеги, казалось, ни о чем ином не мог думать.
Что ж, его можно понять. Он воевал с немецкими солдатами, но не питал к ним никаких чувств. Он не знал их. Он не ведал ни лиц их, ни жизни. Что может значить далекая Германия для бедняка из-под Люшона? Ему дали приказ: «А ну, собирайся, Бестеги Модест! Смажь салом башмаки и ступай в ту казарму, которая указана в твоей солдатской книжке. Так нужно. Таков закон. Иди, а то в Кампас придут жандармы и схватят тебя. Если же ты против, ты должен бежать, укрыться в горах и жить бродягой. В прежние времена, при первом императоре, некоторые решались на это, чтобы избавиться от набора и долгих лет войны. Но тогда ты вряд ли когда-нибудь сможешь вернуться в Кампас».
И он пошел, потому что таков был закон и все ему подчинялись.
Медведя же Модест хорошо знал. Это был его враг. Он изучил его от пасти до кончиков когтей. Зверь отнял у него отца. А перед тем он задрал телку. Медведь был убийца и грабитель, тот, кто лишает тебя плодов твоего труда и самой жизни. Его необходимо уничтожить. Если он останется в живых, то погибнешь ты.
Вот почему Бестеги неустанно преследовал медведя. Он хранил свои замыслы в тайниках сердца.
* * *
Несколько месяцев спустя Бестеги уже ничем не отличался от остальных горцев. Некоторые семьи оплакивали убитых и пропавших без вести. Модест потерял жену, но он был цел и невредим. У него был свой дом и своя земля. Сколько людей охотно поменялись бы с ним участью!
В первый год он занялся землей и оставшейся у него скотиной. Он продал одну из трех своих коров и запасся кормом на всю зиму. Он починил хлев и крышу дома. Односельчане решили, что он собирается выбрать себе другую подругу и готовит для нее жилище.
Никто так и не узнал о судьбе Камиллы Бестеги. Позднее, уже в тридцатые годы, приехал из Арьежа на похороны один из бывших жителей Кампаса; он рассказал, что в его городе умерла какая-то женщина. Ее звали Камилла, как и жену Бестеги, и она была из-под Люшона. Больше этот человек ничего не мог сказать, ибо ему не удалось разузнать о ней подробнее, но он счел за благо известить Модеста, который выслушал новость без малейшего волнения.
Итак, Бестеги забыл эту женщину, и ее образ не терзал больше его сердце; прошло много лет.
А может быть, мысль о ней — мертвой — не трогала его. Он любил ее живой и такой хотел удержать в памяти. Есть же люди, которые отказываются смотреть на лицо усопшего, стремясь сохранить в душе его облик таким, каким они его знали в счастливые времена.
Но все это было не совсем так. Теперь я могу сказать об этом. На самом деле до последнего вздоха Бестеги любил Камиллу, и любил ее, как верную жену.
Во время наших вечерних бесед он не раз говорил о Камилле, и она оживала для нас обоих. В жару очага, трепетавшего у наших ног, возникал образ этой любви: темные глаза, губы, как мальва, длинные угольно-черные волосы и улыбка, светлая, как весна.
Ветер завывал за окном, сотрясая двери, шевелил солому и сено в сарае. Под его мощными порывами шелестели вороха иссохшей травы, и эти звуки воскрешали свежесть лугов и радость лета. Ветер выл в дымоходе, как разъяренная собака; но вот под ровный низкий голос Модеста перед глазами встало ясное утро с пьянящим запахом травы, и высокие колосья, гибкие, как девичий стан, покачивались на слабом ветру.
Модесту не верилось, что жена его сбежала с дровосеком. Люди всегда готовы выдумать басню и увидеть зло там, где его нет. Просто жена его заблудилась в горах. И там… кто знает? Там ее настиг и растерзал медведь…
Что? Опять медведь… Второй раз медведь покусился на одну и ту же семью? Я втайне удивился. Не мог же медведь затаить зло против семьи Бестеги!

Модест ни разу не дал прямого ответа. Он произносил два — три бессвязных слова, а если я вынуждал его объясниться поточнее, он начинал бормотать в усы что-то совсем уж невнятное. Из его сбивчивых фраз получалось, будто жена его поднялась почти до вершин пограничных хребтов — то ли накосить травы, то ли присмотреть за овцами. И там медведь подстерег ее и загрыз.

Он унес ее, как сказочный дракон уносит королеву. Может быть, склонившись над угольями, старик тешил себя мечтой, что однажды утром королева вернется к нему из края лесов и скал, как бывает в сказках…

Однако по рассказам я знал, что через несколько недель после возвращения с войны, перед началом больших снегопадов, Бестеги отправился на охоту. Он исчез на пять дней, и в деревне решили, что он спустился в Люшон. Ему случалось и прежде уходить на сутки и ночевать в какой-нибудь харчевне, в сарае или невесть где. Но тут соседи встревожились и уже собрались было начать розыски, когда на закате он появился на тропе, спускавшейся с вершин, обросший, возбужденный, в изорванной одежде, с исцарапанными руками.

Он сказал, что видел медведя и пошел за ним. Да, видел, и очень близко. Однако медведь не принял боя, и крестьянин пустился по его следам. При нем был лишь кусок хлеба, ружье и испанский клинок. Ему пришлось долго идти, бежать, карабкаться по скалам, переводя впустую порох, а зверь без устали бежал себе рысцой, словно издевался нал ним.

В конце концов в совершенно недоступном месте медведь исчез из виду, и охотник пошел обратно.

Теперь я хочу рассказать историю об озере Кампас. Мне говорил о нем Модест, но мой рассказ был бы очень неполон, если бы я удовольствовался тем, что он сам сообщил мне. Мне снова и снова пришлось, не подавая виду, выспрашивать его, дополнять то, чего он недоговаривал, и, наконец, разузнавать кое какие подробности об этой истории у других жителей деревни

* * *

О светлые пиренейские ночи… Они полны дорог. Мысль словно птица летит над кедрами, буками и елями, почти касаясь зубчатого края горного хребта. Под натиском человеческой мысли рассыпается сплошной барьер скал. Задушевный голос Пилар переносит меня в Барселону.

— Улицы там узкие, сеньор, узкие, старые, темные. Там торгуют сушеной треской, маслинами, миндальной халвой и пастилой из айвы, кастильским сыром и связками кровяной колбасы. Ну и народу на улицах! Кто бренчит на гитаре, кто продает лотерейные билеты. И вот вы идете и попадаете вдруг на Пласа Реаль. Какое сокровище, сеньор, прямо жемчужина! Площадь старинная, шафранно-розовая, с высокими пальмами и каменными скамьями, которые стоят там с незапамятных времен. Вы останавливаетесь, закрываете глаза, и вам чудится, будто Испания счастлива… Ах, сеньор учитель!

Мысли птицами летают взад-вперед над горами. Пилар несет меня на их крыльях из Барселоны в Валенсию, из Валенсии в Гранаду. А из Гранады к яшме и мрамору колони Кордовы.

— Сеньор, сеньор, во дворце Альгамбры жены султана купались в мраморных бассейнах. Когда они отдыхали, слепые музыканты услаждали их слух. Выбирали только слепых, дабы они не видели их наготы.

Вот заговорил Армандо. Мы сидим в кафе. Зимний туман стелется по улице Ортанс. Гудит печь. Узкая щель печной дверцы краснеет в полумраке, словно ярко накрашенные губы. Голос Армандо звучит неторопливо и серьезно:

— Если будете в Гранаде, сеньор учитель, посетите Альгамбру; туда входят через ворота Правосудия. Это квадратная башня, высотой более двадцати метров, с аркой в форме подковы, на ней вы увидите высеченную из белого мрамора руку, которая воздета к небу. За первой аркой идет еще одна, и на ней изображен ключ. Рука и ключ. По верованиям мусульман, этим ключом открываются двери в рай. Каждый палец руки соответствует одному из столпов веры. Говорят, сеньор учитель, будто в древние времена, задолго до постройки Альгамбры, на этом холме жил старый мавританский царь. Однажды явился к нему могущественный волшебник. Он оказал царю множество услуг, помог ему победить всех его врагов. И царь спросил: «Чем же я отплачу тебе?» Чародей ответил: «Подари мне первое вьючное животное, которое войдет сегодня в твой сад, а с ним и его ношу». Царь

сказал. «Ладно, будь по-твоему. Я дам тебе то, что ты просишь». И что же, на первом муле, который вошел в сад, сидела любимая наложница царя. Он отказался отдать ее. Тогда чародей засмеялся и взмахнул рукой. Рухнули стены и ворота. Ключ и рука соединились. Разверзлась пропасть, чародей и красавица исчезли в ней. И земля сомкнулась над ними. Вот и вся легенда, сеньор учитель. Она прекрасна. Прекрасна и печальна. Но она не окончена. Говорят, объятый горем старый царь долго, много лет спустя, все еще прислушивался к земле, и в неведомых ее глубинах ему слышалось журчание родников и фонтанов, женский смех и пение ветра в невидимых померанцевых рощах. Словно в самом сердце земли цвел сад.

V

Высоко над горными пастбищами Кампаса разбросано множество ледниковых озер. Обычно они невелики и походят скорее на пруды. Древние ледники выщербили поверхность гор, а отступая, оставили во впадинах эти ясные глаза, смотрящие в небо. Близ селения есть озеро, больше и глубже прочих. Его называют озером Кампас. В нем водится немного форели, но купаться там нельзя даже в самый зной. Вода озера ледяная и чистая, как хрусталь. На берегах выступают плоские плиты розового и серого цвета, а к середине прозрачные воды отливают синевой.

Чистый овал озера Кампас лежит в ложбине среди полого спускающихся лугов. Горные ветры не задевают его, и на поверхности озера почти не бывает ряби. Летом оно сияет, как голубой драгоценный камень, осенью — как жемчужно-серое зеркало в ржавой отраве лесов и трав. Зимой оно скрывается под белой пеленой.

После первой мировой войны в Кампас приехала молодая учительница, мадемуазель Буайе. Она была родом из Сен Годенса, только что получила диплом и была направлена в эту далекую деревню.

Школа, в которой ей предстояло работать, помещалась в доме, недавно купленном общиной. Дом был отремонтирован, оштукатурен и побелен, полы перестелены, крыша покрыта новым шифером. Класс помещался внизу. Две комнатки второго этажа отвели для преподавательницы…

В то время в Кампасе насчитывалось около тридцати учеников. Позднее, когда многие разъехались, число их сильно сократилось.

Мадемуазель Буайе было не больше двадцати лет. Она была невысокая и стройная, черноволосая, с тонкой талией, высокой грудью и изящными маленькими ногами. В глубине ее больших бархатисто-черных глаз сияло теплое пламя. Многие в селении были бы не прочь приударить за ней, но люди разузнали, что в долине у нее остался жених.

Учительница любила свое дело, это сразу было видно. Ее работа не ограничивалась уроками. Она проводила целые дни с учениками, и даже можно сказать — со всем селением, заглядывала в дома, беседовала с крестьянами, входила в труды и заботы каждой семьи. В длинные зимние вечера она собирала взрослых неграмотных — таких нашлось немало — и учила их читать и писать. Модест Бестеги был в их числе, а позднее мадемуазель Буайе давала ему читать несложные книги.

Жители селения заранее огорчались, предвидя, что она уйдет, так как знали по опыту, что учителя, назначенные в горные села, не задерживались там больше года. Они стремились перебраться в другие места, не столь недоступные и более благоустроенные.

Однако в конце учебного года мадемуазель Буайе объявила, что она пока останется в Кампасе. Ей правилось здесь. На вопрос о будущей свадьбе она отвечала уклончиво. Ее жених кончал срок военной службы в Германии.

Снова начался учебный год. По горам разлилось мягкое осеннее тепло. Бестеги частенько проходил мимо школы с косой или топором на плече, погоняя коров или толкая тачку. Огибая узкий школьный палисадник. Бестеги слышал голос учительницы, размеренный и ровный во время диктанта, оживленный и звонкий, когда она объясняла уроки. Громкое и четкое постукивание мела о грифельную доску сопровождало ее слова. По утрам на первом уроке малыши читали хором. Время от времени, услышав ошибку в слове или интонации,

учительница стучала линейкой по столу и монотонный речитатив прерывался. Она рассказывала, читала сама, и снова вступал певучий хор малышей.
Бестеги замедлял шаг. За кустами астр, через окно, полуоткрытое в теплую октябрьскую погоду, он видел платье учительницы, расхаживающей взад и вперед около кафедры. Когда настала пора дождей и тумана, окна школы закрылись. Проходя мимо здания, он слышал гудение печки. Хор ребячьих голосов и слова учительницы доносились словно издалека.
Зима в тот год продолжалась недолго, и вскоре окно классной комнаты снова открылось. Дети приносили учительнице пучки вербы с пушистыми сережками, первые нарциссы и фиалки. Трава росла дружно, предвещая обильное сено. Дожди хорошо промочили почву. Если к сенокосу установятся солнечные дни, амбары будут полны. Те, у кого было мало скота, решили, что неплохо бы увеличить стадо. И в самом деле, июнь выдался на диво, и крестьяне без помех скосили все луга.
Именно в это время Модест стал замечать, что мадемуазель Буайе изменилась. Она реже заходила в дома, пускалась в одинокие прогулки. И смех ее казался теперь как будто принужденным, неестественным. Когда ее застигали врасплох, лицо ее выдавало тайную думу. Нередко она подолгу сидела за столом, держа перо в воздухе, неподвижно, в глубокой задумчивости. Бестеги расспросил почтальона и узнал, что письма от жениха приходили все реже. На ярмарках в долине жители Кампаса узнали от тамошних, что помолвка мадемуазель Буайе расстроилась. Итак — любовные невзгоды. Кое-кто пожимал плечами: «Это пройдет, она молода. Один суженый ушел, появится другой…»
Бестеги нравился голос учительницы, стройные линии ее фигуры, удалявшейся по горным тропам, и темное пламя ее взгляда, и он постиг то, чего другие не поняли: далеко в горах она кого-то ищет. И может быть, и у нее есть свой тайный замысел.
Но вернемся к озеру Кампас.
* * *
Как-то в июне, перед самым началом уроков, Бестеги услышал смех девушки. Он увидел ее в школьном саду с двумя учениками — Бертраном Помаредом и Розой Сонье.
Бестеги замедлил шаг и поднял руку, здороваясь с ней. Учительница знаком подозвала его.
— Вам известно, что у нас происходит, Модест?
Она смеялась. Искры плясали в ее черных глазах.
— Откуда же мне знать? — спокойно ответил Бестеги. Он приблизился, вошел в садик и положил тяжелую руку на кудрявую голову Бертрана Помареда.
— Здесь происходят странные вещи, — продолжала она. — Роза и Бертран только что рассказали мне.
— Какие же такие вещи, мадемуазель?
— Да просто невероятные.
— Любопытно бы послушать!
— Даже не знаю, говорить ли вам.
Модест взглянул на детей. Бертран Помаред опустил лицо, красное от смущения. Роза Сонье серьезно и с упреком смотрела на учительницу, и во взгляде ее читалось: «Зачем она потешается над нами? Мы к ней пришли с открытой душой, а она смеется и готова вышучивать нас с первым встречным».
— Так в чем же дело? — промолвил горец.
— Вот в чем. Эти двое отправились к озеру с косарями. И знаете, что они там увидели?
— На берегу озера?
— Да нет же. В самом озере, на дне. Ну-ка, догадайтесь, что они там увидели.
— На дне озера? Что ж можно там увидеть? — спокойно спросил Модест.
— Не угадали?
И учительница снова рассмеялась. Ее чистый смех звенел в утреннем воздухе, напоенном свежестью листвы, цветом липы и акации. Смех жемчугом рассыпался вокруг.
Модест стоял невозмутимо, но сердце его вдруг забилось, он сам не понимал почему. Сверкающие глаза учительницы завораживали его, словно огонь драгоценных камней.
— На дне озера? — повторил он.
В ее смехе он почувствовал не насмешку над детьми, а нервное напряжение и желание побороть что-то в своей душе.

Лицо ее снова стало серьезным. Она положила тонкую смуглую руку на плечо Розы Сонье.
— Расскажи нам все, что вы видели. Ну, говори же…
Девочка встрепенулась под ее ласковым прикосновением и посмотрела на Бестеги.
— Дома! — прошептала она.
— Дома? — удивился он.
— Да, дома…
— Какие еще дома?
— Белые
— Ну как же ты…
И он замолк, чуть заметно улыбнувшись.
— Это правда, — убежденно и рассудительно промолвил Бертрам Помаред. — Мы видели дома. Дома совсем белые, мы их очень хорошо разглядели.
Модест покачал головой.
— Да нет, это не дома Это отблески в воде — просто свет дрожит в глубине. Когда сидишь на берегу озера и прищуришь глаза, то чего только там не привидится. Вот и облака так же. посмотри на них внимательно, и они начинают походить то на одно, то на другое. На людей, на животных, на деревья, словом…
— Но у нас глаза были совсем открыты, — возразила Роза. — Мы не сумасшедшие. Мы прекрасно видели дома.
— Вам это показалось, — сказал Модест, — только показалось…
Учительница подмигнула Модесту, словно говоря: «Они забавные, эти дети! Не будем их прерывать…»
— Дома из белого камня, это сущая правда, — продолжала Роза Сонье. — Я пошла с отцом на покос, и Бертран пошел со своим. Наши участки рядом — оба близко от берега.
— Да, я их знаю, — вставил Модест.
— Так вот, мы с ним играли и подошли к самой воде. И тут Бертран говорит мне: «Смотри, ты ничего не замечаешь?» Я нагнулась и увидела их. Белые дома…
— Из мрамора? — спросил Модест.
— Может быть.
— Большие?
— Да, большие.
— Как у нас в деревне?
— Да. И даже еще больше.
— Не может быть. Ведь дома…
— Мы сначала подумали, что это отсвет от родника, или течение огибает камни на дне, или форель плещется. И мы вчера опять ходили туда Дома стоят, как и раньше.
Лицо учительницы замкнулось, глаза ее смотрели в сторону горы. Едва заметная улыбка снова мелькнула на ее губах. Она тихо спроста.
— Дома из белого мрамора. Вы уверены, дети?
— Да, мадемуазель, — отозвались два голоса.
— А на улицах между этими домами нет ли людей, машин?
— Нет, — ответила Роза, — никого нет. Только дома с дверями, окнами и колоннами.
Модест пожал плечами.
— Вы, наверное, видели такую картинку в книжке, и вот вам почудилось, будто вы видите все это в воде. Это похоже на сон. Ну откуда на дне озера Кампас появиться городу? Ни с того ни с сего?
В тишине ясного июньского утра просыпалось селение. Светлый лазурный купол повис над горами. Пение петухов неслось прямо в небо. Вслед за петухами пробуждались все будничные звуки деревни. Кто-то стучал молотком, кто-то точил косу, кто-то колол дрова. На невидимой дороге скрипела телега. Мадемуазель Буайе устремила взор к лесу. Там, за деревьями, таинственное озеро ждало гостей. О чем думала учительница? О белых домах, погребенных на дне? Или о других, живых домах? Или о чьем-то лице, которое все удалялось от нее, становясь воспоминанием?
— Дело простое, — продолжал Модест, — чтобы проверить, надо туда сходить. Я верю только своим глазам.

— Сегодня днем мы прогуляемся туда, — сказала учительница. — Если мы все увидим дома, тогда…
— Я приду попозже, — сказал Бестеги. — Я должен еще скосить сено внизу…
Он усмехнулся.
— Но если там в самом деле есть дома, сообщите мне об этом, мадемуазель, как можно скорее!
И, подняв косу на плечо, он двинулся по тропе тяжелым, мерным шагом.
* * *
Сразу после полудня учительница пустилась в путь вместе с учениками. Чтобы добраться до озера ближним путем, они пошли напрямик лесом. Устав от солнца и крутизны подъема, они устроили привал в тени буков.
Роза Сонье и Бертран Помаред не отходили от учительницы, переглядываясь с видом заговорщиков и стараясь поймать ее взгляд.
Девушка решила с пользой провести этот короткий отдых и пустилась в объяснения. Дети оживленно отыскивали листья, цветы, травы, которые она раскладывала затем на своей юбке, чтобы описать их и сравнить Она рассказала о том, как растение дышит через листья, как в цветке завязывается плод. Она показала им различные виды листьев, простые и зубчатые. Все это не походило на обычный урок, и учительница, казалось, не учит, а просто беседует с детьми.
Когда мадемуазель Буайе и дети спустились к озеру, солнечные лучи заливали его струящимся золотом. Издали нельзя было различить, где глубоко, где мелко. Ветер стих. Среди оголенных лугов лежал зеркальный сверкающий овал. «Какой покой?» — прошептала девушка.
Внезапно птица пересекла долину, плавно пронеслась над самой водой, затем снова взмыла ввысь и исчезла за темной зеленью леса. На ее черном оперении блеснули золотые крапинки. Она появилась со стороны селения и, нежно скользнув по глади озера, пропала среди буков.
Дети заспорили — что за птица, дрозд или ворон? Бертран Помаред заявил, что никогда подобной птицы не видел. Учительница вмешалась, сказав, что пролетел обычный дрозд, просто перья его заблестели под лучами солнца. Она очень хорошо разглядела его желтый клюв.
Уже вблизи озера мадемуазель Буайе, Роза и Бертран опередили остальных.
— Ну, вот мы и пришли, — сказала она с улыбкой. — Ничего никому не говорите, не кричите. Если вы увидите дома, не показывайте своего удивления. Посмотрим, что увидят другие.
Она обернулась и подождала остальных детей. Ее гибкая, стройная фигура выделялась на зелени травы, на багряном блеске вод. Солнце окружило сиянием узел ее черных волос, сверкавших, как крылья исчезнувшей птицы. На голубом серебре озера вырисовывался ее профиль: высокий лоб, тонкий с горбинкой нос, рот цвета спелой малины. Приставив ладонь к глазам, она всматривалась в окрестности. Ни души. Косари уже прошли по этим местам. Вокруг озера простирались скошенные луга. Какие мысли бродили в голове девушки?
* * *
На нашей земле существуют потонувшие селения и даже целые города. Их поглотили безмолвные глубины озер и морей. Воды сомкнулись над их кровлями. Огромные валы устремились на стены. Потоки ринулись к неподвижным фасадам домов. Может быть, произошло землетрясение, а может, гора расщепилась надвое или океан вдруг вздулся и громадные волны двинулись на жилье человека. А иногда сами люди воздвигают плотины и, давая свет тысячам сел и деревень, погружают другие селения в подводный мрак.
II все же есть люди, которым это доступно, которые слышат звон колоколов, доносящийся со дна. Морякам, старухам, матерям случалось останавливаться внезапно на берегу непроницаемых вод, и их чуткое ухо улавливало низкий гул бронзы, крестильные молитвы, погребальное пение, любовные вздохи и песни прях и пастухов. И это не простой вымысел.
«Нет, это не вымысел, — думала девушка, подходя к озеру. — Ведь сны говорят иногда правду. Почему детям вдруг померещился белокаменный город, впадина на дне с рядами просторных домов? И разве только под водой бывают мертвые юрода? А недра Земли?

Сколько дорог и других следов человеческой жизни скрывается в них! Свидетели терпеливого труда — обломки кувшинов и орудий, полустертые профили на монетах, зола давно угасших очагов, кости съеденных животных, фундаменты и даже стены домов, окаменелые останки тех, кто жил и любил… И пыль, даже пыль может быть красноречивой Безымянные песчинки, серо-красный прах — вот все, что осталось от стольких дерзновений и помыслов.
Гора постепенно утрачивала свое безмолвие. Пустынные пастбища покрывались дорогами Воображение учительницы вызывало тех, кто некогда пересекал здесь границу: погонщики мулов, привозившие испанские вина, угольщики и дровосеки, бродячие торговцы шелком, тонкой шерстью и перламутровыми пуговицами, возчики с грузом зерна, шафрана, красок, беженцы, солдаты и паломники, идущие в храм Сантьяго-де-Компостела.
Они прошли, и след их на земле затерялся, как след птичьих когтей, скользнувших по поверхности озера. На склонах, на лугах, где когда-то находились селения каменотесов и кузнецов, разрослись колючий кустарник и лесная малина.
Быть может, прежде эта опушка видела, как решались споры на ножах, как встречались возлюбленные. Но все исчезло, и воцарилась тишина
Роза Сонье подошла к воде. У самого края она вскарабкалась на скалу и осторожно нагнулась. Потом она обернулась и незаметно поманила Бертрана Помареда. Оба склонились над озером.
— Роза, Бертран, осторожнее! — крикнула учительница.
* * *
— И что же, по-вашему, нашлось на дне озера? — продолжал Модест. — Не город же, в самом деле! Откуда там ни с того ни с сего возьмется этот неведомый город? Ребята увидели в глубине большие плоские плиты, блестки слюды и мелькание форелей Сказать по правде, ничего там больше нет. Но детям чудится… да что дети, не только им, взрослым тоже. Когда я наверху стерегу овец, мне часто случается следить за облаками или разглядывать снега на склонах Венаска, и я могу увидеть в них что угодно: профили людей, дома, разные орудия… Так что я повторяю вам: сынишке Помареда и Розе Сонье попалась, верно, картинка в книжке, и им померещилось, будто они видят то же самое в озере. Эта учительница уехала от нас на следующий год. А она была хорошая. Добрая и красивая была у нас учительница. После нее учителя у нас не задерживались. Они оставались на годик, а то и на полгода и даже меньше, а потом требовали перевода. Как наступали дожди и снега, они только и мечтали о долине… Так о чем я говорил? Мадемуазель Буайе томилась сердечной печалью. Ее суженый ушел к другой. Не знаю, куда она потом подалась. Кажется, устроилась в Тулузе. Никто из наших больше ее не видел. Однажды вечером я встретил ее на берегу озера. Это было, конечно, до ее отъезда. Так вот однажды… Может, и она хотела еще раз посмотреть, нет ли там города. Я вышел из дому и направился к озеру. Люблю побродить в хорошие дни. Возьму с собой табачку и пускаюсь в путь. Дорогой я иной раз ставлю силки, но главное не в них, а в самой прогулке. Так вот, в тот раз я добрался до самого озера. Погода стояла прекрасная, полнолуние, и светло как днем. Сенокос уже кончился, никто меня не ждал, срочных дел не было. Я поел супу и отправился не спеша в сторону хребтов. На обратном пути я решил идти мимо озера. Ходить по горам лучше всего в такие ночи. Вдыхаешь все запахи разом: сено, ель, липа, мята, малина. Да еще свежесть проточной воды. Скалы за день накалились на солнце и ночью согревают воздух. Если уж говорить начистоту, эта девушка походила на женщину, которой я лишился. В лунном свете мне казалось, что это она и есть…
Когда Модест шагал к озеру, он вдруг вспомнил о звере. Зверь мог притаиться где-то во тьме, совсем рядом, и следить за ним. Но, поразмыслив, охотник пожал плечами. В июньские ночи медведи не спускаются к жилью человека. Им хватает еды на верху.
Модест шел легким шагом. Его веревочные подошвы беззвучно касались травы. Залитое ярким лунным светом озеро чуть заметно колыхалось. Далеко за деревьями раздался жалобный и призывный крик птицы, бархатистый и страстный, как голос любви. Крик смолк, и тишина показалась еще более глубокой.
Невдалеке от берега Модест присел на траву и закурил. Мысль увлекла его к белым домам, которые привиделись детям в прозрачности вод. Мраморные колонны, чистые улицы, королевские дворцы… В мечтах воплощены сокровенные желания. Жилища этих детей

сложены из грубых камней, они крыты соломой или шершавым черным шифером. Дети действительно увидели этот город, но лишь им одним было дано его видеть.
Далекая птица снова отозвалась во мраке. То был не грозный крик ночного хищника, то взывала любовь: «Приди, мой друг, приди, моя голубка… Я хочу, чтобы руки твои протянулись мне навстречу. Твои щеки нежны, как цветок апельсина. Когда мои губы касаются твоей груди, я ощущаю чудесные лепестки магнолии, белые и чистые. Ты смыкаешь руки на моей шее. Тесно и жарко прижимается ко мне твое тело. Ты невесома, как пух, и сладостна, как мед. Ты нежна, как вербена. Твое прикосновение обжигает, как снег. Я беру тебя на руки, я несу тебя. И тяжела и легка моя бесценная ноша».
Любовный призыв доносился из леса; он летел по бесчисленным дорогам, он трепетал над озером. В нем звучал голос родника под диким ирисом, аромат цветущей липы и малины и приглушенное воркование лесной голубки.
Модест хотел было идти дальше, как вдруг чья-то тень скользнула по лужайке к неподвижному озеру Кто-то прошел по тропе, что вела из селения.
Это была учительница, и пастух тотчас узнал ее. Темным пятном она отделилась от ночного мрака. Лунные лучи коснулись ее черной шерстяной шали, черных волос и черных глаз. Она подошла к воде и наклонилась. Модест затаил дыхание. Она выпрямилась и пошла вдоль берега к более глубоким местам. Модест спрятал огонек сигареты в кулак, вспомнив вдруг, что этот жест сохранился у него с времен войны.
Девушка нагнулась над водой. Что она искала там — белый город или смерть? Он почувствовал, что бледнеет, вся его кровь отхлынула от сердца. Девушка наклонилась ниже, из глубины на нее смотрело женское лицо; черные глаза смотрели из озера в глаза живом женщины. «О голубка моя, друг мой!..» Любовный призыв ночной птицы зазвенел в ушах пастуха.
Словно большое крыло пронеслось над озером и лесом. Это был даже не ветер, а неуловимое движение замершего воздуха; вздрогнули листья и травы, очнулись и затрепетали невидимые цветы, розы в далеких садах, созвездия жасмина, венчики жимолости, зеленые ели и липы.
Модест почувствовал, что он здесь наедине с этой женщиной, что среди горных просторов нет никого, кроме него и этого черноглазого, черноволосого цветка, чей облик так близко напоминал пастуху его прежнюю любовь, только был еще краше и нежнее. И не быть никогда ни войне, ни беде Там, где в лунных лучах стоит эта девушка, царят светлая ночь, пение лесного голубя и напоенный теплом июнь.
Вдруг ему показалось, что она вот-вот бросится в воду. Модест вскочил. Девушка протянула вперед руки, как будто собираясь нырнуть или ласково коснуться кого-то. Модест окликнул ее. Он сам не узнал своего голоса. Она вздрогнула и отпрянула назад. Густая тень опять поглотила ее, но опасный шаг был позади.
Широкими шагами Модест Бестеги двинулся к ней. Он не переставая говорил. Он хотел удержать ее, развеять наваждение звуками своего голоса. Он сам не узнавал его. В его голосе звенел призыв влюбленной птицы, шорох густых ветвей и шелест легких листьев, в нем была дразнящая сладость цветушей липы, шелковистая нежность березовой коры, смолистая томность ели.
А птица все пела. «Мои уста коснутся твоей груди, словно чудесных лепестков магнолии». Увидев рослую фигуру горца, девушка успокоилась. Она узнала его. Он шел к ней, высокий и прямой, как дерево, сошедшее с места. Он говорил о прохладной ночи и о том, что скоро поднимется ветер. Но ветер не поднялся. Иное дыхание нарушило тишину; оно донеслось из недр пространств и времен. В небе сиял усеянный звездами Млечный Путь. Модест шел к женщине. В неподвижной тишине озера и лесов, в самом сердце благоуханной ночи оставались только они — мужчина и женщина.

VI

Чуть стемнеет, я часто слышу гитару Пабло. Его самого не видно в темной комнате, закатные лучи ласкают только его руки — руки и струны гитары. Сухие матовые руки на золотистых вибрирующих струнах. Испанец задумчиво напевает на кухне Модеста. Трудно уловить грань между мечтой и действительностью в его речах и песнях. Он знает бессчетное множество народных мелодий, и не всегда поймешь, поет ли он знакомые песни или импровизирует. По временам слова теряются в неопределенном «тра-ла-ла», пока Пабло сочиняет продолжение. Иногда в его пении можно разобрать лишь неясные фразы или просто отдельные слова, обычные в народных песнях: noche, lirios, amor, corason
[22]
. Кажется, будто он нанизывает подряд все эти amor, corason, rosas, noche
[23]
, а затем заменит или переставит словечко и снова звучит: sangre, noche, rosas, amor
[24]
. И слушатель и певец волен примыслить к этим словам что угодно: ветреную женщину, насмешки или ревность любовника, клятвы, удар кинжалом… Аккорды гитары негромко вторят словам и мыслям.

Начали появляться беженцы из Испании. Они приходили в Люшон, но не через Кампас, а другими путями. Граница близ Кампаса была неприступной. Добравшись до Люшона, они растекались по долине, по ближайшим селам. Никому не приходило в голову карабкаться в Кампас. К этому времени население Кампаса заметно уменьшилось. Молодежь не оставалась там. Люди семейные перебирались вниз в поисках более плодородной земли. Мужчины находили работу на заводах внизу в долине, а женщины — в гостиницах. Много домов стояло заколоченными, и нотариусы без особой надежды вывешивали объявления об их продаже.
Колючий кустарник завладел селением, лес теснил луга. Старые тропы косарей и пастухов заглохли. Леса, которые раньше старательно очищались и в которых собирали листья на подстилки скоту, заросли терновником. Сорняки невозбранно заполнили поля. Старики вспоминали, что прежде из долины можно было видеть дома Кампаса — на склоне горы они выделялись среди зеленых квадратов лугов и полей. Теперь же буйный кустарник стер очертания человеческого жилья. В селении осталось всего лишь несколько семей, а в школе не набиралось и полдюжины детей. Учителя отказывались здесь работать.
Дом Бестеги, однако, стоял нерушимо. Несколько лет назад Модест заново оштукатурил стены. На следующий год он возил тачки со щебнем и мешки с известкой. Односельчане снова решили, что он собирается привести снизу хозяйку. В том же году он вдруг стал прикупать землю. Люди, уходившие в долину, уступали ему за бесценок свои участки полей, лугов и леса.
Отец Бестеги пришел в это селение босой, с пустыми карманами, в единственной рубахе. В ту пору вся земля была занята. И. вот теперь его сын мог приобрести, сколько хотел, хоть целый склон горы. Вероятно, вначале он упивался этой возможностью: «Куплю-ка я лужайку около дома да еще фруктовый сад у брата Помареда, который ушел на завод в Сен-Годенс, а заодно верхние луга поближе к хребтам — там овцам будет привольно». Благоразумные старики, утратившие иллюзии, твердили: «Бестеги, друг, не можешь ведь ты разорваться. Чтобы обрабатывать землю, нужны руки, машины в наших местах не годятся, а чтобы заняться лесом, нужны хорошие дороги». Модест только посмеивался. Он считал, что управится и найдет женщину, которая разделит с ним его труды.
Однако, вдоволь насладившись сознанием, что он землевладелец, и обойдя из конца в конец свое имение, Модест приуныл. На него свалилась пропасть забот. Картофель был плохо окучен, пшеницу глушили сорняки, капуста и репа не уродились. Он решил нанять работника для ухода за скотом, но никто не соглашался перебраться в Кампас. Только лодыри и проходимцы шли к нему, да и те уходили через две недели. В долине работа была легче, и за нее лучше платили.
И тогда Бестеги смирился. Он продал большую часть своих коров и позволил кустарнику разрастаться вволю. Снова, как прежде, он начал бродить по горам. Из всех своих угодий он обрабатывал огород, гречишное поле и небольшие участки овса, капусты и репы. С

наступлением теплых дней он собирал овец со своего селения и даже из долины и уходил на высокие пастбища близ вершин. Время от времени он запирал дверь своего дома и пропадал по нескольку дней. Его встречали в харчевнях Люшона. Но иногда он исчезал невесть куда — видно, искал уединения. Он был уже не молод, волосы его серебрились сединой, но ноги были по-прежнему сильными и выносливыми. Замечая его крепкую фигуру высоко на уступах горы или на опушке леса, крестьяне говорили, опираясь на рукоятку лопаты: «Смотри-ка, вон Модест охотится!» А если вы спросили бы их: «На кого же он охотится?» — вы бы услышали: «Охотится — и все. На куницу, на горностая, на лису. Или на медведя. А может, охотится за временем!» Старики добавили бы с усмешкой: «А время — дичь неверная. Бежишь за ним и никогда не схватишь».
Я говорил о приходе испанских беженцев… Их встречали в Люшоне и в селах в долине. Модест не мог представить себе, что они одолеют путь через хребет по неприступной крутизне, скалам и снегам. Только медведи и другие хищники бродили там. И хотя селение Кампас находилось совсем близко от Испании, оно было отрезано от нее больше, чем любая деревня в долине. Кое-где в Пиренеях местные жители слышали грохот залпов и ружейные выстрелы. Вместе с ветром до них долетал страшный рокот войны. Но в Кампасе нерушимо царила тишина, и — трудно поверить — война в Испании долго представлялась жителям Кампаса непонятной и далекой.
Крестьяне говорили, что испанцы — народ горячий, но отходчивый и что через несколько недель бои прекратятся так же быстро, как начались. Генералы стоят за короля, а простой люд не понимает, что к чему. Никому не верилось, что там идет настоящая война с армиями, окопами и боями, по всем правилам. Должно быть, просто отдельные кучки бунтовщиков поднимали мятеж то тут, то там. Потом, когда пришли достоверные сведения, их те же не приняли близко к сердцу: ведь все это происходило где-то в Испания, по другую сторону гор. Время шло, кое-кто стал толковать, что ладо бы послать туда пушки и самолеты. Модест возражал: «Какого черта лезть не в свое дело? Если наши пошлют туда оружие, война будет тянуться еще дольше».
И все же однажды ранним утром в конце марта Модест Бестеги увидел испанцев из своего окна. Кучка оборванных людей появилась в рассветном тумане словно прямо из горы. Сначала он не поверил своим глазам.
Люди брели по тропе, которая вела с вершин. По промокшим эспадрильям и платью было видно, что они шли по снегу и по воде. Должно быть, они ночевали в расщелинах скал, сбившись в кучу, точно овцы, а наутро снова пускались в путь. Они перевалили через хребет в самом высоком месте и теперь спускались в долину.
Глядя на обросших мужчин и женщин с давно не чесанными волосами, па их лохмотья, землистые лица с лихорадочным блеском в глазах, можно было подумать, будто это не живые люди, не мужчины и не женщины, а клочья тумана, порождение низко нависших облаков. Цвет их лиц и одежды сливался с цветом стволов и придорожной пыли. Как им удалось пересечь эти горы? Даже в разгар лета, когда снега отступают, хребет оставался непреодолимым.
Модест пил кофе. Стоя перед узким окном кухни, он по обыкновению высовывался из него и пристально вглядывался в окрестности. Держа обеими руками чашку, он видел перед собой покрытую грязью тропу, бродячих котов и собак и поджидал, пока проснется селение.
И вдруг среди безделья и тишины, точно из-под земли, явились эти мужчины и женщины и направились к его дому.
Заметив строения, беженцы на миг остановились. Бестеги увидел, как они замерли в нерешительности, качнулись кто вперед, кто назад, точно тряпичные куклы. Затем двинулись дальше тем же усталым, свинцовым шагом. Руки их опирались на палки, палки натыкались на камни дороги. Селение, внезапно выросшее перед ними из тумана за поворотом тропы, показалось им сном. Они уже не надеялись добраться до человеческого жилья, не ожидали найти его так скоро. Первый дом на их пути, дом Модеста, встал перед ними, как призрачное видение, а не как обычное жилище с очагом, где пылал огонь, с печью для хлеба, с котелком супа, с запахом сажи и еды.
Модест вышел на порог, закрыл за собой дверь и стал смотреть на пришедших. Он не боялся их, но за пояс он заткнул медно-перламутровую наваху.

— Эй, вы, откуда вы идете этой дорогой? — спросил он.
Один из них выступил вперед и на ломаном языке сказал, что они беженцы и пришли из Испании.
— Из Испании через хребет?
Модест повторил свой вопрос несколько раз, помогая себе руками.
— Через хребет? Через эту гору? Вон той дорогой?
Человек кивнул головой и подтвердил:

— Si, si, senor, si… Por la montana… Tuy alta… Si… Tuy dificil…
[25]

Он объяснил жестами, что они замерзли и изголодались и что дети очень устали. Это, впрочем, Модест понял и сам, но он был так изумлен, что не сразу открыл перед ними дверь Он разглядывал пришельцев, мужчин и женщин — среди них были старики лет шестидесяти и старше и трое ребят лет двенадцати — и бормотал себе в усы:
— Вы пришли с той стороны! Вы сумели перевалить через эту гору! Вот уж этого я не мог себе представить, черт возьми! Не может быть! Беженцы еще не пробирались по этим местам!
Один из испанцев смотрел странным взглядом, лицо его было исполосовано розовыми шрамами, на которых не росла борода. Он нес через плечо какой-то длинный пузатый предмет, завернутый в грязную тряпку. Модест сообразил, что это гитара.
Первый испанец продолжал говорить на своем невозможном языке, и Модест понял из его слов, что им пришлось бежать в горы и тут уж было не до проводника и не до поисков хорошей дороги.
Я слышу гитару Пабло, хотя никогда не видел его самого. Ее струны трепещут в полумраке на опушке леса, под снегами Венаска, алыми в лучах заката. Гитара дрожит, как сердце, готовое раскрыться. Ее звуки разлетаются брызгами, точно алые зерна спелого граната. Кроны деревьев на склоне колышутся волнами, но не ветер волнует их, а мелодия, могущество звуков и слов. Склонив голову, Пабло чуть слышно напевает:
Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir,
voces antiguas que cercan

voz de clavel varonil.
[26]

Голос его прерывается от кашля, пение умолкает, но рука продолжает пощипывать струны, и гитара глухо гудит. Модест одобрительно кивает. Ему непонятны слова, которые напевает или бормочет испанец, но ему кажется, будто перед ним встает незнакомая ему страна. В памяти оживают рисунки, виденные в книгах, и рассказы путников. Он старается представить себе апельсиновую рощу, арбузное поле, виноградники Хереса и Малаги, чьи названия опьяняют и жгут, как вино.
На кухне Модеста Бестеги испанцы теснились у очага, где пылала огромная вязанка хвороста. Они молча высушили свои лохмотья, не спуская глаз с чудесного пламени. В это время Модест рылся в кладовке и в кадке для солений. Он выставил на стол все свои припасы: большую ковригу местного хлеба, початый окорок, кусок сала, несколько луковиц, чернослив, сморщенные яблоки и бутылку виноградной водки. Он отдал им все, что мог, из одежды: поношенные рубахи, ждавшие починки, старые брюки, одеяла. Одна из женщин помогла ему сварить кофе. Молока не хватило на всех, и ему причлось запять у соседей.
Вскоре жители Кампаса и сам мэр собрались к Модесту взглянуть на испанцев, одолевших горный хребет. Они уже не раз встречали беженцев на улицах Люшона или на полях в долине, где испанцы помогали приютившим их семьям, но тут было совсем другое дело. Эти испанцы совершили немыслимый переход, и крестьяне вглядывались в их суровые, худые лица, словно видели беженцев впервые.

Они не ели уже двое суток. Трудно было даже себе представить, как эти люди карабкались по неизведанным кручам, проваливаясь в сугробы, цепляясь за выступы скал, лишь бы добраться до Франции. Некоторые были родом из долины Арана, другие из Мадрида и Барселоны, один из Севильи. Жители Кампаса мысленно рисовали себе картину Испании. Когда испанцы поели и отогрелись, семьи Кампаса распределили их между собой. Мэр заявил, что следует предупредить жандармерию. Тогда беженцы стали переговариваться друг с другом: как видно, слово «жандармы» испугало их и они готовы были снова уйти в горы. И в самом деле, в тех местах, куда стекалось особенно много беженцев, как, например, в Аржелесе, в Восточных Пиренеях, для них были устроены лагеря. Там они жили в переполненных бараках за колючей проволокой, под охраной жандармов и полицейских.
Испанец, знавший несколько слов по-французски, сказал, что за еду и жилье они будут работать, а если в Кампасе не найдется для них дела, они готовы уйти в другие деревни. Большая часть была сразу направлена в Люшон. Несколько человек остались в Кампасе до сенокоса, а потом ушли в долину в поисках родных и друзей. В конце концов от всей этой группы испанцев в Кампасе остался только один, по имени Пабло Рамирес. Он с первого дня поселился у Бестеги. Это был тот самый человек с гитарой и со шрамами на лице. Модест приютил и кормил его. Шрамы появились у Пабло Рамиреса от осколков гранаты: граната разорвалась прямо перед ним и лишила его зрения. «Ах, Модесто, — говорил испанец, — разные бывают гранаты!»

VII

Итак, Пабло Рамирес обосновался в Кампасе у Бестеги. Постепенно люди привыкли видеть его на кухне или на пороге дома Модеста то за мелкими домашними делами, то с гитарой в руках. Он лущил бобы, чистил картофель или морковь и даже вязал не хуже женщины. В Испании в госпитале сиделка научила его вязать, чтобы занять руки. Слепой ловко перебирал спицы и к зиме связал для Бестеги фуфайку из грубой пиренейской шерсти.
В хорошую погоду Модест ходил с ним в горы. Испанец всегда брал с собой гитару. «Это моя память и мои глаза», — говаривал он.
Звуки его гитары раздавались на опушке леса, среди пастбищ или на скалистом выступе напротив снегов Венаска. Ее аккорды перекликались с бубенцами овечьего стада, с журчанием быстрых потоков. Крестьяне не удивлялись больше, заслышав среди горного безлюдья приглушенные или бурные звуки его песен.
Иногда Бестеги уводил слепого в далекие прогулки по дороге к вершинам. Обогнув озеро, Модест усаживал Пабло поудобнее лицом к югу.
— Где мои края? — спрашивал испанец.
— Вот, прямо перед тобой. Отсюда вы пришли к нам.
— Значит, солнышко, которое меня пригревает, светит из Испании?
— Да, оттуда.

— Bueno, bueno!
[27]
— восклицал Пабло.

И под пальцами слепого звучала песня во славу родной страны, невидимой вдвойне, ибо Пабло не мог видеть даже стены гор, за которой она скрывалась.
Пабло Рамирес вздыхал.

— Модесто, amigo mio
[28]
, не могу же я оставаться у тебя всю жизнь.

— А куда тебе идти? Если ты не вернешься в Испанию, то нигде тебе не будет лучше, чем у меня. Куда ты хочешь идти?
— Не знаю. Я не могу отработать даже то, что съедаю!
— Я еще, слава богу, могу прокормить и тебя и себя, — отвечал Модест, пожимая плечами. — Пока у нас хватает и картошки и каштанов… Зерна для птицы и травы для кроликов тоже достаточно. А уж дров столько, что и на продажу хватит!
По вечерам они иногда заходили к соседям. Пабло рассказывал о своей жизни, об Испании Он был каменщиком и жил в деревне под Валенсией. До войны у него была жена и двое детей, и он сам построил себе дом 18 июля 1936 года радио Сеуты, захваченное мятежниками, бросило в эфир слова, послужившие знаком к началу восстания «Над всей Испанией безоблачное небо». Пабло мечтательно повторял эту фразу, словно вглядываясь мысленным взором в небесную лазурь, опрокинутую над полуостровом. Над всей Испанией… Гарнизоны Севера и Наварры, древней Кастилии, Барселоны и Севильи восстали против Республики. В мадридских казармах вспыхнули бои Пабло записался в пехотный полк в Валенсии…
Я никогда не слышал голоса Пабло. Я улавливал его в рассказах Модеста, да и не только в них. Бродя по горным тропам меж озер, вдоль большого озера Кампас, под серыми колоннами буков, по мягким травам склонов, я иногда внезапно оборачивался, словно на чей-то зов. Позади или совсем рядом со мной с тихим стоном дрожали струны гитары. Я устремлялся на этот звук и находил лишь солнечный блик или островок мха. То ли дыхание ветра шевельнуло низкие ветви елей, то ли донесся дальний рокот водопада, но я отчетливо слышал переливы гитары. Травы и воды гор впитали ее песий и, подобно тростнику царя Мидаса, повторяли их одиноким путникам. Краткий вздох, вырвавшийся из груди Рамиреса, оживал и реял вокруг меня.
Как-то раз я ощутил его присутствие тек явственно, что поднес руки ко рту и крикнул. «Пабло!. Пабло!» Мне казалось, что вот-вот фигура слепого испанца поднимется среди зарослей и шагнет ко мне, что моего слуха коснется его голос, голос сердца и родного края, его простодушная неправильная речь, вызывающая в памяти запах ванили и пыльных дорог, жасмина и нагретой на солнце соломы, кровяной колбасы и прохладного арбуза…
— Ах, друг, то, что случилось в Испании, случится и у вас, если вы не спохватитесь вовремя. У нас беда, но она может и к вам прийти. Конечно, дружище, Испания — не Франция. Но ведь каждому мила своя земля. Франция хороша и богата. Испания тоже хороша, но у нас больше камней, чем пшеницы, больше коз, чем коров. Засуха убивает нас, а лучшие земли отведены под корриду и под выпас для быков. И у нас есть свои богатства. Говорят, в наших недрах много металлов. Я когда-то ходил недолго в школу, и учитель заставлял нас учить наизусть слова одного испанского короля. Этот король говорил, что Испания — божий рай. Пять мощных рек орошают ее — Эбро, Дузро, Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир. Они обнимают высокие горы и обширные земли; долины и равнины широки и просторны, а добрая почва и обилие вод рождают на них несчетные плоды И повсюду для жаждущих есть плоды земли и чистые родники… Вот что сказал Альфонс Мудрый. Он-то думал о дарах природы. Что же мне сказать? Что грянула война и что совсем не такой страды мы ждали. И впереди предстоит совсем иная страда.
Так говорил Пабло, сидя у очага с Модестом и другими горцами. Так он рассказывал о своей жизни, пока солнечные лучи скользили по лугам и лесам. В тот день, когда мне почудился трепет струн и я поднес ладони ко рту, окликая испанца, из кустов вышел Модест. Мне казалось, он остался дома, но он нагнал меня и, услышав зов, вышел из колючих зарослей с грустной усмешкой. Вопреки моим ожиданиям он не удивился и не сказал: «Вот как, вы зовете Пабло… Вы зовете его, как будто он может вернуться!» Модест промолчал и повел меня к своему стаду. Потом я узнал, что в том самом месте, где я звал испанца, на одной из последних лесных полян, уже недалеко от озер и скал, Модест в последний раз видел своего товарища.
* * *
Я сижу в своей тесной комнатке, над классной. Конец весны. По долине Люшона гуляет пиренейский ветер. Он сотрясает деревья вокруг школы, проникает до самых низин, вихрем проносится по шиферным кровлям и взмывает к горе Кампас. Я распахиваю окно. Влажный гул ветра охватывает меня. Листы бумаги летят со стела, голубоватое пламя карбидной

лампы резко вздрагивает. Сегодня авария — выключили свет. Ветер изгоняет запах газа и наполняет комнату ароматом нарциссов и влажных фиалок. Склоны пестрят фиалками. Как-то раз я набрел на целые россыпи нежных цветов, укрывшихся под выступом скалы. Подходя к ним, я твердил себе: «Не может быть… столько фиалок сразу! Это, наверно, колокольчики или еще какие-нибудь цветы». Но то были именно фиалки, широкий, пышный, благоуханный ковер…

Я высунулся в окно. Я слышу, как внизу во дворе звонкая струйка воды падает из крана в деревянную колоду, выдолбленную из целого ствола Ветер подхватывает и раскидывает брызги, врывается в гущу яблонь, раскачивает ветки, унизанные хрупкими снежинками. Ветер уносит нежные венчики вверх по горе, словно рассыпает цветы на пути молодоженов.

Деревня спит, я один не ложусь. Чуть позже я выйду из дому. Я услышу глухое дыхание в хлевах. Из узких улочек повеет мягким теплом. Я пойду медленным шагом. Не только из осторожности, но и Для того, чтобы полнее ощутить на плечах и на лице ласковое дыхание деревенских жилищ, уютный запах молока и сена. На кухнях дремлет между собакой и кошкой, точно провозвестник мира, плотно укрытый огонь. Женщины укутали жар золой. Трехногие табуретки окружают очаг. Темная кадка с солониной стоит в холодке у дверей. Буфеты очень старые, с поставцами, где теснятся тарелки, коробки, бутылки, кукурузные початки и зимние яблоки, желтые и морщинистые. Головешки изредка потрескивают, собака ворчит во сне, стенные часы хрипло звонят по временам, а их медный маятник подхватывает на лету пурпурные отсветы замирающего пламени. На коричневом столе тысячи зарубок и пятен. Ножи, нарезавшие сало и хлеб, испещрили его бесчисленными бороздами. Края стола покрыты щербинами и трещинами Женщины месят на нем тесто для пирогов и фарш для свинги колбасы. Мужчины раскладывают бумаги с печатью нотариуса. По вечерам после работы они садятся к этому столу, опираются о него огрубевшими руками и мечтают над стаканом вина у затухающей печки. Дети готовят за ним уроки.

О старые жилища, покрытые шрамами, полные теней! Все они на одно лицо в этих горах, но, по правде говоря, дома трудового люда, хранители огня, воды и хлеба, во всем мире похожи друг на друга.

В эту ветреную, тревожную ночь дома как будто увещевают меня: «Стой! Куда ты? Вот надежные стены, горячие угли под золой, хлеб, вода в кувшине. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Кто теряет дом, теряет все».

Прежде чем выйти на улицу, я заглядываю в классную комнату. Ее единственное окно смотрит на долину. Посреди комнаты возвышается грубая чугунная печка. Труба пересекает потолок по диагонали. Старая, выцветшая карта Франции висит на стене. За каждым из длинных, много послуживших столов садятся четыре ученика. В глубине класса между книжным шкафом и стеной аккуратно сложены последние дрова. На них лежит тряпка для пыли и жестянка для воды,

В школе Кампаса такая же классная комната, тот же запах мела, чернил и дыма, но все куда более запущено и убого.

Я собираю разбросанные бумажки и бросаю их в холодную печь. Затем я открываю дверь, и снова меня обдает влажный ветер. Я иду на условное место.

* * *

Вокруг меня весенняя ночь, а где-то бушует война. Ничто не говорит здесь о войне, а между тем она бродит совсем рядом. Селение спит, и кажется, что так же спят все деревни и села. По безмолвным улицам проносятся порывы ветра, влажные, напоенные смолой и фиалками. Я выхожу из своей комнаты глубокой ночью и спускаюсь с горы обходным путем. Иду напрямик через поля и сады, стараясь не наткнутьси на дозор пограничников или жандармов.

Ищу взглядом гору Кампас и вижу на фоне неба ее массивную круглую вершину. Что-то делает сегодня ночью Модест? Спит или мечтает? А может быть, пошел по дороге к хребтам по следам Рамиреса? С тех пор как испанец ушел от него, Модест состарился на десять лет. Он сам это признает.

Быть может, он поднялся во мраке, опоясался, как его отец, черным ремнем, взял свой извечный медно-перламутровый нож и открыл дверь навстречу смутной, трепещущей ночи. И вот он идет своим крупным мерным шагом в медвежий край. А может быть, он спит и

беспокойно ворочается на своем тюфяке из маисовых листьев и что-то бормочет. Ему грезится Альгамбра, о которой рассказывал испанец, облицованный' мрамором двор, где древние мавры украсили водоемы лепными изображениями львов. Струи фонтанов рассыпаются жемчугом и звенят, как струны гитары. Эта Испания, близкая и далекая, впервые открылась ему из рассказов Пабло, то полных чудес, то полных ужаса и горя. И я внимаю голосу Рамиреса.

— Модесто, amigo mio, я был ранен в Теруэле 1 января 1937 года. Шли мы с Тринадцатой бригадой. Эта бригада была сформирована в Валенсии наспех. Все нам приходилось делать наспех, на ходу. У нас были старые пушки и старые винтовки самых разных марок. Боеприпасов не хватало, а те, что были, часто не подходили к калибрам оружия. Тринадцатая бригада носила имя польского генерала Домбровского В нее входили поляки, немцы, французы, бельгийцы… Ну а теперь вот что я тебе расскажу. Мы получили приказ прорвать фронт между Уэской и Теруэлем Уэска, видишь ли, находится по ту сторону Пиренеев, не доходя до Эбро и Сарагосы. Представь себе треугольник — Лерида, Сарагоса, Уэска. На севере — Уэска, к морю — Лерида, к югу — Сарагоса. Если пересечь Эбро, то к югу от Сарагосы будет Теруэль. Те стояли в Теруэле, всякого довольствия и хорошего снаряжения у них было вдоволь, да еще из Сарагосы им шло подкрепление. 27-го мы атаковали, а 28-го первые дома Теруэля оказались в наших руках. Но ненадолго! Те отбивались как бешеные. Мы атаковали снова, но в конце концов Теруэль остался у них вместе с моими глазами Вот там-то я успел насмотреться на войну… Представь, подходят наши части к Теруэлю. Идем по предместью. Все кругом брошено, вымерло. Ни тебе человека, ни собаки, ни курицы. Двери в домах где открыты, где заперты, стекла перебиты. Холодно. Некоторые дома разрушены снарядами. Один из них догорал, и около него было жарко. Верхушки деревьев снесены… Те отошли малость назад. И вдруг, едва лишь мы вступили на площадь, засвистели пули. Они летели из дома напротив — старинный дворянский дом с балконами из резного дерева и шитом над двустворчатой дверью. Вот с этого момента я помню все, точно это было вчера. Пули так и свистели. Рядом со мной сержант поднял руку — верно, хотел отдать приказ. И тут же упал навзничь как подкошенный. Пуля попала ему в лоб, да так точно, что он и крикнуть не успел. Вот хорошая смерть… Огонь все усиливался, и нам пришлось отступить. На площади перед домом был фонтан, но вода не текла из него — должно быть, трубы были попорчены во время предыдущих боев. В середине старого каменного бассейна стояла фигура святой девы, источенная временем и пулями. На руках у нее не хватало нескольких пальцев, но голова была почти не тронута. Лейтенант Клаустро, пожилой уже, опытный и хладнокровный, нагнулся к ручному пулемету. Мы лежали в пыли под прикрытием полуразрушенной стены. Он дал приказ пулеметчику перебраться на огневую позицию за фонтаном. Он велел ему пересечь площадь и залечь за бассейном под защитой святой девы. Я решил, что Клаустро шутит насчет святой девы. Но этот кастилец был сух и невозмутим, как всегда, и я не понял выражения его лица. Противник стрелял с балкона, забаррикадированного мебелью и матрацами. Из слухового окна под самой кровлей тоже вели огонь. Пулеметчику и второму номеру надо было пробежать полсотни метров до фонтана. Вот оба бросились. Я так и вижу их эспадрильи и облака пыли за ними. За них я не боялся, я верил лейтенанту Клаустро. Он всегда рассчитывал точно и берег людей. Пулеметчик добежал и растянулся под прикрытием бассейна. Второй номер упал. Мы слышали, как он стонем, скрючившись и обхватив руками живот, куда угодил свинец. Клаустро бросился к нему и втащил его обратно, но слишком поздно. Он передал нам раненого, молча взглянул на нас и побежал к пулеметчику, который уже стрелял. От фасада старого дома отлетали щепки и камни. Несколько очередей попало в щит над дверью. Наши пули мягко застревали в матрацах и подушках, закрывавших балконы и окна. Через изрешеченную ткань разлетался пух, и ветер нес его к нам, точно хлопья снега. Было сухо и морозно, и солдаты дышали в кулак, ожидая атаки Клаустро благополучно пересек площадь и лег рядом е пулеметчиком. И в этот момент подушки на балконе раздвинулись, образовалась щель и оттуда полетело что-то похожее на банку с вареньем. Лейтенант обернулся к нам и крикнул:

— Ложись!

Банка с вареньем оказалась бомбой. Она разорвалась около фонтана. Голова святой девы покатилась, и солдат рядом со мной зло и жестко рассмеялся. «Они снесли голову своей святой деве!» Это был пастух из Арагона, невысокий, коренастый, загорелый дочерна…
* * *
Мелкий дождь щекочет мне лицо. Почти неприметный в воздухе, он с успокоительным шорохом монотонно барабанит по молодым листочкам орешника. Его брызги обдают холодом, но он хорошая завеса — в мглистой пелене сливаются все контуры. У меня за спиной возвышается гора и деревня Артиге, где я живу. В таинственном ночном мраке стелется благоухание елей и цветов. Мои мысли возвращаются к войне. Идет война. Она существует, бродит около меня и, может быть, поджидает меня на перекрестке у вокзала. Она вцепится мне в плечи и швырнет меня оземь. Ее чугунный узор навис над невидимым горизонтом.
Крутой спуск кончается, я выхожу на ровную дорогу в Люшон. Я прохожу мимо вокзала, где мигают зеленые и фиолетовые фонари, и углубляюсь в лабиринт улочек, ведущих к кафе Армандо. Я иду крадучись. В узких желобках журчит светлая горная вода. Я подойду к дому Армандо не по улице Ортанс, как обычно, а задними дворами.
Я еще не знаю, кого мне пошлет случай. Три или четыре человека приедут врозь с последним вечерним поездом либо другим путем. Они сойдутся у Армандо и будут ждать меня. Так работает цепочка. В первый раз мне достался англичанин-парашютист. Армандо приютил его на несколько дней, а затем я вывел его на дорогу к Бозосту, расположенному уже на испанской стороне. В тот день все сошло благополучно, но не всегда же так будет: пограничные посты усилены.
Я спрашивал Модеста, можно ли пробраться через границу по горе Кампас. По его словам, это очень трудно. Он знает другие тропы и проведет этих людей к Бозосту или еще куда-нибудь. О переходе через Кампас лучше и не думать. Так или иначе, он предложил взять к себе столько человек, сколько потребуется. Их можно спрятать в его хижине па пастбище, а если нужно, то и выше. Туда уж никто не сунется, даже жители Кампаса. К тому же все привыкли видеть Модеста со мной на горных дорогах. Мы уже давно бродим вместе по этим местам удовольствия ради.
В Люшоне появились первые немцы; они расставили посты по всем горам, кроме Кампаса. Никому и в голову не приходит, что там можно пробраться.
Я перескакиваю через низкую ограду и иду садом за кафе Армандо. В доме тишина, света не видно. Но, как только я подхожу, дверь сама открывается передо мной. Как видно, Пилар поджидала меня. Ее маленькая сухая рука хватает меня за плечо и втаскивает в помещение.

— Dios mio!
[29]
Как вы промокли! Входите быстрее! Я дам вам полотенце. Рубашку тоже придется снять. Сейчас будет кофе. Perfeciamente, senor maestro!
[30]
Настоящий кофе! Que maravilla!
[31]
Я достану свитер Армандо.

— Сколько их?

— Четверо, вы сейчас их увидите. Все обошлось благополучно Но сначала вам нужно подсущиться. Два англичанина с полными карманами молотого кофе. Вы ни на кого не наткнулись? Псчезло нам, что у нас сегодня выключили свет. И у вас тоже? Здорово. Слышите запах кофе? Que delicias!
[32]
Да входите же. Печка топится. Сейчас позову Армандо… Армандо, hombre del diablo
[33]
, достань-ка живо расческу и свитер. Сеньор учитель промок до нитки… Подумать только, настоящий кофе!

Пилар говорит торопливым шепотом, смеется, суетится, подгоняет мужа, трет мне голову мохнатым полотенцем. В полутьме я сначала различаю только ее блестящие, насмешливые глаза и на белом лбу напомаженные завитки. Она вталкивает меня в кухню. Запах кофе бьет в нос. У стола сидят четверо, положив локти на полинявшую клеенку. На столе карбидная лампа и кофейник.
Армандо спрашивает:
— Куда вы их поведете?
— Сначала в Кампас. А там посмотрим
Армандо прикручивает лампу, подходит к окну и вслушивается в стрекотание дождя. Я вижу, как на его лице двигаются желваки. Он бормочет:
— Это собака… Просто бродячая собака…
Я смотрю на путников и называю себя. Их трое мужчин и совсем молоденькая женщина. Два англичанина с мальчишескими лицами, француз средних лет и черноволосая девушка…

— Сеньорита говорит по-испански, как испанка! — восклицает Пилар. — Verdad, senorita Juanita?
[34]

Пилар оборачивается к ней и указывает на меня:
— Сеньор тоже говорит по-испански.
И быстро добавляет сквозь зубы на родном наречии:
— А англичане, уж и не поймешь, что у них за язык. По-французски они, по-моему, знают три слова: «есть», «пить» и «уходить». Ладно уж, простим им это ради вкусного кофе. Налить вам еще немножко, сеньорита Хуанита?
Пилар улыбается мне:
— Я называю ее Хуанитой, но это так, в шутку. Ее зовут Жанна.
* * *
Мы идем к Кампасу. Над нами нависло облачное небо. Улицы тонут в густом тумане. Нас окружает точно вымерший город, где раздается лишь журчание воды и тарахтение дождя о сланцевые плиты крыш. Влажный воздух усиливает аромат цветов. По лицу Хуаниты чертят узор дождевые слезы.
Среди безлюдья мы одни — кучка осторожно крадущихся людей. Где мы? Что происходит? Рамиреса больше нет здесь. Его времена уже в прошлом. Но дух времени не изменился. «Ах, дружище, то, что случилось в Испании, случится и у вас, если вы не спохватитесь вовремя…»
Мы выходим из города навстречу туману. Плотная пелена простерлась над немыми домами.
Внезапный шквал поднялся в пространстве. С запада катится рокочущий гул, ветер рвет облака и свирепо сотрясает леса. В такие минуты Бестеги-отец говорил, что это царь Соломон выходит на охоту. Охота начинается на бескрайних просторах Атлантики, яростный вихрь пролетает от Байонны к Сен-Жан-Пье-де-Пор, от баскских долин к черно-белым склонам Маладетты, от долины Ора к Люшону, а от Люшона к розовым скалам Каталонии. Царь Соломон мчится по просторам вечности. Некогда он покинул храм во время богослужения и пустился вдогонку за косулей, и вот он обречен носиться по пиренейским небесам в погоне за призраком. То не вой ветра, и не стенания ели, и не рыдания водопада — то царь в погоне за своей мечтой. Руки его дрожат от вожделения, пена накипает на губах.
В Сен-Жан-де-Люс и в Сибуре рыбаки, которые ловят тунца, сгибаются в страхе, заслышав гром Охоты. А в Серданье — на другом конце Пиренеев — угольщики и сборщики пробковой коры вздрагивают от воплей безумного царя. Царь безумен. Он трепещет от страсти и гнева. Ржание его коней отзывается в стонах раненой ели, их железные подковы гремят в облаках. Это их мы слышим, когда поваленные дубы с грохотом катятся по скалистому склону к подножию горы.

В Стране басков царь встречает Эстебаиа де Гарибэ; Гарибэ — священник и никогда не был повелителем. Это был ревностный ученый. Он мечтал открыть все тайны, работал день и ночь, и его свечи неусыпно горели над долинами. Пастухи говорили: «Это Гарибэ все трудится, ищет». Торговцы шафраном и пухом смотрели на далекий дом и, понукая своих мулов, говорили: «Это Гарибэ, он ищет разгадку тайны». Но Гарибэ не находил ее. Отчаявшись, снедаемый лихорадкой, Эстебан де Гарибэ призвал Дьявола. И Дьявол явился. Тем, кто взывает к Дьяволу, но избежать кары. И вот Гарибэ подхвачен ураганом. Как безумный, он носится по облачным дорогам, не ведая путей, исступленно ища раскрытия тайн. Руки его дрожат от вожделения, пена накипает на губах.
Мне чудится, будто Бестеги-отец смотрит на меня. Он сидит у очага. Гром Охоты сотрясает дом. В самый очаг вторгаются голоса Гарибэ и Соломона, они взметают синие крупицы сажи, обрывают кровавые лепестки огня. Бестеги-отец закрывает глаза. Его мысли тянутся к скотине, что дремлет в хлеву, к гречихе, что спит на склонах. Его старые руки цвета дерева и меда сплелись на застиранной холстине штанов. Израненные пальцы с корявыми, щербатыми ногтями хранят печать острых скал, колючек и ножа.
* * *
Мы шагаем. Город исчез позади, вой ветра затихает. Вот и дорога на Кампас. Терпеливый дождик усыпляет гору. За спиной я слышу легкое дыхание Хуаны, Хуаниты. За ней идут трое мужчин.
Я велел им следовать за мною шаг в шаг. Я знаю все повороты тропинки, знаю, когда нужно замедлить. Я нащупываю плитки сланца и стараюсь не ступать по щебню. Мы движемся почти бесшумно. Пас никто не видел. Никто не знает, что мы идем наверх, к невидимой границе — скалистой стене. Где-то там ест проход, я в этом уверен. Не может быть, чтобы там не было дороги. Я часто заговаривал об этом с Модестом Бестеги, но пи разу он не дал мне четкого ответа.
— Да что вы, Модест, неужели там нельзя пройти?
— Трудно.
— Но ведь испанцы прошли, а с ними были дети и больные.
— Да, знаю.
— Вы же сами об этом рассказывали и сами удивлялись.
— Это так.
— Стало быть, там есть проход!
— Да, наверное, есть.
— Ведь не могли же те бедняги перелететь через скалы, как птицы. И обходного пути там нет.
— Обходным путем они вышли бы в другом месте. Не к моей двери. А я их увидел прямо перед домом.
— Значит, есть дорога.
— Я не могу сказать, пока не пройду по ней. Может быть, это древняя дорога…
— Древняя?
— Какой-нибудь старинный проход, давно забытый: надо его отыскать. Ведь скалы там стоят стеной. Вы его раз пройдете мимо и не заметите бреши.
Я остановился и вслушиваюсь в шум горы. Ветер унесся, слышно только, как барабанит ливень и крупные капли скатываются, скользя с листа на лист, и шлепаются о землю. Скоро с первым проблеском солнца проснутся птицы. Уже тут и там звенят их голоса. Я различаю трели и робкий осторожный щебет дрозда, малиновки, синицы. На туманном горизонте же вырисовываются черные ожерелья елей.
Голос Пабло Рамиреса продолжает свой рассказ:
— После того как разорвалась там бомба, лейтенант Клаустро и пулеметчик уже не шевелились. Для них война кончилась. А меня охватило неудержимое бешенство, я сам не понимал, что со мной творится. Это была ярость, почти безумие. Я кажется, готов был шагать под огнем, драться против чего и кого угодно за погибших товарищей, за Клаустро, которого я очень любил. Помню, я подумал, что смерть и впереди и сзади. Между тем товарищи видели, как я шел, и стреляли по балкону, прикрывая меня. И вот я вхожу в этот дом. Вижу побеленные известью стены и висящие вкось картины. Беспорядок и кровь. На комоде с выдвинутыми ящиками — пехотная каска. Перед окнами полыхают матрацы,

сквозь дым различаю три тела, лежащие одно на другом… Тошнота подступает к горлу, и в тот же миг мне чудится, будто один из трупов шевельнулся. Граната разорвалась передо мной. Я очнулся в госпитале и услышал, как кто-то рассказывает о гранате. Меня мучила жажда, и я тотчас представил себе спелый гранат, его красные зерна и даже почувствовал их вкус. Я поднес руку к лицу и нащупал бинты. Я был во мраке. Глаза мои остались в Теруэле. Все лицо у меня было заштопано. Хирурги резали меня несколько раз, все пытались спасти мои глаза… Вам здесь и не понять, сколько бед принесла нам эта война. За первые двадцать месяцев от бомбежки погибло больше двадцати тысяч детей. Двадцать тысяч только убитых, а сколько раненых! Пятнадцать тысяч раненых детей. У кого нет руки или ноги, у кого глаза или обоих глаз, у кого пальцев… Я уж не говорю о взрослых. Позднее уже нельзя было подсчитать. Моя семья погибла в Валенсии во время налета. Когда я вышел из госпиталя, я решил вернуться в свою деревню. Только представь себе, Модесто, слепой бродит среди развалин. Протягиваешь руку, чтобы нащупать знакомую стену, и не встречаешь ничего. Ничего — nada Как будто и пальцы у тебя ослепли!

VIII

Как-то осенним утром Огюст Сантенак, один из соседей Модеста, окликнул его близ люшонской дороги, где Модест собирал грибы на своем маленьком поле. Он знал там грибные местечки, откуда уходил всегда с полной корзиной.
Огюст Сантенак шел в город навестить сыновей.
— Эй, Модест! — крикнул он на ходу. — Я встретил твоего испанца, он отправился один в гору.
— Как так? Черт возьми! — ворчливо ответил Модест. — Где же ты его видел?
— На тропе недалеко от озера.
— Что же ты не вернул его?
— Я решил, что он к тебе идет. Я не знал, что ты здесь.
— Он же слепой.
— Да ведь он давно изучил здесь все тропинки. Правда, так далеко он никогда один не забирался.
— Я хотел взять его с собой, но он сказал: «Я устал и посижу у огня».
— Ну, стало быть, передумал. Он шагал довольно уверенно для слепого и как будто знал, куда идет.
— Да куда же ему идти?
— Не знаю. Вот и решил предупредить тебя.
— Что ж, спасибо. Может, ему вздумалось подышать воздухом…
— Он шел быстро, точно спешил куда-то, и на боку у него висел солдатский мешок.
— Мешок?
— Да, мешок. Я с ним поздоровался, но он еле ответил. А ведь голос мой он знает. Я-то думал, что он к тебе торопится…
Огюст Сантенак, старик лет семидесяти, жил вдвоем с женой в Кампасе, сыновья его давно перебрались в долину. Это был низенький человечек, добродушный и услужливый, который часто суетился по пустякам.
Модест бросил собирать грибы и поспешил домой. Он был взволнован сильнее, чем сам себе в том признавался. Рамиресу нечего было делать в горах, и он никогда не уходил один так далеко от селения и даже от дома Бестеги не любил удаляться.
Правда, за последнее время Рамирес изменился. Война в Испании близилась к концу. Республиканцы терпели поражение. Пабло жадно ловил вести с фронтов. Бестеги читал ему газеты, и почти каждый вечер они ходили к вдове по соседству послушать радио. В зависимости от сообщений Пабло то ликовал, то впадал в уныние. На обратном пути испанец пускался в бесконечные рассуждения, цепляясь за малейший проблеск надежды, доказывал возможность перемен на фронте и конечной победы своих. Мысленно он переносился из Севильи в Сен-Себастьян и из Барселоны в Корунью, словно читал глазами карту. Но иногда он подолгу молчал или машинально напевал обрывки каких-то мелодий.

Модест слышал, как он вставал со своей постели и долго сидел без сна. В теплые ночи он выходил и садился на скамью у дверей. Гитара издавала протяжные стоны, хотя он не играл, а лишь слегка поглаживал струны.
Как-то в конце лета произошел необъяснимый случай. Модест спал на кухне, а Рамирес — в нише, отделяющей кухню от хлева. В его каморке места хватало как раз для кровати, стула и этажерки, на которую испанец клал гитару. Теплый южный ветер нагревал гору. Казалось, лето было в самом разгаре. «Люблю я этот ветер, — говорил Пабло, — он дует из моих краев». И он принимался рассказывать о голой, выжженной солнцем Кастилии, о селах, словно придавленных к сухой земле, о косарях, что от зари до зари машут косой, мечтая о вечерней прохладе, о свежей колодезной воде, об отдыхе в тени фиговых деревьев.
В эту ночь Модест встал напиться и долго не мог заснуть. Рамирес мирно спал. Внезапно из его ниши раздался необычный звук: сухой хруст, а за ним протяжный стон, как будто глубокая трещина раздирает дерево или металл. Испанец встрепенулся, сел на своем матраце и сказал, нет, скорее крикнул:
— Моя гитара!
— Ну что там с твоей гитарой? — спросил Модест.
— Этот ветер убил ее!
Модест подумал, не теряет ли Рамирес рассудок. Но испанец объяснил, что от горячего ветра только что лопнули струны и под ними отвалилась подставка. В перегретом воздухе это иногда бывает. Ведь гитара, точно сердце, которое может разорваться от боли.
— Ладно, не убивайся, — утешал его Модест, — мы ее починим.
— Да, мы ее починим, — прошептал Рамирес неуверенно.
Бестеги слышал в темноте, как он гладил хрупкое дерево инструмента и спутавшиеся струны. Через несколько дней гитару починили, но тревога все еще терзала испанца. Потом он успокоился: земляки с равнины зашли поболтать с ним, надежда вновь ожила в его душе. А между тем неизбежная развязка приближалась.
* * *
Бестеги толкнул дверь и бросился к нише. Она была пуста. Исчез и скарб испанца и гитара, которая обычно лежала на этажерке. Модест вернулся на кухню и приподнял крышку хлебного ларя. Сантенак упомянул о вещевом мешке — стало быть, Рамирес захватил с собой еды. И действительно, от ковриги был отрезан большой кусок.
Однако удивление это перешло все пределы, когда на дне ларя он увидел гитару беглеца. Что это означало? Захватить ломоть хлеба на прогулку — это еще можно понять… Но взял хлеб и оставил свою гитару! Никогда Пабло не клал ее сюда, у нее было свое место. Значит, он не просто вышел пройтись. Гитара в ларе означала: я уношу твой хлеб, а тебе оставляю мое единственное сокровище, мне надо есть, а тебе пусть остается на память мой голос…
Модест смутно понял все это и тотчас вышел из дому. От быстрой ходьбы томившая его тревога немного улеглась. Он наверняка догонит слепого на крутой, извилистой дороге. Но он опасался, что любой неверный шаг среди скал — и испанец вывихнет ногу, упадет.
Он встретил старика Помареда с возом листьев.
— Тебе не попался наверху мой испанец?
— Нет, я никого не видел. Я иду с озера.
— Черт! — пробормотал сквозь зубы Модест.
Старик Помаред придержал своих коров и с усмешкой спросил:
— Уж не боишься ли ты, что он заблудится или махнет в Испанию напрямик через хребет?
— Сам не знаю, но он стал какой-то чудной в последнее время.
Бестеги торопливо вышел из селения, пересек луга и направился к ближнему лесу. Этой дорогой он часто ходил вместе с испанцем. Дальше тропа вела к озеру.
Вспомнив об озере, Модест на миг испугался. Но, поразмыслив, он успокоился. Задумай Пабло покончить с собой, он не захватил бы ни хлеба, ни своих пожитков. Припасы нужны в пути, для долгого перехода, а не для смерти. Испанец не собирался умирать, он рвался домой, в Испанию. Ему надоело жить в изгнании, так близко и так недоступно далеко от родины. Модест понимал его. Всегда вспоминаешь землю, где родился, и всегда ищешь к ней путь. Простой запах, солнечный блик на камне, случайно брошенное слово вдруг приближают тебя к ней, и тогда она расстилает перед тобой узорный покров своих нолей и рощ. Бестеги помнил о годах войны и о своей тоске по родным горам. — Он помнил, как

сидел, бывало, на пороге землянки, в грязи или в пыли, обхватив руками колени и опустив голову. Стоило ему закрыть глаза, как он уносился далеко от траншей И спереди и сзади умолкала канонада, голоса товарищей звучали точно издалека, ни стоны, ни смех не доходили больше до его слуха. Война была мертва. Летний ветер окутывал склоны синим потоком. Модест пил из горного ручья. Вкус яблок и ледяной воды освежал его горло. Или представлялся ему полуденный отдых на свежем сене в сарае. Темное легкое сено оседало под тяжестью его тела, за переплетом балок сверкало Солнцем слуховое окошко, пели птицы, и шелестела листва…
Озеро дремало в своей впадине под стражей елей и буков. Влажный осенний ветер пробегал над ним, не оставляя даже ряби. Верхушки деревьев раскачивались волнами в серо-голубом небе, солнце то показывалось, то исчезало.
Модест вскарабкался на высокую скалу и приложил ладони ко рту.
— Эй, Пабло, э-э-эй!..
Его крик отозвался далеко в горах. Имя и эхо взметнулись ввысь, словно две птицы, догоняющие друг друга. Со стороны селения донесся лай собаки. Горец прислушался, покачал головой и зашагал дальше. Если испанец и услышал зов, он на него не ответит, но он не успеет добраться до пастбищ, как Бестеги его нагонит. Ведь не может слепой быстро идти среди скал и леса? А о переходе границы и думать нечего. Самое страстное желание не заменит глаза!
Модест оставил озеро и пошел краем леса. Рамирес мог избрать только эту дорогу. Ему проще идти опушкой, ощупывая стволы и держась все время между зноем и лесной прохладой Углубившись в чащу, он легко мог бы сбиться с пути и кружить среди деревьев и зарослей кустарника.
Каждую минуту Бестеги ждал, что перед ним возникнет смуглое лицо, иссеченное розовыми шрамами, со странными островками растительности у скул, вокруг рта и под подбородком, лицо, заштопанное, как старая маска. В воображении Модест видел уже худую фигуру испанца с поднятой головой, чутко ловящей смену солнца и тени, видел, как он идет, подавшись вперед и следуя за палкой, которая ощупывает почву, протыкая прелые листья Неужели, черт побери, он надеялся добраться хотя бы до подножия последних склонов? «Эй, Пабло, Пабло, друг, уж не спятил ли ты?» — бранился про себя горец.
Лесной массив вытянулся углом в сторону озер. Слева возвышалась гора. Скалистый утес вознесся высоко над деревьями. Бестеги взобрался на него. Здесь, разумеется, он не наткнется на слепого, но сверху легче его заметить.
Так оно и случилось. Хрустнули ветки на прогалине близ опушки, и из густой зелени показался испанец. Он шагал прямо к Испании, подняв лицо навстречу солнцу. Жар лучей указывал ему путь. Бестеги поднес руки ко рту.
Легкий осенний воздух реял над кронами. Чуть пониже струилась прохлада под шелковистым дуновением уходящего лета. Крики птиц слышались реже и звонче. Скоро опустится прозрачная завеса нерушимой тишины, и только изредка отзовется в ней жужжание запоздавшей пчелы, свист сарыча или всхлип водопада. Медовая сладость осени долетала до этих пустынных просторов поникшей и оскудевшей и постепенно таяла в дыхании холода и снегов. Лишь чуткое обоняние могло уловить здесь аромат сухих листьев, малины, белых грибов, лисичек, теплый далекий запах скота и жилищ.
Слепой пересек поляну и вновь скрылся в лесной тени. «Ну, теперь он не уйдет от меня!» — подумал Модест, скатываясь по отвесному склону. Листва колыхалась — то ли от ветра, го ли от движений бегущего. Модест бросился вперед. Если испанец пойдет прямо, он неизбежно выйдет на пастбище, и там среди голых пространств ему негде будет скрыться. Если же он повернет обратно в лес, он наткнется па Модеста. Модест изо всей мочи окликнул слепого и замер. Лес продолжал колыхаться. Потоки нагретого воздуха скользили по листьям и хвое. Словно огненным змей, все ароматы здешних мест устремились через скалы и снега к Испании, чтобы слиться с благовонием граната и жасмина.
Бестеги крикнул еще громче. Рамирес исчез.
* * *
Сколько раз ходил я этой тропой одни или с Бестеги! Я знаю темные извилистые ходы этого леса, его изумрудные черные своды, где на самом верху мерцает, точно витраж, игра солнечных лучей и птиц, а внизу мощные руки кустарников, сухие и зеленые, сплетаясь,

внезапно встают, преграждая путь в бог весть чьи владения. Местами торчат стволы пораженных молнией деревьев. Солнечный свет проникает сквозь них, как через решетку. Их кроны развеялись пылью, и только белые стволы, расщепленные по всей длине, несколько остроконечных обрубков и макушка, обугленная небесным огнем, тянутся ввысь. У подножия деревьев царит полумрак, толстый слой прелых листьев и древесины обращается в бурый прах.
В эту глушь меня манит призрак Рамиреса. Я пробирался по бездорожью чащи к сумрачным лощинам, где давно не ступала человеческая нога. Огромные стволы гнили под покровом сухих листьев Древесина выветривалась, белесая плоть рассыпалась под пальцами. Длинные грибные наросты свисали с трухлявой коры. Я раздвигал стебли трав, как будто надеясь найти последние следы испанца, клок одежды, пожелтевшие кости. И когда я снова выпрямлялся, вслушиваясь в дыхание леса, я уже думал не о трупе. Подобно тому как Бестеги искал своего друга в тот памятный день, я всматривался в листву; и мне казалось, что исполосованное шрамами лицо появится вдруг передо мной в мимолетном солнечном пятне.
Мне никогда не узнать правды. Проще всего предположить, что Пабло отправился в долину к землякам. Но иногда я мысленно вижу, как он бредет в Испанию. Вот он миновал озера и скалы предгорья и достиг самого хребта Вот он шагает по снежным полям. Вдруг жаркий луч солнца ударяет ему в лицо. Он понимает, что склон, который нащупывают его продранные подошвы, ведет в Испанию. Родина лежит перед ним. Он минует еще одну каменную пустыню, и впереди вырастет испанская деревня. В мои мечты вплетается мечта Пабло. За дикими скалами встают дорогие сердцу камни Саламанки и Севильи, оранжевая башня Хиральды и черно-синие воды Гвадалквивира. Каштан и дуб сменяются платаном, кипарисом и лавром, в дыхании ветра благоухают эвкалипт, апельсин и тяжелая лоза Аликанте; запах печеного хлеба кастильских плоскогорий несет с собой тонкий аромат аниса и помидоров Чужая мечта вплетается в мою мечту, и я вижу, как слепой идет навстречу глазам родины…
* * *
Сам Модест Бестеги считал, что испанца загрыз медведь. Рамирес вышел из леса, пока Модест продолжал искать его там. Убегая от друга, он наткнулся на зверя.
От леса к хижине пастуха поднимаются поросшие травой гряды холмов, за которыми легко скрывается идущий. И пока испанец уходил все дальше, Модест метался от дерева к дереву в надежде найти его. Он все глубже забирался в чащу, думая, что Рамирес кружит там. Он звал его на все лады, то крича и бранясь, то дружески и ласково: «Эй, Пабло, каналья, да отвечай же! Я ведь зову тебя, Пабло, эй! Ну остановись же, скажи хоть слово! Пабло, друг, эй, это я… Модесто, который принял тебя в свой дом… Пабло! Тысячу чертей! Я приказываю тебе вернуться! Да откликнешься ли ты, проклятый испанец! Бедняга, куда тебе уйти? Ну отвечай же!»
Чувствуя Пабло так близко, Модест не допускал мысли, что не настигнет его. Сто раз ему мерещилась фигура испанца, но каждый раз это был лишь мираж: поваленное дерево, два кривых сплетенных ствола, ветвь с белеющими листьями, игра света… Старая чаща коварно заманивала его все глубже. Бестеги вздрагивал перед каждым отсветом, каждой склоненной веткой. Если верить предположениям Модеста, то слепой выбрался из леса и дошел до хижины, но он не остановился в ней. Он продолжал идти мимо озер и скал, прямо на горную цепь. Тут-то и появился медведь.
Медведь следил за ним давно, и, улучив подходящую минуту, он ринулся вдогонку одинокому путнику. А может быть, он использовал обычную уловку и выбрал такое место, откуда ветер донес бы до человека отвратительный звериный запах. Испанец, наверное, бросился бежать. Этот запах вселяет ужас, да и на что он мог надеяться, один, слепой, перед свирепым зверем? Бедняга, должно быть, рванулся в сторону и свалился с первого же откоса, разбившись или покалечившись Такова медвежья хитрость. Он применяет этот прием на овцах и даже на коровах. Когда жертва падает в овраг, он возвращается, не торопясь идет к ней и всласть нажирается. От телок он не оставляет почти ничего, кроме копыт и рогов…
Или же, задыхаясь, испанец решился…

Но можно ли вообразить себе такое? Тяжело дыша, испанец пытается защищаться. Вы представляете себе, как он оборачивается, заносит полку? Какая нелепая битва! Слепой против Зверя! Он топчется на месте и прислушивается, стараясь узнать, где его враг. Он ловит запах, хриплое дыхание и лязг челюстей. Он напряженно пытается почувствовать врага всеми порами своей кожи, услышать малейшие вибрации земли под йогами. А медведь ревет и кружится вокруг него. Незрячий борется с медведем. Пабло был способен на это. Но исход битвы был предрешен.
И пока он умирал, Бестеги кричал и метался в обманчивой чаще, в сетях сумрака и света, среди призрачных видений — лица давно утраченной женщины и тени уходящего друга. Ибо в эти минуты те, кого любил Модест Бестеги, слились воедино. Он кричал им обоим: «Отвечайте, где вы! Господи, да отвечайте же! Пойдемте, я уведу вас домой. Мой дом там, внизу, вы знаете его. Он ваш, он твой. Я не хочу возвращаться один… Спускайтесь, вернитесь, откликнитесь, ведь я зову вас!»
Но глаза говорили убедительнее сердца. На каждом шагу манящие очертания превращались в пень, покрытый мхом и плющом, кусты обретали обычную листву, а воздетые руки оказывались оголенными сучьями. В конце концов Бестеги вышел из леса. За поясом у него по-прежнему ждала своего часа наваха.
* * *
Однажды вечером у очага он рассказал мне об этой погоне. Это случилось за несколько недель до тех весенних дней, когда мы начали переправлять здесь бойцов Сопротивления. Мы ели каштаны и запивали их горячим вином. Ветер сотрясал двери. Каштаны лопались в золе. Красные угольки светились в лиловатых языках пламени. За окном мелкий снег запорошил крыши безмолвных домов.
— Когда я подумал о медведе, я вышел из леса, добрался до хижины и открыл дверь. Никого, господи, никого!.. Тогда я отправился дальше к вершинам. Я шел между маленькими озерцами, что там, наверху. Мысль о медведе стучала в моей голове, как свинец в бубенчике. Я не сомневался, что встречу его. Я шагал долго, и, наконец, он показался. Я его видел.
— Вы его видели?
— Вот как вас вижу. Медведь огромный. Он вылез под вечер и зарычал, словно хотел предупредить: «Я тут, взгляни на меня!» Он стоял на другой стороне лощины. Солнце уже садилось, но он был весь на свету; он поднял морду и словно дразнил меня. На груди его я увидел кровь. Кровь… Не лучи солнца, а настоящую кровь.
— Почему же вы не стреляли?
— Я ведь не взял ружья. При мне был только отцовский нож. Я бросился вниз, в лощину. Я не рассчитывал, что он будет меня дожидаться, но я думал, что там, на дне, лежат кости Рамиреса, хоть лоскут его одежды… Я ничего не нашел. Пока я перескакивал с камня на камень, медведь рычал и топтался наверху, у меня над головой. Я облазил всю лощину, затем стал подниматься на другую сторону. Но его уже не было. Я пошел по его следам и даже слышал его. Он вел меня прямо к вершинам хребта…
— К проходу?
— Не знаю. К вершинам. Я шел и сомневался и говорил себе: «Бестеги, приятель, еще ночь не настанет, а медведь сгребет тебя…»
— Ну, а потом?
— Он исчез. Больше я ничего не видел и не слыщал. Я вернулся за полночь и лег спать в своей хижине. Спать — это только так говорится. Разыгрался ветер, а вы знаете, как он свищет там, наверху. Несколько раз я срывался с тюфяка и бежал к двери. Мне все казалось, что за ней стоит бедняга Рамирес, или медведь, или уж не знаю кто…
Когда Модест рассказывал мне про эту давнюю ночь, двери хлопали и пиренейский ветер завывал в дымоходе. Все селение спало, кроме нас.
Я отхлебнул вила и вынул каштан из золы. Модест посмотрел на меня, я не отвел взгляда и спросил:
— Послушайте, Модест, уверены ли вы, что Рамирес погиб от медведя?
— От чего же еще?
— Да полно, от медведя ли? Медведь — зверь опасный, но он не может быть единственным виновником всех бедствий. Граната выжгла глаза у испанца. Он не знал, куда деться от

тоски, он рвался домой. Ведь не медведь же изгнал его с родины. Он любил свою землю, как вы любите свою.
— Я люблю этот край, но в своей судьбе я тут не властен. Хозяин тут медведь. Я мог быть счастлив здесь, но каждый раз, как я находил счастье, у меня его отнимали. У каждого свой враг. Мой враг — медведь.
— Да послушайте, не медведь повинен в том, что эти места оскудели. Просто, когда места дичают, медведь смелеет и приближается к жилью. Если люди отступают перед хищником, тот наступает на них. Стоит запустить яблоневый сад, и соберешь больше дров, чем яблок. Плод делается мелким и невкусным.
— Да, тут я с вами согласен. Деревья любят садовника. Но взгляните вокруг! Кто нынче умеет прививать и подрезывать деревья? Молодые не желают учиться, а у стариков трясутся руки. В прошлые времена этот край кормил в двадцать, а то и в сто раз больше ртов. Поля орошались, распахивались даже верхние склоны. Это уж не вернется. Даже яблони, над которыми трудились некогда старики, давно затерялись в гуще колючих зарослей и одичали. — Вот и я толкую о том же, Модест.
— А все потому, что это медвежий край. Тут остались одни старики и беднота. Да что я плету! Все стали бедняками, а старики так вдвое. Медведь стал хозяином, и уж он не отступится.
— Кто знает? Может быть, люди изменят край?
— Люди ищут, где полегче. Они спускаются в долину, а свой край оставляют хищникам.
— Что ж, они правы: пусть наберутся сил — их тогда снова потянет в родные места.
Я наклоняюсь к очагу, и мне мерещутся в нем новые горы. Но это дружественные горы. Я черчу на них одну дорогу за другой, сажаю леса Я строю дома. Старые селения умирают под водоемами плотин, и тысяча новых поднимаются и растут. Так ли уж это невозможно, господи боже! Свет и сила приходят в долину. Снег превращается в воду и орошает поля, земля снова плодоносит. Заросшие бурьяном сады возрождаются. Хлева наполняются скотиной. Навоз обогащает почву. Я прививаю псе новые каштаны и яблони. Свежий запах доносится с лесопилок. Не смолкает шум ручных пил и бетономешалок. Ватаги школьников перекликаются на дороге. Повсюду возводятся школы. В каждой деревне — своя школа, и каждая школа полна учеников. Я строю дома и коттеджи, сажаю сливы, груши, тополя… Удлиняются и переплетаются дороги, садовники и каменщики проникают все дальше смеете с ними.
— Да, — возражает пастух, — вы говорите красно, прямо как в учебнике. Да к го увидит то, о чем вы толкуете? Кому это суждено? Кругом война, а вы тут выдумываете чудеса. Тут приличной рубахи нет, а вы рассказываете о садах и отдыхе. Не знаешь, как раздобыть пригоршню гвоздей или мотыгу. Ходишь в деревянных башмаках, а сандалии плетешь из крапивы. Уж какое тут электричество, когда не достать и метра провода. Какие уж тут дороги и автомобили, когда нет ни шин, ни горючего. Так и проводишь жизнь между очагом и соломенным тюфяком и доволен, если есть каштаны и картошка. Это еда нищих, а мы и ей рады. Кто же увидит наши сказки?
— Но война ведь кончится, Модест. Кончится, и тогда… Счастье уже не будет улетучиваться, как дым…
И я продолжаю. Я говорю и говорю, вглядываясь в свою мечту в игре пламени. Да, я говорю как по учебнику, я знаю это, но не останавливаюсь. Я вырываю с корнем дикие ростки и сею хлеб, чтобы накормить людей, и песий, чтобы радовать их. Модест не верит мне, опускает плечи и грустно усмехается. Пока я наполняю горы строителями и жнецами, он прислушивается к жалобам ветра. Высоко в небе проносится царь Соломой с несчастным Гарибэ, призвавшим Дьявола.
— У каждого своя мечта, — говорит Бестеги вполголоса. — Вот, например, Рамирес, которого я приютил и потом потерял. Он был незрячим, а стремился дойти до самой Барселоны и до Мадрида. У каждого своя мечта, свое безумие. И я такой, да и вы тоже, когда сочиняете все эти истории с дорогами, с электричеством и стройками.
Ветер с такой яростью рвет дверь, что она того и гляди соскочит с петель. Это песнь одиночества. — Бестеги прислушивается, наклоняется к золе. Он ест каштан и отхлебывает глоток вина. Слегка опьянен, он говорит как-то по-детски:
— Я все вспоминаю старого Помареда.

— Которого?
— Деда Бертрана — того парнишки, который увидел город в озере. Старик был помешан на прививках. Он и меня обучил. Если ему на глаза попадался дичок, он тотчас принимался за него, стараясь заставить его давать плоды, то есть полезные плоды. Старик знал это дело, как никто, но он знал и все прочее, что нужно горцу, — о почве, о ветре, о погоде, о луне. Любое дерево, к которому он приложил руки, оживало и плодоносило — да еще как! Все в округе наперебой звали старика к себе: ему показывали сад и просили привить деревья. У него были искусные пальцы, он умел отобрать нужный росток. Я думаю, он мог бы привить ветку к камню. Он умер, и некому его заменить.
— Но ведь он был человек, а не волшебник.
— Таких умных рук ни у кого теперь нет.
— Этот человек умело обращался с прививальным ножом и хорошо знал строение дерева. Этому можно научить и других.
— В ваших школах вы этому не научите.
— Почему же, можно обучить и еще лучше. Ведь он был не маг, а земледелец. Это был человек, а человек — не животное. Животное неспособно привить добрые плоды. Вот вы говорили о слепом Рамиресе… Сколько есть на свете животных, все они зрячие, но он видел острее их, ибо он мыслил. Кто слеп, Модест? Слепы деревья, камни, вода, огонь, кожа. Вещи не могут думать. У Рамиреса не было глаз, но он сумел преодолеть эту гору и явился к вам в дом.
— Какой вы чудак! В тот раз люди вели его за руку. А вот когда он остался одни, медведь и одолел его.
— Кто знает? Может быть, слепой человек оказался сильнее зверя!

IX

За несколько недель до появления борцов Сопротивления мы провели день у Помаредов: у них резали свинью. Обычно свиней забивали много раньше, в особый праздник в конце декабря или в начале января. Но эту держали дольше: она была малорослая и тщедушная, кормили ее только желудями и каштанами, и, хотя напоследок ей давали кукурузной муки, она так и не нагуляла сала.
Супруги Помаред решили отпраздновать в этот день помолвку их сына Бертрана с Розой Сонье и пригласили нас с Модестом.
Бертран Помаред незадолго до того вернулся из плена. Это был тихий парень себе на уме. Он ухитрился пробраться в эшелон военнопленных, которых отсылали во Францию. Роза и Бертран дружили с детства, и с давних пор все знали, что рано или поздно они поженятся. До свадьбы оставались считанные недели, но, поскольку свинье подошел срок, было решено отпраздновать заодно и обручение, всем хотелось вкусно поесть и провести несколько приятных часов в эти мрачные времена.
Итак, я поднялся в Кампас рано утром в четверг и на рассвете вошел во двор Помаредов. Я хотел видеть, как будут колоть свинью. Еще издали я услышал, как скоблят котлы. Сильное пламя очага освещало порог. Бестеги был уже здесь и точил нож. Мы выпили по чашке кофе и по рюмке и вышли во двор. Холодный воздух пощипывал лицо, стоял небольшой мороз, самая подходящая погода для того, чтобы разделывать тушу.
Мать Розы Сонье, сухонькая женщина в черном, овдовевшая несколько лет назад, несла таз для крови. Она сказала, что свинья всю ночь повизгивала, словно чуяла близкий конец. Бестеги приготовил нож, свинью опрокинули в корыто. Когда свинья замерла в наших руках, Модест точным ударом вонзил клинок в розовое, горло. Он вытащил нож и проворно отскочил, уступая место матери Розы. Сильная струя крови ударила в дно таза. Женщина опустила его на землю и стала размешивать дымящуюся кровь.
За стол сели вскоре после полудня. Туша свиньи висела в сарае. Связки кровяной колбасы красовались на балках. Только филейная часть была отрезана от туши: ее обычно жарят с мелкой картошкой, которую специально хранят на такой случай. Хозяйка подала соленые

белые грибы, сладкие блинчики и большие оладьи различной формы и, конечно, вино, которое старый Помаред раздобыл в гостиницах в долине.
Когда принесли пироги, Помаред воскликнул:
— Черт побери, господин учитель, мы уж и не ждали такого денька! Парень вернулся домой, суженая жива и здорова. Впереди свадьба. Свинья, правда, не слишком жирна, но что поделаешь! Лучше тощая свинья, чем пустая кадка для солонины! Если бы только не война, господин учитель… Будь что будет, а уж как-нибудь дотянем до конца, хоть бы сам черт тут ввязался!
Мы чокнулись, и я подумал, что черт таки крепко ввязался. Но и день и обед удались на славу. Не стоило их портить.
Роза спела «Агнца» и «Лу Буйе» и другие французские и лангедокские песни. Ее тоненький чистый голосок вился серебряной нитью в чаду старой кухни…
Погонщик волов возвратился домой.
Жена со слезами встречает его.
— Скажи, ты больна? Отвечай же скорей.
Похлебку сварю я тебе на огне
И свежей капусты, и репы найду,

И даже худого цыпленка…
[35]

После шумного веселья и соленых шуток наступили минуты молчания и раздумий. День близился к концу, вечерняя синева уже коснулась гор. Когда кто-нибудь выходил, слышно было, как тонкий лед хрустит под сабо. Котлы тихо гудели. Мать Розы Сонье медленно шевелила угли. Может быть, она вспоминала мужа и жалела, что его нет рядом в такой день Бестеги задумчиво барабанил пальцами по гладкому столу. Вероятно, он вспоминал свою свадьбу.
Я принес с собой табак, и мужчины курили без перерыва. Белые завитки дыма тянулись к узким окнам и таяли в вечерней свежести. Головы отяжелели от водки, от жирной и сладкой еды, Серебряная струнка песни разгоняла подступавшую дремоту:
Пойте, флейты ла-ла-ла.
Поднимайся, мельник!
Бей во все колокола
И встречай сочельник!
Та-ра ра-ра, та-ра-ра,
Та-ра-ре-ро…
Я не раз бывал на подобных торжествах, но этот вечер запомнился мне ярче всех других. Как сегодня, я вижу Помареда-отца, приземистого и коренастого; с потным лбом и взъерошенными усами, он сидит, положив локти па стол, громогласно смеется, уснащая свою речь сочными словечками. Рядом с ним кудрявый Бертран с румянцем во всю щеку и ясными глазами благонравного мальчика Он держит за руку свою суженую, и оба то и дело нежно переглядываются Затем Роза встает и подходит к женщинам, собравшимся у очага. Бестеги неразговорчив. Он ест один блин за другим, щедро наливает себе вина и виноградной водки, долго утирает седые усы и обстоятельно скручивает сигарету. Он пододвигает свой табак Огюсту Сантенаку, который Сначала из вежливости отказывается, а потом берет щепоть дрожащими пальцами. Помаред толкует о лесе, о скоте, об одной из недавних зим, когда снегопады отрезали Кампас от всего мира. Потом разговор неизбежно возвращается к войне и общим бедам.
Я уже не разбираю слова. Мне слышатся лишь грубоватые, спокойные голоса и клокотание сала в котлах. Женщины негромко беседуют между собой. В дымоходе чуть слышно гудит ветер. Из уважения ко мне хозяйка поставила на стол стаканы, но пурру ходит по кругу. Гости запрокидывают голову, и розовое вино льется им прямо в рот из узкого стеклянного горлышка пурру. Журчащий звук винной струи перекликается с бульканьем в котлах, тихим смехом женщин, отдаленным пением ветра.
Благодать! Покой. В желудке приятная тяжесть, голова кружится, и я отдаюсь мечтам. Прочь докучные заботы! Пусть завтра приходит беда! Сегодня мы едим первую кровяную

колбасу у Помаредов. Я не замечаю ни забрызганных жиром стен, ни почерневших балок, им узкого оконца, ни расшатанных стульев. Я вижу мирный дом в милых сердцу горах, благоухающий сеном, виноградной водкой и блинами. Через час другой, когда я выйду на улицу, прозрачная тихая ночь окружит меня. Под деревянными мостками, пробираясь между льдистыми корочками, приглушенно зазвенят ручейки. Голос Розы Сонье, свежий, как снег, как мята, поплывет за мной. На чистом небе замерцают звезды, указывая путь к Комностеле. И ветер дохнет прохладой в мои глаза.

Ах, Бертомье, довольно спать.
Давно пора уже вставать.
Смотри, сейчас идут как раз,
Все в пестрых ленточках до глаз,
Три маленьких и чинных
Серьезных господина.
Несут под колокольный звон
Пречистой матери поклон.

Должно быть, я задремал на несколько минут. Когда я очнулся, до меня донеслось слово «учитель», и я прислушался. Разговор шел об учителях, служивших в Кампасе. Сейчас школа была пуста. Последний из них, совсем юноша, проработал лишь несколько недель в начале учебного года и потом уехал неизвестно куда. Кто-то упомянул мадемуазель Буайе. Кто назвал ее? Это имя произнес Огюст Сантенак, жена которого помогала ей по хозяйству. Вдруг я неуместно рассмеялся, и все взглянули на меня с удивлением. Я и сам удивился своему смеху.

— Это я так, вспомнил о белых домах, которые Роза и Бертран увидели в озере Кампас…

— О каких домах? — тихо спросил Сантенак.

— Откуда вы знаете об этом? — изумилась Роза.

— Кажется, Модест рассказал или еще кто-нибудь, — пробормотал я.

— Дома в озере! — воскликнул Помаред. — Ну и вздор!

— Да это так, пустяки, — сказал я и с улыбкой повернулся к молодой чете. — Мне бы хотелось узнать: вы в самом деле видели тогда эти дома?

Задавая свой вопрос, я невольно заговорил наставительным тоном, словно отращивал у доски малышей. И они это почувствовали. Девушка покраснела. Бертран почесал в затылке. Они смущенно переглянулись.

— Подумать только, дома в озере! — повторила мать Бертрана.

— Да, это было еще при мадемуазель Буайе, — пробормотала Роза.

Я понял, что среди присутствовавших только жених с невестой и Бестеги знали об этом. Я сказал, пытаясь загладить неловкость:

— Да ничего, я просто вспомнил одну легенду. Есть много сказок, где говорится о домах и целых городах, затопленных морем. Вот, например, сказание о городе Ис. Давным-давно в Бретонни, в бухте Дуарнене, стоял город, защищенный от моря крепкой дамбой… Кажется, он находился где-то у Пломарша в Финистере, и было это в четвертом или пятом веке.

— Да ведь это небылица… — робко вмешался Сантенак.

— Небылица, или, вернее, легенда, в которой хоть немножко правды да есть. После бурной ночи со своим возлюбленным дочь короля Градлона похитила у отца ключи от дамбы, те ключи, что открывали доступ океану. Она отперла шлюзы, и воды сомкнулись над городом Ис. Бретонские моряки уверяют, что, проходя над этим местом, они слышат иногда перезвон колоколов древнего города, ушедшего на дно морское…

— Так ведь это сказка, — повторил Сантенак.

— Да, это сказка, — подтвердил я, — в разных видах она существует у многих народов.

Я все еще говорил наставительным тоном, и все почтительно слушали меня.

Старик Помаред покачал головой.

— Если этот город вправду существовал, может быть, внезапный сильный прилив разрушил его. А уж потом сочинили историю с королевской дочерью, с ключами и всем прочим.

— Похоже на то, — согласился я. Бертран Помаред кашлянул.

— Мне помнится, мадемуазель Буайе рассказывала нам эту легенду.

— Хотел бы я знать, что с ней сталось, — задумчиво сказала мать Бертрана.

— С кем? — спросил Бертран.
— Да с мадемуазель Буайе.
Старик Помаред подтолкнул Бестеги.
— Эй, Модест, ты спишь? А ну-ка хлебни глоток!
Бестеги смотрел на дверь. Он сидел, опершись локтем о стол и опустив голову на руку. Потухший окурок торчал у него под усами.
— Ветер крепчает, — медленно произнес он — Будет дождь или снег.
Он встряхнулся, высек огонь и, склонив голову набок, прикурил.
— Мадемуазель Буайе, — начал он, — я не знаю…
Он говорил словно про себя, умиленно и тихо. Его голос звучал словно из давно ушедших времен Мы не могли уловить хода его мыслей.
Звучный, полнокровный голос Помареда нарушил его задумчивость:
— Она была помолвлена с парнем из Сен-Годенса, а парень-то женился на другой. И вот тогда она от нас и ушла. Я слыхал, будто она учительствует в Тулузе с тех пор, но сам я ее больше так и не видел. Хорошая была учительница… Теперь она уж не так молода. Она, наверное, как мы… Я имею в виду тех, кто постарше…
Бестеги опять наклонил голову и раскурил погасшую сигарету.
Роза и Бертран влюбленно смотрели друг на друга. Их руки опять сплелись. Им вспомнилось, как они шли по тропинке, залитой июньским солнцем, и над ними парила странная птица с золотистыми крапинками на крыльях. «Роза, Бертран, осторожнее!» — кричала учительница…
Я отпил глоток водки и машинально стал насвистывать песенку о короле Ис: «Напрасно, любовь моя…»
Дверь внезапно распахнулась. На пороге показался рослый старый крестьянин, Казнмир Сулис, однополчанин Помареда. Он поднял руки под своей пастушьей накидкой и стоял, точно огромная летучая мышь, обагренная отсветами огня.
— А! Казимир, вот и ты! — крикнул Помаред. — А ну-ка, хлебни вина и спой нам.
— Я не успел побриться, — сказал Сулис, дотрагиваясь до своей седой щетины. — Я отвозил дрова в Люшон и сейчас прямо оттуда. Думал, обернусь раньше…
— Да ладно, не целоваться же нам с тобой. Пей и пой, чертяка!
Казимир Сулис схватил полный бокал и запел во все горло, мощным и в то же время дребезжащим голосом:
О боже правый!
Как черны Дакийские глаза,
Как будто в них отражены
И полночь и гроза…
— Ах, Сулис, здорово поешь! — сказал Помаред. — За твое здоровье!
— За здоровье молодых! — ответил певец. — Пусть то, что свяжется, вовек не развяжется!
— Вот это правильно!
Сулис раскачивался перед очагом. У него было продолговатое, немного лошадиное лицо, очень густые усы, венец полуседых волос обрамлял его лысину наподобие монашеской тонзуры Подвыпив, он расходился, н его было трудно унять. Он проворно скинул тяжелые сабо и остался в толстых валяных носках Затем он выпрямился во весь рост и затянул торжественно:
Вас, родные хижины,
Я увижу вновь.
Горы Пиренейские,
Вечная любовь!
Все подхватили вполголоса:
Вечная любовь!
Затем Казимир завел шуточную песню, пританцовывая и помахивая в такт указательным пальцем:
У папаши сохранился
Зуб единственный во рту.
Он качается от ветра,
Словно пьяный на мосту.

У папаши и мамаши
На двоих два корешка.
И качаются от ветра
Два испытанных дружка.
— Казимир, спой «Мускатную розу», — попросил Бертран.
— А ну, Казимир, спой-ка нам «Свадьбу блохи»! — сказал Помаред.
— «Рыбацкую», — предложил кто-то.
— «Короля Арагонского», — вставил другой
И Казимир спел песню о том, как король Педро Арагонский отправился в Мюрэ, чтобы сражаться вместе с графом Тулузским против Симона де Монфора. У короля были серебряные латы и золотой шлем, и женщины умирали от любви к нему. На рассвете он прибыл к воротам Мюрэ. Симон де Монфор и крестоносцы, как волки, набросились на него.
Труверы, плачьте, и рыдайте, дамы!
Сражен король, защищавший Тулузу.
Лежит он на лугу цветущем,
И для него окончен бой навеки…
Все внимали дребезжащим, низким звукам песни. Женщины опускали голову. В пальцах мужчин гасли забитые сигареты. Пламя очага осело. Под котлами возвышалась огромная куча тлеющих углей и золы. Испарения и дым застилали потолочные балки. Приближалась ночь.
Бестеги склонился над столом. Теперь он казался мне очень старым. Вместо знакомого сухопарого горца без возраста я видел седого и очень усталого человека, напоминающего тех старцев, что дремлют на скамье у дома, под виноградными лозами, опершись подбородком на суковатую палку. В нем одном воплотились в эти минуты оторванность и заброшенность его родной деревни. Свадьба Розы и Бертрана будет, наверное, последней в этом селении. После них уж некому тут жениться… Белые дома дрожали в сумеречных водах на дне озера.
* * *
Я решил было в тот же вечер вернуться к себе. Но в последнюю минуту Бестеги предложил мне переночевать у него. Я понял, как тяжко ему было толкнуть дверь своего дома и оказаться одному в пустой кухне перед погасшим очагом. Он найдет на столе краюху хлеба и старое, сморщенное яблоко. На него пахнет сыростью, сажей, прокисшим молоком В холодном дымоходе будет посвистывать ветер И из темного угла глянут черные глаза бесследно пропавшей жены и зазвучит давний смех мадемуазель Буайе… Бестеги подойдет к нише, он коснется рукой гитары Рамиреса, и она дрогнет под его пальцами, одушевленная таинственной жизнью.
Я согласился остаться у него, и на лице Модеста снова мелькнула улыбка. Сидя допоздна у жаркого огня, мы долго беседовали. Не о прошлом. Я опять попытался представить себе этот край благополучным и процветающим. Пастух возражал мне, но это не остановило моего красноречия. По мановению жезла сеть дорог пересекала горы и бесконечные вереницы грузовиков двигались по ним. Я даже упомянул о нефти — я где-то вычитал, будто d этих местах предполагаются крупные месторождения. Я создавал оросительную сеть на склонах горы и сажал огромные яблоневые сады.
Бестеги качал головой.
— Ну, опять вы за свое… Слова-то вам ничего не стоят…
Он бросил на меня хитрый взгляд.
— Скажите-ка, неужели вы верите в эти россказни? Или вы придумываете все это ради моего удовольствия?
— Да нет же. Вовсе не ради вашего удовольствия. Я действительно верю в это.
— А вы знаете, сколько тут надо денег?
— Эти деньги воздадутся сторицей. Кто знает? Может быть, в Кампасе когда-нибудь откроют даже две школы…
— Две школы! Вы смеетесь! Мы о таком и не мечтали никогда.
— Бедняки боятся мечтать.

Не успел я закончить фразу, как вдруг Модест встал и направился к двери. Мне показалось, что он нетвердо стоял на ногах. А между тем я никогда не видел его пьяным и знал, что он может крепко выпить и не захмелеть. Как видно, он отяжелел от слишком плотного ужина. Он резко распахнул дверь, постоял, раскачиваясь, на пороге и шагнул в темноту. Он прислушивался.
Затем он обернулся.
— Вы ничего не слышали? — спросил он глухо.
— Ничего. Ветер гудит. — Это не ветер.
— Может, кто-то прошел мимо. Казимир Сулис…
— Нет, это не Казимир, — ответил Модест дрогнувшим голосом.
— Так кто же?
— Медведь.
— Медведь? Да полно, Модест. Во-первых, медведя вы бы и не услышали. Вы же знаете, если бы он явился сюда, он не произвел бы ни малейшего шума…
Я подумал, что мы оба пьяны. Я размечтался о новых дорогах и школах, а ему мерещится извечный враг…
Он взглянул на меня с осуждением: «Вы говорите, а не знаете. Медведя вы не видели и не слышали и не можете судить, на что он способен».
Он вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Я понял, что он обходит вокруг дома. Я услышал его шаги за старыми стенами. Неужели действительно с горы спустился медведь, проснувшийся раньше срока? Все может быть.
Я выбежал из дома. Модест был недалеко. Я увидел его во мраке. Заметив меня, он торопливо сунул за пояс наваху, которую держал в руке.
Другое опасение охватило меня. Не медведь, а человек мог выслеживать нас. Кто-то, кого интересовали мои прогулки по горам и кто, может быть, шел за мной от самого кафе Армандо до селения Кампас. Правда, это было маловероятно. Я давно пристрастился лазить по горам, местные жители привыкли к этому и не обращали на меня внимания.
— Вы что-нибудь заметили?
— Нет, ничего.
— Стало быть, никого и нет.
Модест пожал плечами и вернулся в дом. Он протянул к огню свои длинные ноги и начал скручивать сигарету. Из щели под дверью пробивался ветер. То был не медведь, не человек, то был лишь ветер. Его монотонное, привычное гудение навевало сон.
* * *
Вскоре после этого мне сообщили о прибытии новой группы подпольщиков. Встреча должна была состояться у Армандо. Я решил, что сначала поведу их в Кампас, а там будет видно.
Приближаясь к дому Модеста, я вовсе не представлял себе, что готовит нам это влажное утро, в котором сверкали слезы зимы и зеленели весенние почки.
Жанна-Хуанита… В моих ушах звучит живой, насмешливый голос Пилар: «Сеньор учитель, позвольте представить вам сеньориту Хуаниту…»
Я думаю о Хуаните, стараюсь восстановить в памяти черты ее лица. Она опирается на мою руку, и пальцы ее наливаются тяжестью. По ее просьбе я называю места, где проходим, и объясняю, куда ведут тропинки. Я показываю ей дорогу в Испанию. Дороги, собственно, нет. Есть лишь моя рука, протянутая к завесе тумана и к скалистой стене. Где-то за ней на дальнем конце неведомого прохода лежит Испания. Там сияет южное солнце.
Хуанита опирается о мое плечо. С ее губ слетают невнятные слова. Ей холодно. Густая мгла оседает влажными следами на ее висках. Посеребренные изморосью прядя обрамляют ее юное лицо. Черный блеск се глаз туманит поволока. Сколько ей лет? Молода ли она? А может быть, это женщина из далекого прошлого, ожившая в глубинах памяти?

X

Итак, я шел спереди с Хуанитой. Оба английских летчика следовали за нами в нескольких метрах. Шествие замыкал француз, он немного задыхался. Заметив это, я стал чаше останавливаться. Хуанита карабкалась без труда. Я говорю — Хуанита, так как шутя продолжал называть ее вслед за Пилар испанским именем. Кто, впрочем, знал ее настоящее имя?

Она повязала волосы темной косынкой, лишь несколько черных прядей спадали вдоль щек. Я видел тонкую линию ее носа, влажный, угольный блеск ее глаз. Ей вряд ли было больше двадцати лет. В вельветовых брюках и грубошерстной коричневой куртке она казалась нескладной, но под этой одеждой угадывалась стройная, хрупкая фигурка. Полупустой рюкзак висел у нее за спиной.

Она не собиралась пересекать границу. Ей надлежало лишь проводить трех путников и затем сообщить о возможности перехода границы другими группами.

Англичане совершили вынужденную посадку на юго-западе страны. Им нужно было добраться до Северной Африки. Француз, серьезный, замкнутый человек лет сорока, коротко объяснил нам, что рассчитывал вылететь из Франции несколькими днями раньше, но отъезд его не состоялся. Я понял, что это один из руководителей Сопротивления. Он назвал себя Бенуа, и я не расспрашивал его. Нам заранее сообщили обо всех троих, мы проверили их бумаги, как полагалось. А теперь нам предстояло вести их до границы.

Бенуа скупо говорил о себе, зато оказался очень осведомленным относительно военных дел. По его словам, силы Германии были на исходе. Русская кампания обескровила ее, а во Франции Сопротивление поднималось повсюду.

Мы достигли Кампаса. Селение спало. Возле сарая Помаредов залаяла собака, но, узнав меня, она завиляла хвостом, подбежала и стала тереться о мои ноги. Плотный туман окутал строения, и в трех метрах ничего не было видно.

— Ну как, пришли? — шепнула Хуанита.

— Да, мы пришли в селение. Гора совсем близко, но сейчас она не видна.

Густое облако обволакивало нас и оседало на одежде мельчайшими каплями. Вдруг где-то рядом замычала непоеная корова. Громкий, жалобный вопль донесся точно из глубины пространства. Хуанита вздрогнула. Я увидел, как ее рука потянулась к каменной стене и стала поглаживать ее с безотчетной лаской. Неожиданное мычание в тумане заставило вздрогнуть и меня. Казалось, сама гора жаловалась, взывая к нам о помощи.

На одном из кратких привалов, когда мы подходили к Кампасу, Бенуа рассказал нам о концентрационных лагерях в Освенциме, в Бухенвальде и в других местах… Я уже слышал кое-что об этом, но толком знал тогда очень мало. Опустив голову и разглядывая свои башмаки, он говорил об облавах, о пломбированных вагонах, о сортировке жертв, о мучительной смерти в кремационных печах. Я пытался представить себе эти печи, и в моем воображении возникали огромные двери и черный дым, застилавший небо Германии и Польши…

Мы снова пустились в путь. Скоро у края дороги показался низкий серый дом Бестеги. Теплая волна захлестнула мое сердце. В этом высокогорном селении царил древний мир жилищ и деревьев, простой мир человеческого труду. Люди и скот отдыхали и набирались сил в ожидании восходи солнца. За завесой тумана я мысленно видел эти жилища, словно камни их стен обрели прозрачность и открыли мне их немудреные тайны. Тайн, собственно, не было. Здесь мирно покоились жизнь и любовь, здесь было мясо и молоко, хлеб и сидр.

Мы несли в эту тишину и покой неистовство большого мира. О чем думали эти два летчика с мальчишескими лицами? Они явились с севера, из Шотландии или Уэльса, или еще откуда-нибудь… Они облетели не одно небо, пересекли немало морей и рек, касались своими крыльями охваченных тревогой городов, парили ночью над равнинами, и их самолеты несли вести о бесчисленных трагедиях, страданиях, любви. Эта горстка домов в Пиренеях была для них лишь невидимой точкой на необозримом пути. А человек, поведавший нам об эшелонах смерти и кремационных печах, кто знает, сколько чужих жизнен и скорби таит его память?

* * *

Дверь в дом Бестеги резко отворилась, пастух ждал нас. Видимо, он давно прислушивался к шагам. В очаге ярко пылал огонь, алое пламя дохнуло на нас живительным теплом еще

раньше, чем мы переступили порог. Хуанита вскрикнула от восторга. И тут я увидел, как Модест вздрогнул.
Озябшие люди вошли в кухню я окружили очаг. На лицах появились улыбки. Модест пододвинул скамьи и табуретки. В горячен золе стояли горшки с молоком и ячменным кофе. На столе лежали сало, ветчина, сыр и фрукты.
— Я вспоминаю, как пришли тогда испанцы, — сказал мне Модест. — Было такое же утро. Все повторяется.
Он стал нарезать сало и хлеб, вытер чашки и принес Хуаните плетеный стул. Раскрасневшиеся, улыбающиеся англичане протянули ноги поближе к огню. Француз уселся у самого очага, держа обеими руками чашку, и маленькими глотками пил кофе.
— Будьте как дома! — сказал Бестеги. — Барышня, берите сахар. Вон рядом с вами горшочек с медом. У меня еще есть чернослив. Хотите? Здесь, правда, не как в городе, но зато у нас спокойно.
Повернувшись ко мне, он шепнул:
— Уж нужно было этим английским парням достать куртки подлиннее. Можно подумать, что они носят свои детские пиджачки, в которых шли к первому причастию.
Хуанита сняла косынку и подсела к огню. Ее лоб и рот заалели от пламени, и Модест снова вздрогнул. Его приветливая улыбка застыла, он дернул себя за ус как бы в растерянности и глубоком удивлении. Его мохнатые брови приподнялись. Он сделал шаг в сторону девушки, которая расчесывала свои черные кудри. Потом он овладел собой и, повернувшись к столу, снова принялся нарезать хлеб.
Немного спустя он попросил меня сходить с ним за дровами. Ом хотел расспросить меня. В сарае он положил свою тяжелую руку на плечо:
— Скажите, кто эта девочка? Она испанка?
— Не думаю. Я называю ее Хуанитой в шутку.
— Откуда она?
— Наверно, из Тулузы. Я знаком с ней не больше, чем вы. Она связная.
— Но она местная?
— По-видимому, да. Говор у нее южный.
Рука пастуха крепче сжала мое плечо.
— Вы разве знаете ее? — спросил я.
— Она точь-в-точь… мадемуазель Буайе. Какой та была двадцать лет назад.
— Может, она ей родня? — предположил я.
— Точь-в-точь она сама, — повторил Бестеги.
Он устремил взгляд на свои грязные сабо.
— Девушки в наших краях все похожи, — тихо возразил я. — У них южный тип, они все брюнетки, они…
— Это она, говорю я вам, — прервал меня пастух.
Меня охватило беспокойство.
— Что вы хотите сказать, Модест?
— То, что я вам говорю.
— Она похожа на нее? Как дочь походит на мать?
— Вот именно, и даже больше…
— Что ж, бывают такие совпадения, — спокойно сказал я, как будто не придавая значения смыслу его слов.
А между тем я хорошо понял его. Говоря «это она», он имел в виду не сходство. Он хотел сказать: «Это она, та самая, которую я знал, не дочь ее и не племянница, а она сама вернулась, она как бы воскресла».
В свою очередь, я положил руку ему на плечо.
— Да, они похожи, и этому можно найти объяснение. Мы можем спросить ее…
— Похожи… — глухо повторил он.
— Это, может быть, дочь или племянница мадемуазель Буайе… Что ж тут невозможного! Мы у нее разузнаем.
— Нет, нет, не надо, не стоит. Ничего у нее не спрашивайте. Это не имеет никакого значения. Если мать ее здесь жила, она сама об этом скажет. Ничего не говорите.

Мимолетная улыбка преобразила черты старого горца. Огонек молодости блеснул в его глазах.
— Хорошо, будь по-вашему, — ответил я.
Он взглянул мне прямо в глаза.
— Что она собирается делать, эта девушка? Перейти на ту сторону?
— Нет. Она дождется, пока ее спутники переберутся через границу. Потом она уйдет.
— И где она хочет ждать? Внизу?
— Нет, в городе это рискованно. Ее нужно устроить на несколько дней где-нибудь тут. Может быть, вдова Сонье возьмет ее к себе. Или Помареды. Но лучше у Сонье. Там две одинокие женщины. Они могут выдать ее за свою родственницу.
— Что ж, это дельно. У нас ока ничем не рискует, да и никто не станет ее расспрашивать. Люди здесь надежные. Ну, а этих троих лучше бы отвести в хижину?
— Да, это вернее.
— Ладно.
— Там никто их не отыщет, и они смогут спокойно подождать.
— Ну, а потом? — медленно проговорил Модест.
— Потом придется их проводить.
— Какой дорогой?
— Я еще сам не знаю. Первым делом их надо получше спрятать. А дня через два-три посмотрим.
Бестеги кивнул. Он выбрал дубовый чурбан в глубине сарая и выкатил его за дверь
— Захватите несколько буковых поленьев, — сказал он, — они быстрее разгораются.
Прежде чем откатить чурбан к дверям кухни, он взглянул на меня.
— Если хотите, я проведу их через те гребни.
— Через те гребни? Разве вы знаете туда дорогу?
— Я знаю и дорогу и проход.
— Вы ведь все никак не могли его обнаружить…
— Я нашел его. Недавно.
— Там действительно можно пройти?
— Да, и он ведет на ту сторону, я уверен. Этой дорогой добрались испанцы. Я прошел по ней почти до самого конца. Если вы согласны, я захвачу Бертрана Помареда, и мы их проведем. Это займет не больше шести часов.
* * *
Днем мы сидели над картой. Француз требовал, чтобы ему показали точный маршрут. Я сказал, что надо положиться на Бестеги. По карте ничего нельзя было увидеть. Казалось, нет никакого прохода через эти гребни А между тем он существовал. Испанские беженцы воспользовались им. Скорее всего, это была трещина, узкий извилистый пролом, который вел почти до вершины, а затем спускался уже по испанскому склону.
— Вы доверяете этому пастуху? — спросил Бенуа.
— Абсолютно.
Я говорил искренно, хотя в глубине души я все же удивлялся неожиданной уверенности Модеста. Значит, совсем недавно он все-таки нашел этот пресловутый проход. Впрочем, тут не было ничего невозможного. По словам Бестеги, снаружи он был почти невидим — узкая брешь, куда человек еле мог протиснуться. Затем она расширялась и превращалась в коридор, заваленный обломками скал. Можно было сотни раз пройти мимо входа в эту щель, не подозревая, что она разрезала гору, как нож ковригу хлеба.
— Он надежный человек, — повторил я, — и очень честный.
— Но он не молод.
— Он задыхается меньше, чем мы с вами, и ноги у него крепче наших. Кроме того, он пойдет не один. Молодой парень из местных проводит вас вместе с ним.
Француз и оба летчика улеглись спать. Бестеги отправился предупредить вдову Сонье. Я остался у огня с Хуанитой, которой еще не хотелось ложиться. Она смотрела на раскаленные угли, на губах ее блуждала улыбка. Пурпурный ореол окаймлял ее нежный профиль.
Непринужденным тоном я спросил ее, знала ли она некую мадемуазель Буайе, которая учительствовала в Кампасе после первой войны.

— По возрасту, — добавил я, — она могла бы быть вам матерью. Я — Модест уверяет, что вы очень похожи на нее.
Она посмотрела на меня с большим удивлением.
— Мадемуазель Буайе? Нет, не знаю. В моей семье никто не носил такой фамилии, просто не знаю. Эта фамилия часто встречается…
— Да, особенно в наших местах.
— Верно, но мне она ничего не говорит. Учительница? Она жила здесь одна?
— Да. И пастух был, кажется, влюблен в нее. Во всяком случае, в какой-то степени…
— Он женат?
— Он был когда-то женат, но жена ушла от него. Ее уже не было, когда эта девушка приехала сюда работать.
— Понимаю.
— Может быть, вы не совсем таи это поняли…
— А что стало с этой женщиной?
— С его женой? Она исчезла, и он уверяет, что ее загрыз медведь.
— Медведь? Здесь в самом деле есть медведи?
— Будто бы. Сам я никогда их не видел. Здесь не медведей надо опасаться.
— Да, конечно. Это я знаю.
Она сказала, что ее семья живет в окрестностях Тулузы и думает, что Хуанита продолжает учиться и заниматься испанским языком. Я больше не расспрашивал: тогда каждый говорил о себе лишь то, что считал возможным. Я рассказал ей не много о Модесте, о его долгой уединенной жизни, где царили медведь и образ любимой женщины
Она слушала меня очень внимательно, вглядываясь в змейки пламени и слегка наклонив ко мне голову. Мне хотелось описать простую жизнь Бестеги простыми словами. Это было нелегко. Невозможно в двух словах точно отобразить даже самую несложную человеческую жизнь. И кажется, Хуанита поняла все мои недомолвки. Изредка ее губы, блестевшие от жара очага приоткрывались, тихо произнося: «Да… конечно… действительно…»
Мало-помалу мною овладело странное ощущение, словно фантазии Модеста вошли в мою голову. Эта девушка явилась откуда-то из неведомого прошлого, точно сказочная добрая фея Она говорила рассудительно и спокойно. Ее движения были сдержанны и будничны, но временами блеск ее глаз, хрупкая стройность фигуры под грубой тканью наводили на странные мысли — не чудо ли, не сон ли передо мной… Краткий миг пролетал, и я встряхивался, сердясь на самого себя: «Ты, видно, рехнулся! Фантазия? Фея? Что за пустые слова! Ты проникся бреднями, поверил в призрак вечной жизни, которая парит где-то в туманах! Это просто нелепость!»
Потом мне пришли на память слова одного испанского писателя. Однажды ты проходишь мимо прекрасного лица, самого прекрасного на свете. Ты ждал его всю жизнь, и оно одно могло дать тебе счастье. Но оно мелькнуло и исчезло. И никогда больше тебе не суждено его увидеть.
* * *
На следующий вечер мы опять собрались у очага, и Бенуа снова заговорил о лагерях смерти. Это было при Модесте.
— Да, я встречал много заключенных в наших селах, — скачал пастух.
— Они совсем из других лагерей, — возразил Бенуа. — Я рассказываю вам о лагерях смерти. Нацисты свозят туда мужчин, женщин, стариков, детей…
— И детей! — воскликнул Модест.
— Да, детей. Со всей Европы.
— И что же они с ними делают?
— Убивают. Они уже истребили миллионы.
И своим глухим голосом француз продолжал рассказ. Перед нами возникали ряды колючей проволоки, по которой шел электрический ток. сторожевые вышки, где стояли фашистские солдаты, и живые трупы, живые скелеты мужчин и женщин, бродящих среди бараков.
— И гром не поразит их! — бормотал Модест. — Разве люди способны на такое?
— Да, — возразил Бенуа, — именно люди пытают и мучают заключенных. Вы скажете, что эти люди недостойны называться людьми…

Он говорил о поверках в мороз, о полуголых, изнуренных узниках, которые ждутся друг к другу на снегу, пока конвойный выкрикивает их номера. На руке у каждого выжжено синее клеймо, как у скота. За малейший проступок заключенных вешаюі публично в назидание остальным. Иногда эсэсовцы забивают их насмерть дубинками или прикладами.
— Вы нам говорите о таких преступлениях, которые и вообразить невозможно, — подавленно промолвил Бестеги.
Бенуа продолжал:
— Были вещи и похуже. Гитлеровские врачи производили опыты на заключенных. Или же им объявляли: идите в душ. А душ оказывался газовой камерой…
— Что это такое? — спросил Модест.
— Газовая камера. Людям раздают кусочки мыла и ведут их в помещение наподобие душевой. Но с потолка пускают не воду, а газ, удушливый газ. Как только узники задохнутся, их сжигают в кремационных печах. Кусочки мыла заботливо собирают. Да и не только мыло. В этих лагерях есть целые склады одежды, чемоданов, очков, волос…
— О, замолчите, пожалуйста, замолчите! — прошептала Хуанита.
— Я хотел бы замолчать, — ответил Бенуа, опустив голову. — Но молчать нельзя. Нам никогда не испытать таких страданий, какие выпали на их долю.
— Ей-богу, лесной хищник лучше, — вставил Модест. — Зверь убивает вас и пожирает. Он не пытает свою жертву. А когда зверь сыт, он уходит в свою берлогу.
— Зверь не знает сытости, — добавил Бенуа со смутной усмешкой.
Модест покачал головой, словно размышляя: нельзя поверить всему этому, слишком много ужасов, вы выдумали их, чтобы напугать нас…
— И много народу погубили они таким образом? — спросил он после минутного раздумья.
— Я уже сказал вам — миллионы.
— Миллионы? Значит, больше, чем жителей в Тулузе или Марселе?
— Гораздо больше. Миллионы. Много миллионов. Но даже если бы жертв было меньше, преступление не стало бы менее тяжким.
— Нет, это не люди, — повторил пастух.
— Нет, это именно люди, которые терзают других людей. Вот почему их преступление так велико.
— А удалось кому-нибудь бежать из таких лагерей?
— Почти никому. Это слишком трудно.
— Но есть там такие, кто пытается бороться?
— Да, такие есть.
Модест взглянул на меня, на Хуаниту, потом на англичан и, наконец, на рассказчика. Лицо его выражало полную растерянность.
— Я лучше вскрыл бы себе вены, чем вот так мучиться, — пробормотал он.
— Я встретил одного человека, которому удалось выбраться из этого ада, — продолжал Бенуа. — Он чудом спасся и пробрался во Францию. От него-то я все и знаю. Он рассказывал, например, что, когда в бараке заболевал кто-нибудь, другие заключенные приходили ему на помощь. Каждый отдавал ему одну ложку похлебки. Иногда эта ложка спасала человека.
— Неужели они не могли дать ему больше?
— Вряд ли. Еды едва хватало на то, чтобы самим не умереть с голоду. Нельзя спасать одного ценой жизни других. Им приходилось все тщательно обдумывать и рассчитывать. Впрочем, это просто пример, один из многих.
— Какой ужас! — проговорил пастух, сжимая кулаки. — А известно хоть, где находятся эти лагеря? Разве нельзя послать туда самолеты? Ведь даже разбомбить эти лагеря будет лучше для этих несчастных!
Бенуа затянулся из трубки и, нагнувшись к англичанам, кратко перевел им содержание разговора. Юные лица летчиков омрачились.
Толстое дубовое полено догорало. Фиолетовые и красные язычки огня, вырываясь из бесчисленных пор древесины, лизали обугленную кору. Крюк для котла то блестел, то исчезал в дыму.
Англичане качали головой. Один из них повернулся к Модесту, энергично взмахнул рукой и произнес:

— Гитлер капут! Гитлер капут!
Много лет спустя в зимний снежный день я посетил Освенцимский лагерь. Ряды бараков безмолвно стояли в черно-белой тишине. Я видел своими глазами печи, где сжигались трупы, я видел газовые камеры. Я видел горы волос, очков, чемоданов. Я видел груды туфель, ботинок, отобранных у узников в их последний день. Я видел множество детской обуви. В зимние сумерки я шагал между бараками и перед глазами у меня стояли башмачки уничтоженных детей. Газ «циклон-Б» поставлялся гамбургской фирмой «Тэт и Стабенов». В 1942 и 1943 годах это предприятие отправило одному только Освенциму двадцать тонн «циклона-Б». В тот день, когда этот метод уничтожения был применен впервые, было умерщвлено двенадцать тысяч польских евреев. Я видел ткани из человеческих волос, абажуры из человеческой кожи. Я видел небо Освенцима и его бараки и проходы между ними. В этот вечер лагерь был пуст. В воздухе не стоял тяжелый запах, и в бараках не кишели человеческие тела. Не было изможденных лиц, исхудавших рук, впалых животов. Я перелистал журналы, куда аккуратная администрация нацистов неукоснительно заносила имена заключенных. Имя, национальность, дата рождения. И в снежных сумерках мне чудился шепот миллионов голосов. Поземка сметала снег и поднимала тут и там ледяные вихри. Я видел жалкий скарб тех, кто прибыл в эту обитель смерти. Я видел человеческие кости, кучи гребней, зубных щеток, обручальных колец. Я шагал среди этих останков, не в силах промолвить слово. Слова метались у меня в голове, как ласточки в дыму пожара. О безмолвие, мертвое безмолвие!.. Зимний ветер, черно-белый ветер мчался в тот вечер по земле от Пиренеев до Украины, унося голоса миллионов. Снежинки кружились над виселицей, на которой узники повесили коменданта лагеря.
— Гитлер капут! Гитлер капут! — повторил летчик.
Он улыбался. У него была молочно-розовая кожа, светлые голубые глаза, пшеничные брови и блестящие белокурые волосы. Крепкие, покрытые веснушками запястья выглядывали из слишком коротких рукавов.
Бестеги смотрел на Хуаниту. Нежный девичий профиль выделялся на темных стенах кухни между очагом и буфетом, под источенными балками, с которых свисали связки лука и мяты. Этот профиль напоминал старинную медаль, и на ней, как драгоценный камень, сиял черный глаз. Четкие и чистые линии воплощали совершенство человеческого лица.
* * *
Мне нужно было вернуться к себе на следующий день вечером. Бестеги немного проводил меня. Пройдя несколько шагов, он остановился, чтобы щелкнуть зажигалкой. Он затянулся и спросил меня с притворным безразличием:
— Так что же эта Хуанита, она родня мадемуазель Буайе или нет?
— Она говорит, что нет. Она не знала никого с такой фамилией.
— Вы уверены в этом?
— Насколько это возможно.
— Значит, это она, — прошептал пастух.
— Что вы хотите сказать?
Он снова медленно зашагал, засунув руки в карманы и поворачивая голову налево и направо, словно впервые видел эти места. Ручьи вздулись от недавних дождей, их плеск и звон слышался отовсюду. Холодный воздух пахнул свежей травой и фиалками. Бесчисленные потоки охватили гору сетью журчащих звуков и запахов лопнувших почек. Казалось, даже тень — и та течет между ветвями. Ветер рябил воду и шелестел молодой листвой.
Обсудив дела и повторив для верности все, о чем было условлено, я помахал ему рукой и стал спускаться в долину. Модест тоже сделал знак рукой и остановился на дороге, глядя мне вслед. Я обернулся и еще раз помахал рукой. Я не знал, что мне не суждено было больше его увидеть. Через полсотни метров я опять обернулся. Кампаса уже не было видно. На светлом фойе неба четко и прямо вырисовывался крепкий силуэт Модеста. Потом тьма поглотила его.

Свет озарил мой дом. Его волны затопили дикий виноград и розовый куст перед окном, его лучистые медовые пальцы касались каждой набухшей почки, он заливал мою комнату, покрывал блестящим глянцем темные балки и побеленные известью стены.
Он сиял, как несравненный атлас высокогорных снегов. Молоко и пшеничная мука дали ему свою белизну. Цепкий и неуловимый, мимолетный и бессмертный дух весны наполнил мою комнату. Весна и свет.
Свет шагнул ко мне с горы Кампас, через пространства и утренний туман. Таким был, верно, свет утерянного рая, таким будет он в раю грядущем — в светлой жизни мирного человека. Яркие лучи перебросили сверкающий мост между мной и Кампасом.
Проснувшись, я не мог вспомнить, что видел во сне, и мне казалось, будто я вступаю в сон наяву. Весна бушевала вокруг оголенного серого селения. Распускающиеся цветы заслонили камни. Ростки свежей травы пробились сквозь солому крыш. Вздыхали воды и листья. Раскрылись бутоны на белых акациях, вишни оделись пушистыми цветами.
Кто-то окликнул меня с дороги. Я медленно подошел к окну. Ничто не удивляло меня в это тихое утро.
Я окинул взглядом еще не просохшую дорогу, коричневые и серые крыши, струйку воды над водопойной колодой. Золотистые лучи скользили по сланцу и камешкам дороги и по лицу девочки, которая меня звала.
Это была Алина, ученица приготовительного класса, с черными косами, с красными лентами. Она стояла, как цветочек, под моим окном и кричала:
— Господин учитель!.. Господин учитель!..
— Ну, что случилось?
— Вас просят к телефону.
— Кто просит меня?
— Не знаю.
— Звонят из Тулузы или из Люшона?
— Не знаю.
— А кто звонит?
— Не знаю.
Она не знала и улыбалась в утреннем свете, стоя в своих лакированных сабо. Ветер раздувал ее фартучек, солнце пылало в ее бантах.
Мать велела ей: «Пойди позови учителя». Девочка надела праздничные сабо, разрисованные цветами и листьями, и побежала к школе. Небо синело над горами. Зубчатый край пограничных гребней четко вырисовывался над темными пятнами ельников. Долгие порывы ветра обегали долину от дальних склонов Венаска до развилки дороги на Монрежо.
Я быстро оделся и поспешил в бакалейную лавку, где находился телефон. Я поздоровался с отцом Алины, который выходил из лавки с косой на плече. За селением уже слышался звон кос под ударами точильного бруска. Цветущая трава рядами ложилась па склонах.
«Кто же это звонит? Кто бы это мог быть?» — спрашивал я себя, мысленно отвлекаясь и представляя себе вечера во время сенокоса, когда тихие улицы селения, еще не остывшие от дневного жара, благоухают свежим сеном. Мне виделось, как девушки выходят из темного хлева, неся в каждой руке по ведру с молоком, как они шагают по душистей траве…
Я узнал голос Армандо. Он старался говорить спокойно, но я почувствовал, что страх и тревога рвутся из каждого его слова. Условным языком он сообщил мне, что в Кампас направились немцы, немцы и люшонская полиция. Воинские грузовики уже двинулись наверх, к Кампасу. Кого они искали? Что им было нужно?
* * *
Впереди шагал Модест. За ним англичане и француз. Бертран Помаред замыкал шествие. Пастух указывал путь, юноша следил, все ли спокойно позади. Они вышли в три часа утра, почти ночью. Над темными вершинами стояло безоблачное небо. Модест показал пальцем на Млечный Путь, мерцавший всеми своими звездами, — он вел в Испанию. Компас был не нужен. Тому, кто умеет читать по небу, достаточно взглянуть наверх.

Пастух пустился было своим обычным шагом, но ему пришлось идти медленнее. Англичане поспевали за ним, но француз сразу стал задыхаться.
Позади остались лес и большое озеро, потрескивание ветвей и плеск воды. Модест и Бертран шли молча, настороженно прислушиваясь к каждому звуку и внимательно оглядывая окрестности. Они различали гул ветра, скрип качающегося дерева, шум крыльев хищной птицы или шаги ночного зверя.
Прежде чем пересечь последние луга, где Модест обычно пас овец, он предложил передохнуть и спросил, все ли в порядке. Англичане закурили, француз, прижимая руку к левому боку, вполголоса сделал им замечание по-английски. Модест понял, о чем шла речь, и сказал, что теперь они могут курить спокойно. Никто за ними не следил.
Они снова тронулись в путь, уже по диким скалистым местам. Пастух показал на пограничную гряду гор, возвышавшуюся на светлом фоне неба, и объяснил, что в толще этой неприступной стены пролегает глубокая трещина. Она направлена вкось, и вход в нее очень узок. Лишь подойдя совсем вплотную, можно разглядеть ее начало. Человек может протиснуться туда с большим трудом. Но немного дальше эта щель расширится.
Они сделали еще один привал у каменистого потока, который вытекал из-под скалы, перекусили хлебом и сухим сыром.
Затем они двинулись дальше. Последний отрезок пути перед стеной был самым трудным. Крутые подъемы и спуски чередовались один за другим без перерыва. Огромные скалистые глыбы загромождали все вокруг, и обходить каждую заняло бы слишком много времени.
Изредка Помаред спрашивал Модеста:
— Ты хорошо знаешь дорогу?
— Знаю.
Он смотрел на звезды, окидывал взглядом гребни пограничного хребта и определял путь по прямой.
Им было не холодно, и француз хотел даже снять один из свитеров, но пастух отсоветовал ему делать это.
Наконец Модест, шедший все время впереди, вытянул руку, как бы требуя тишины и внимания. Чего же можно было опасаться в этой пустыне? Вокруг простирались одни только скалы и камни. Нет, жест призывал не к молчанию, он что-то предвещал. Они находились близ прохода, неведомого, таинственного прохода, по которому некогда — впервые с незапамятных времен — прошли испанцы.
— Я ничего не вижу, — сказал Помаред.
— Я тоже, — подтвердил француз.
— А я его вижу, — сказал пастух. — Он здесь, прямо перед нами.
— Да ведь тут просто стена, — тихо произнес Бертран.
Они стояли в ста метрах от входа, на который указывал Модест, но все еще не различали его. Ни один из них не смог его обнаружить. Пастух снова заставил их перекусить и посоветовал одеться теплее: в ущелье будет очень холодно.
Наконец они проникли в него. Первые несколько метров они с трудом двигались по тесной бреши, затем гора приоткрылась. Они пробирались между стенами столь отвесными, словно какой-то гигантский меч рассек толщу хребта, как нож режет пирог. Высоко над их головами в узкой щели неба мерцал Млечный Путь. Ветер завывал в глубоком коридоре, холод пронизывал до костей.
Впоследствии я не раз ходил по этой щели. Я был там днем, был и ночью. Там царит тишина, нарушаемая лишь шелестом и дыханием: то журчит вода, струясь по дну коридора, да свистят порывы сквозного ветра в извилистых ходах. Звуки то замирают, то раздаются отчетливее. В одном месте приходится пробираться через огромный завал. Нагромождение скалистых глыб, гладких, словно вытюженных древним ледником, преграждает путь. Нужно перелезать с одной на другую, перепрыгивать или ползти. Немного дальше высятся чуть не до неба необозримые груды щебня, которые затем уходят в бездонный провал, как бы в самые недра земли. Несколько раз путник упирается в преграду, казалось бы непреодолимую. Он вынужден карабкаться вверх, стиснутый в неровном и почти вертикальном проходе.
Однажды я задержался там допоздна. Млечный Путь — древняя река миров — трепетал между двумя гигантскими скалистыми губами. Я смотрел на небо и думал о Компостеле, о

дороге к Сантьяго. Я старался представить себе, как паломники давних времен шли этим ущельем, повторяя про себя имя Сантьяго. А те, кто не сумел одолеть тяжкого пути, навеки остались в глубоком и тесном проломе среди ропота воды и ветров, и прах их покоился меж черных камней.

Я подумал о слепом Пабло, о том, как он шел здесь в ночной тьме. Гитара, хрупкая фламенка из кипарисового дерева с легким и ясным голосом, громоздилась горбом на его спине. В далеком прошлом другие музыканты проделали этот путь. Виуэлы и мандолы тихо звенели, прижатые к их груди. Виуэлы и мандолы шли к святым местам с юга на север и с севера на юг. Притаившись в их нежных телах, дремали песни, словно птицы. «Иди в Компостелу, брат мой, в Компостелу иди…» Песни пересекали горы. Говорят, что гитара стоит целого оркестра. В ее музыке вам слышится десяток инструментов — струнных, медных, ударных. Гитара — как человек. Но ведь один человек — это целый мир.

Я думал о тех, кто умер здесь под Млечным Путем с именем Сантьяго на устах. О братья мои, братья по мукам во мраке, вы всего лишь песчинки на пути к сияющим небесным светилам!..

Наконец они добрались до выхода из пролома. В сером предутреннем свете Модест Бестеги вновь простер руку. На этот раз он не требовал внимания или остановки, он показывал открывшееся перед ними пространство. Но можно было подумать, будто он велел солнцу залить светом эти просторы, а горе нагнуть спину и облегчить им спуск к бурым испанским землям, к тем неясным далям, где еще спали платаны, эвкалипты и пробковые дубы. И кипарисы, из которых рождаются гитары.

Усталые, продрогшие люди остановились на самой границе. Запиналась заря. Француз тяжело дышал. Бертран Помаред устремил широко открытые глаза на страну, незнакомую ему и столь близкую от его дома. «Вот и Испания, — сказал Модест, — теперь спускайтесь на равнину, никто вас не догонит». Француз разложил карту, и его указательный палец дрожал над запутанным узором линий.

Немного спустя они расстались. Путники пошли вниз, Бестеги и Помаред, стоя на границе, как часовые, смотрели им вслед. Постепенно в серой утренней дымке растаяли очертания их фигур и замерли звуки их шагов. Тогда Модест и юноша перекусили, повернулись к Испании спиной и направились обратно в свое селение. Уже совсем рассвело.

* * *

Кое-что об этих событиях я знаю со слов Бертрана Помареда, кое о чем я догадался сам. Вряд ли я ошибся. Я хорошо знал Бестеги, пастуха из Кампаса, и понимал ход мыслей в его старой голове. Я знал его походку, его манеру стоять, расставив крепкие ноги в подкованных башмаках, привычку всматриваться в скалы и листву, видя то, что скрыто от других. Как все люди, он имел друзей и врагов. Врагом его был медведь, а другом — женщина, образ которой он всегда носил в своем сердце. Всего труднее людям понять, кто настоящий друг и кто опасный враг. Когда человек это знает, ему легче жить.

В предрассветной мгле хищник стал подниматься к одинокому человеку, а тот пошел вниз, навстречу Зверю. Пастух устремляется вперед. Он спускается пружинистым шагом, слегка откинувшись назад, словно для того, чтобы прижаться спиной к крутому склону. Нога скользит, пятка ищет опоры. За поясом, прижавшись к теплому телу, нож, он ждет своего часа. Это тот самый нож с медно-перламутровой рукояткой, наваха, отшлифованная временем.

Зверь поднимается. Вот он рычит и сопит. Камни хрустят под его тяжелыми лапами, он ломится через гущу кустарника. В озерах колеблется его отражение. Лучи утреннего солнца отбросили на землю его огромную тень.

Человек внезапно останавливается. Он понял, что Зверь ищет его. Страх сжимает его сердце, но он обуздывает свой страх: «Молчи! Дай мне добраться до него. Молчи, страх, не мешай мне!» Первая победа одержана.

На рассвете три крытых грузовика выехали из Люшона и с приглушенным ревом направились в Кампас. Старик Помаред увидел их сверху на нижних поворотах дороги. Он шел рядом с телегой, груженной навозом. Капельки росы искрились на его плаще и на спинах коров. Услышав тарахтенье, он подошел к краю обрыва и наклонился. Солнце сверкнуло в просвете утреннего тумана, и Помаред увидел грузовики и смутно узнал солдатскую форму и поблескивание металла. Это каска и оружие. Старик Помаред

поднимает хлыст, чтобы повернуть коров, низкорослых пиренейских коров, годных и для упряжки и для дойки. Животные пятятся, топчутся на узкой тропе. Крестьянин, наконец, поворачивает их к селению и гонит вперед. Он знает, что теперь они и бел него доберутся до хлева, встанут у дверей и протянут морды к сену и теплому запаху своего стойла.
Итак, старик Помаред бросает коров, а сам обгоняет их и спешит в селение, чтобы поднять тревогу. Первым делом он забегает к Сонье, где скрывается девушка из Тулузы, потом к мэру, к Сулисам, к Сантенаку и к другим… Потом он возвращается к дому Сонье.
Люди толпятся перед домом мэра. Слышно, как хлопают двери и ставни. Слышен стук сабо о каменистую почву, их хлюпанье в грязи на тропинках. Коровы мычат, просясь к водопою. Петухи, ничего не ведая, приветствуют восход солнца. Женщины суетятся в кухнях, кое-кто припрятывает деньги. Постепенно туман рассеивается. Солнечные лучи уже золотят верхушки деревьев в лесу. В небе над Кампасом дрожит легкий ободок оранжево-розового света.
Бегая по селу и предупреждая людей, старик Помаред пытался сам себя успокоить. Путники были уже далеко. Они наверняка перешли границу. А сын его и Бестеги спокойно возвращаются в Кампас. Если их хватятся, то ответ дать легко. Они пошли в горы за дровами, для того чтобы прочистить водостоки, чтобы разбросать навоз — словом, по своим крестьянским делам… А чужих никто и в глаза не видал. Пожалуйста, ищите их. Гора большая.
Старик остановился во дворе дома Сонье Ему стало страшно. Капли пота стекали по его щетинистым щекам. Его охватила дрожь. Что надо тут немцам? Что им известно? Кого они ищут? Может, они рассчитывают обнаружить здесь партизан. В деревне никого нет, кроме стариков и старух, да и жилища бедные. Нищета и запустение…
Они станут рыскать, потребуют бумаги, обшарят сараи и хлева. Мэр скажет им: «У нас тут одни крестьяне, каждый занят своим хозяйством». А потом они уедут. Пусть убираются к черту!
Мать Розы окликнула его:
— Эй, Помаред! Где они, эти немцы?
— Они поднимаются. Скоро будут. Где дочь?
— Она тут. Я велела ей остаться со мной. Она хотела уйти в горы с девушкой из Тулузы.
— А девушка где?
— Она ушла в хижину Модеста.
— Одна?
— Одна. А что же делать, скажи на милость? Она не хочет, чтобы ее схватили в деревне.
— Да, пожалуй, так лучше и для нее и для нас. Но одна…
— Роза хотела проводить ее, но я ее не пустила. А вдруг они знают, сколько людей в каждом доме… Сын-то твой где?
— Он с Модестом. За них бояться нечего. Они, наверное, уже спускаются сейчас. Но они еще далеко.
— Как по-твоему, девушка встретится с ними?
— Я уж думаю, не догнать ли мне ее?
— Еще чего! Ты должен быть здесь, на месте.
* * *
Гитара в самом сердце мрака. В ледяном воздухе глубокой трещины под бледнеющими звездами, которые указывают путь в Сантьяго, звенит невидимая гитара испанца, и ветер разносит ее песню.
Я поднимаюсь в Кампас. Солнце преобразило гору. Ясное пиренейское утро, золотистое, как маис, душистое, как гиацинт. Нет ничего нежнее и чище. Разве может этот чистый свет изливаться на муки и преступления? Когда он струится вокруг меня, тоска и страх теряют свою власть и вновь расцветает надежда.
Все вокруг говорит о мирном труде. Я слышу низкое мычание быков в вечерних сумерках, гортанное пение пастухов. Каменотесы и пастухи проходят мимо моих дверей по залитой солнцем тропе. Их длинные тени скользят по стенам дома и высоким розам в палисаднике. Едут телеги, груженные ветками самшита и шиповника, и возы сена. Густая тень от них падает на мой стол. Пряный запах свежескошенной травы опьяняет меня. Перед вереницей

тряских телег выступает горец — фантастический деревенский Ганнибал во главе каравана благоухающих слонов.
Пламя очагов бросает на дорогу алые подвижные цветы ириса и граната. Старушки дремлют у порога под сенью виноградных лоз, доильщицы выносят из хлева ведра голубоватого вечернего молока. На все лады звенит вода; буйно шумят потоки и водопады, приглушенно и робко журчат ручьи под деревянными мостками, огибая обвалившиеся глыбы…
Перекликаясь, петухи приветствуют утро, на мою крышу слетаются птицы, и я слышу щебет каждого горлышка. Вдали грохочет кузница, и под терпеливыми руками кузнеца металл поет свою песню.

XII

— Эй! — тихо окликнул Модест.
Он застыл на гребне и сделал предостерегающий знак своему спутнику.
Он увидел ту, в которой возродился для него любимый образ.
Черноглазая девушка стояла в солнечном свете, словно выросла посреди туманного луга. Пелена тумана закрывала ее до пояса, ее плечи и поблескивающие волосы выступали из стелющегося облака.
Радость наполнила грудь старого пастуха. Все счастье жизни слилось для него в этой девушке. Гора, цветы и плоды, ветер и небо соединились в ней. Ее кожа светилась молочной белизной, губы рдели, как вишня и малина, а волосы были темны, как ели. В ее гибких поднятых руках он угадывал упругость молодых ветвей.
Далеко внизу над туманной пеленой виднелся этот тонкий колосок, легкая былинка. Но лишь одна эта хрупкая веточка существовала для него в необъятном пространстве.
Она приложила руки ко рту и крикнула.
— Это девушка из Тулузы, — пробормотал Бертран Помаред. — Не разберу, что она кричит.
Бестеги замахал на него рукой, и юноша умолк. Голос девушки перелетал с куста на куст, со скалы на скалу, и до мужчин доходили только невнятные отзвуки.
— Что она говорит? — повторил Бертран. — Она нас ищет. — И он мотнул головой. — Внизу что-то случилось, я чувствую.
— Да замолчи ты, — резко оборвал его Бестеги. — Дли прислушаться.
— Я думаю, она пришла предупредить нас. В деревне что-то произошло. Надо скорее спускаться.
— Да, надо подойти к ней.
И они отозвались в два голоса. Девушка услышала и устремилась к ним. То и дело исчезала за кустами дикой малины. Бестеги как одержимый несся вниз. Бертран последовал за ним, и оба с грохотом ринулись по разные стороны скалистого выступа, спускавшегося к лугам, как нос корабля. Они решили, что соединятся друг с другом у подножия этого выступа, где-то поблизости от девушки, которая карабкалась им навстречу, временами окликая их.
Затем девушка исчезла, и раздалось рычание Зверя. Модест ясно услышал его, ошибки быть не могло. Это был он. Зверь искал его. Нужно было покончить с ним раз и навсегда.
Он свернул с дороги и пошел на этот звук.
Нанялась последняя погоня Модеста Бестеги за Зверем. Зверь рыскал в кустах — без сомнения, тот самый огромный медведь. И Модест твердил про себя: «Это мой медведь, тот самый, на этот раз я не упущу его».
Он уже ощущал в ладонях нетерпение охотника, жажду боя и крови. Это были уже не стариковские руки — он узнавал их: твердые, крепкие, сильные Это были руки зрелого мужчины, тяжелые, как орудие труда, как оружие. Голова отдает приказы, руки трепещут в нетерпеливом ожидании. Нож намертво сливается с рукой. Рука становится ножом. Кровь стучит в пей и взывает к крови.
Сокрушительным ударом левой руки он оттолкнет морду, а правая вонзит нож в горло чудовища. Узкий клинок погрузится в мягкую горячую плоть, нащупывая твердую

артерию. А когда лезвие перережет ее, мощная красная струя хлынет на косматую шерсть на неподвижные уже копи и на руки охотника. Медно-перламутровую рукоятку зальет багровая горячая кровь.
Удар кулаком, чтобы отбросить морду, пока правая рука вонзит блестящую наваху. И Зверь падает, чтобы заснуть сном вечности. Так говорил Бестеги-отец, бывалый охотник. Нужно подкрасться к чудовищу сбоку, пусть поднимается на задние лапы, если хочет, лишь бы увернуться от его когтей. Ибо кто попал в объятия к медведю, тот пропал
Бестеги остановился. А Помаред? Помаред спускался к девушке. Ладно, он не станет звать его. Сначала он сведет здесь счет. Помаред ничего не знал о медведе. Ведь медведя надо изучить от морды до хвоста, от клыков до когтей. Ведь это коварное животное не кабан, который стонет и нелепо подпрыгивает, пока его режут. Медведь — охотник. В своих владениях он знает и ветер и почву, и бежит быстрее, и прыгает проворнее человека. Только рук у него нет.
Ветер дул по склону и не мог служить ни человеку, ни зверю.
Модест шагнул навстречу медведю в заросли, откуда доносился шорох листвы. Одинокий камень медленно покатился и замер. И шорох послышался около него.
«Эй!» — рявкнул пастух и вошел в чащу малины и ежевики. Острые шипы впивались в его кожу, но он не замечал их. По некрутому и почти голому склону он добрался до высокого выступа. Он обернулся с мыслью: «Зверь идет за мной по пятам, я дождусь его и нападу первым. Как только он приблизится, я прыгну на него сверху и перережу ему глотку».
Тишина. Бертран Помаред исчез. Девушки не слышно. Ветер, словно вкрадчивая змея, скользил по склону. Модест подумал: «Они убежали в селение — тем лучше». Он спустился к лесу. Зверь все еще не появился; что ж, он настигнет хищника на ровном месте, где удобнее идти.
О брат, не ходи один, даже по знакомой дороге!..
Модест не чувствовал усталости, не чувствовал возраста. Это утро вернуло ему молодость. Настал час битвы с врагом, и душа его обрела долгожданный покой. Всю жизнь он мечтал об этой встрече со Зверем. Никто не знал Зверя, как он, и никто не расправится с ним лучше, чем он. Извечная гордость одинокого охотника воспламенила кровь пастуха. Ему чудилось, будто он слышит песнь счастливой женщины, возвращающейся в свой дом, в свое селение.
В решающий час мозг работает лихорадочно и напряженно. Вся жизнь родной горы встала перед мысленным взором пастуха. И эта жизнь была наполнена радостью, как та поющая женщина. Он увидел все, чем он мечтал обладать: стройный женский стан, белый хлеб, спелые плоды, блестящие кукурузные початки, свежее мясо. Его пальцы словно ощутили цемент новых домов, крепкие балки из дуба и каштана. За цветущим палисадником школы смеялись дети. Лиловатые вечерние тени реяли над гладью озера, и форель сверкала в них стремительными молниями. По заснеженному селению разносился запах тушеного мяса и пирогов, горячих блинов и помидоров. У поворота дороги стояла женщина, та, единственная, и протягивала к нему руки. Все это вернется, если Зверь будет побежден. Он обернулся и увидел его.
Модесту почудилось, будто он видит медведя — ибо, даже закрыв глаза, он видел его — громаду, покрытую бурой шерстью, длинные когти с налипшей землей, ревущую слюнявую морду, нити желтой пены у свирепых белоснежных клыков и глаза, в которых сверкали голод и злобная хитрость.
Итак, он обернулся, ветви раздвинулись, и он увидел его. Краткий миг они стояли лицом к лицу, словно застигнутые врасплох внезапной встречей.
Бестеги смотрел на солдатскую одежду, на блеск каски и пряжки, на черные сапоги и нашивки на вороте.
То был не медведь — не медведь, а человек. Солдат, вероятно, заблудился в горном лесу и добрел до этой поляны. А может быть, он выслеживал кого-нибудь. Так или иначе, он стоял перед ним, держа руку на автомате. Не было ни вони, ни дикого зверя, ни скрежета когтей по древесной коре. То был человек, и он охотился за другим человеком.
Нет, не медведь, одетый в шкуру, окруженный зловонием, а человек в кожаной куртке, в тяжелой железной каске, сжимающий в руках смертоносный огонь.

Немец поднял автомат, и в тот же миг Модест метнул нож. Рука пастуха обрела молодость. Проворным, упругим движением она бросила серебристый клинок. Отцовская наваха, медно-перламутровая наваха прорезала солнечный луч и твердо и точно вонзилась в горло солдата. Брызнула алая струя.

Пастух медленно отер пот со лба. Перед ним в скошенной траве лежал человек. Каска скатилась с головы, и Бестеги смотрел на лицо человека в расплывающемся кровавом пятне.

* * *

Я слышу, как воют собаки и потрескивает горящая солома.

Собаки выли над селением Кампас. Полный отчаяния лай, взрывы и пулеметные очереди сжимали гору тисками страха. Деревня горела. Ветер уже не успевал разгонять черные клубы дыма от подожженных огнеметом домов. Сланцевые плиты обрушивались с кровель в пламя пожара. Кончили свою жизнь дом Сулнсов, дом Помаредов, дом Бестеги. Сгорели стенные часы, сгорела кадка для солонины, сгорели ларь и кровать.

Я видел обугленное пепелище — все, что осталось от этого пиренейского селения. Эсэсовцы рассыпались по деревне, и через несколько минут все пылало. С теми, кто не успел убежать, беспощадно расправились.

Собаки выли в огородах, в садах, вокруг озёра. Потом немцы бросились в лес и к хижинам у пастбищ. Пули изрешетили кору деревьев, раскрошили в клочья листву. Наверно, и теперь еще немало елей и дубов, в плоти которых глубоко засел свинец, посланный человеком. Молоденькие дикие вишни погибли под пулями, как хрупкие подростки. Вместо прививок они получили свинец и огонь.

Старый Сулис, певец, был убит за то, что ничего не сказал о тех, кого укрывала деревня. «Не знаю, — говорил он, — я никого не видел». Очередь из автомата сразила его у калитки сада.

Все эти часы Бестеги провел в одиночестве. Лес трепетал вокруг него нежностью раннего утра, лесными запахами, пением птиц. В просвете между ветвями видно было, как Венаск встает из тумана. Горы просыпались во всей своей первозданной чистоте.

Пастух медленно переводил дыхание. Он нагнулся, поднял свой нож и вытер его о короткую траву. Он отступил в чащу, оглядываясь по сторонам. А вдруг немец был не один? Конечно, он был не один, другие появятся вслед за ним.

Он вспомнил о девушке. Нашел ли ее Помаред? Если он нашел ее, он не должен был возвращаться с ней в селение, наоборот, ему следовало увести ее наверх, и как можно дальше.

И Модест снова пустился бродить по скалам, прислушиваясь, не донесется ли до него шуршание одежды или шаги веревочных подошв по камням. Он не решался крикнуть. Он звал девушку вполголоса, нараспев, заклиная ее, точно свою извечную любовь. Не спускайся, моя хорошая, эти убийцы нападут на тебя… Остерегайся, ягненочек мой, они идут сюда… Я тоже иду к тебе… Видишь ли ты меня? Я уведу тебя по такой дороге, которую им вовек не сыскать…

Вдруг он услышал вой собак, и внезапный порыв ветра донес до него запах пожара. Бестеги содрогнулся, как тополь под первым ударом топора. И тотчас он бросился бежать, низко пригнувшись, петляя то вправо, то влево. В смуглом кулаке он сжимал отцовскую старую медно-перламутровую наваху. Он искал девушку с черными глазами…

Это не вымышленная история. Я сам видел развалины этого селения, и я хорошо знал Бестеги. Я знал его жизнь до самого последнего времени. Все эти события произошли в действительности. Иногда, рассказывая о них, я ловлю в глазах собеседников искру недоверия и иронии, ту искру, которая появлялась в моих собственных глазах, когда пастух говорил мне о слепом испанце и о вечной женщине.

Все это случилось недавно, и сердце мое еще полно пережитым. Я смотрю вниз, на пахучие верхушки кедров. Заходящее солнце заливает багрянцем снега Венаска. В этот мирный вечер я думаю о простосердечных жителях гор. Гитара сгорела, но ее песня жива.

* * *

И вдруг Модест Бестеги увидел глаза девушки. Нет, то были не блестящие ягоды ежевики, не темно-синяя черника или дикие сливы, то были настоящие человеческие глаза, смотревшие сквозь листву. Он мгновенно узнал это лицо и фигуру… Сверкнули искры

драгоценных черных камней, и он тотчас угадал девственную округлость щек, шелковистые волосы, ярко-алые губы, руки, созданные, чтобы баюкать дитя, бедра, созданные для материнства.
Девушка улыбнулась, несмотря на страх. Она окликнула его и протянула свою нежную руку к его старой шершавой руке, чтобы он увел и спрятал ее.
Собаки завыли еще сильнее. Солдаты кричали, точно цепные псы. Орудия приготовились к последнему залпу. И Бестеги поспешно увел любимую…
Некогда здесь звенели тихие переливы гитары. И ничто не смогло заглушить эти звуки: ни яростный лай, ни треск пулеметов. Они говорили о кусочке горного льда в стакане молодого вина, об освежающем молоке белых орехов, об изумрудно-розовых арбузах, о зимнем душистом яблоке и о винных ягодах. И о вечерних беседах под сенью платанов. И о пламени очагов на заре, когда пекут хлеб. И о лепете детей вокруг фонтана на площади, о низкоголосом мычании волов, влекущих возы пшеницы в уже полные амбары.
Небо в последний раз содрогнулось от шквала огня и свинца. Покидая разоренное селение, солдаты были уверены, что эта странная пара — старик и девушка — погибли, как и прочие.
Грузовики с грохотом понеслись вниз, в долину, оставляя за собой дымящиеся развалины. Умолк лай собак, скрылись солдаты, и птицы робко защебетали в листве.
Среди пожарищ я встретил Бертрана Помареда. Тот давний школьник, которому почудились белые дома на дне озера Кампас увидел теперь дома, исполненные мрака и скорби…
Позже Роза Сонье с матерью и чета Помаред сошли в селение. Им повезло: они спрятались, и немцы не наткнулись на них. Но старый Сулис погиб, погибли и многие другие, не успевшие убежать и укрыться…
— А Бестеги? — спрашивал я. — А девушка?
Бертран провел рукой по лбу.
— Я видел их, но потом потерял. Сам не знаю, как это получилось. Я долго блуждал, питаясь их найти.
— Но девушку-то вы видели?
— Ну да, мы оба заметили ее с обрыва, она звала нас. Мы сразу стали спускаться к ней, и я видел, как она вышла из кустов. Мы побежали к ней с разных сторон. А когда я добрался до низа, я не нашел ее и потерял Бестеги. Потом я увидел немца, а за ним н других солдат с собаками. Я спрятался: я ведь не мог отбиваться один от целого отряда. Оки стреляли, а у меня не было оружия. У Модеста был только нож. Я слышал, как лаяли собаки. Мне удалось уйти, и все время я надеялся, что встречу Бестеги и эту девушку…
— А может быть, они тоже спаслись. — медленно проговорил старый Помаред.
— На обратном пути в деревню я искал их следы, — продолжал Бертран, — но ничего не обнаружил.
— Хоть бы знать, вместе ли они, — сказала Роза Сонье, — и живы ли.
— Нужно еще раз подняться и попытаться найти их, — сказал я.
— Живы они или погибли? — дрожащим голосом повторила Роза Сонье.
Мы проискали целую ночь. Мы искали и в последующие дни, и нам помогали жители Кампаса и другие люди из долины. Мы нашли только труп убитого солдата.
Никто больше не видел Бестеги и девушку с черными глазами. Некоторые считают, что они пробрались в Испанию. Возможно, ведь Модест знал дорогу. Другие возражают: Бестеги из Кампаса не согласился бы доживать свой век вдали от родного селения. Третьи думают, что оба они лежат где-нибудь в недоступном месте между скалами в тесной щели. Быть может, они вскарабкались туда уже смертельно раненные и спят теперь, медленно превращаясь в прах. Прах их теряется в песке, смешиваясь с прахом других давно исчезнувших путников. И кто знает, может быть, их погребла та узкая щель, что ведет к Сантьяго. И звездный путь вечно мерцает над их могилой…
Но я — то знаю — они живы. Они живы!
Они невредимо прошли сквозь гору, и ветер доносит до меня их шаги и речи. Они живы, они живы!
Это не бабушкины сказки и не легенды, что завораживают нас у очага, когда за окнами пьется метель. Они живы. Они ускользнули от чудовищ. В зимние вечера я слышу, как они

подходят к моим освещенным окнам. В летние ночи они движутся под сиянием Млечного Пути, окутанные благоуханием хвойного леса Они живы.
Девушка, хрупкая, как колосок, пастух, готовый сражаться голыми руками и не знавший истинного лица Зверя. На дороге в Компостелу их встретили братские теня давних путников. Они живы. Зверь оказался двуногим. И все-таки они живы. Ибо есть хрупкие тени, в которых больше жизни, чем в иных живых существах, одетых в кожу и металл.
Люшон — Париж, 1953–1963

Перевод с французского

Н.Столяровой

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮЛИУС ФУЧИК

(1903–1943) — выдающийся чехословацкий революционный и литературный деятель — родился в пролетарском предместье Праги — Смихове. Детские и юношеские годы будущего писателя прошли в среде рабочих.

С ранних лет Фучик, горячо верящий в человеческий разум, в счастливое будущее человечества, выступает против всего несправедливого и лживого. В школе он отважился выступить против преподавателя закона божьего и был за это посажен в карцер. После этого Юлиус официально отрекся от церкви — это было в феврале 1919 года, когда Фучику едва исполнилось шестнадцать лет.
В 20-е годы молодой писатель ведет большую работу на страницах журналов «Социалист», «Прамен», «Авангард», «Кмеп», «Творба». Он популяризирует в читательских массах прогрессивные книги, пропагандирует имена передовых писателей, пытается сплотить лучшие силы чешской литературы на широкой демократической основе. Метод, которым пользуется Фучик в своей литературно-критической практике, — это всегда метод убеждения, привлечения на сторону рабочего класса всех честно заблуждающихся, ищущих и колеблющихся мастеров культуры. Со временем к этому прибавляются опыт, знание марксистской теории, вместе с которыми приходит и политическая зрелость.
В один из наиболее трудных для коммунистической печати моментов, когда были запрещены центральный орган компартии «Руде право» и ряд других коммунистических изданий, Фучик начинает редактировать журнал «Творба». В короткий срок он превращает этот еженедельник, до тех пор занимавшийся только вопросами литературы и литературной критики, в боевой, широко популярный в народе журнал, служащий делу коммунистической партии. Фучик не устает призывать людей к действию, к активным выступлениям против голода, безработицы, против капиталистического строя. В своих статьях он показывает превосходство советского строя над строем любой буржуазной республики, доказывает неизбежность победы пролетариата в борьбе с буржуазией. Доводы чешского коммуниста звучали убедительно: они были подкреплены опытом народов Советского Союза, с которым Юлиус Фучик познакомился во время своего пребывания в СССР.
Впервые Юлиус Фучик приехал в Советский Союз в 1930 году вместе с делегацией чешских рабочих. Им пришлось тайком пробираться через границу, так как правительство отказалось выдать рабочим заграничные паспорта.
После поездки по СССР Фучик навсегда становится преданным другом советских люден. О них, о бесчисленных героях социалистического строительства, он правдиво и тепло рассказал в сборнике очерков «В стране, где наше завтра стало вчерашним днем». Летом 1931 года перед

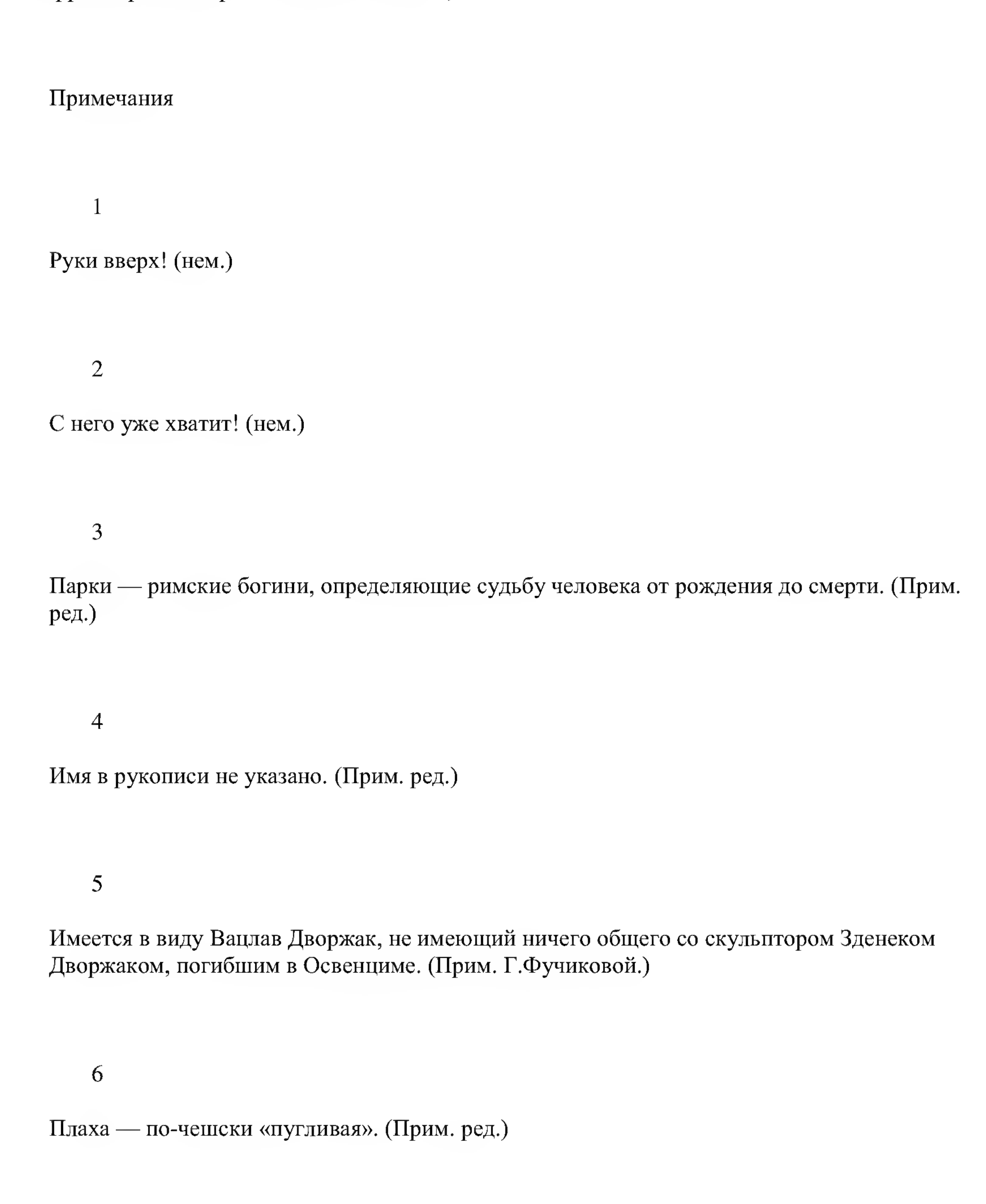
очередным докладом о СССР он был арестован и осужден за пропаганду достижений Советского Союза.
По выходе из тюрьмы писатель упорно добивается опубликования полного текста очерков, а когда это не удается (цензура вымарывает целые страницы, разоблачающие капиталистический режим), Юлиус Фучик издает книгу с точным указанием сокращенных цензурой строк.
В годы гражданской войны в Испании Юлиус Фучик, неоднократно повторявший, что испанские события — это только начало кровавой фашистской агрессии, прилагает все усилия для создания антифашистского фронта. Весной 1941 года Фучик становится членом ЦК Чехословацкой компартии и возглавляет руководство подпольной партийной печатью. Непоколебимая твердость, вера в правоту пролетарского дела и оптимизм пронизывают все статьи подпольных газет и журналов: «Руде право», «Дельшщкие листы», «Табор», «Трнавечек», «Свет проти Гитлерови» и многих других, над которыми не властны были никакие цензоры.
В апреле 1942 года Юлиус Фучик был арестован. Пытки не сломили его воли к борьбе, его веры в коммунистическое возрождение человечества. Его «Репортаж с петлей на шее» — лебединая песня коммуниста-борца, завещание потомкам: искоренять фашизм, бороться за коммунистическое завтра.
«Я любил жизнь и вступил в бой за нее, — писал он, прощаясь с жизнью. — Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы этого не понимали. Кого я обидел — простите, кого порадовал — не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Эго мой завет вам, отец, мать и сестра, тебе, моя Густа, вам, товарищи, всем, кого я любил. Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте. Но не жалейте. Я жил для радостной жизни, умираю на нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби».
Юлиус Фучик был одним из великих гуманистов нашего времени. Гуманизм его носил боевой характер. Поэтому его произведения и по сей день активно борются за лучшую жизнь для трудящихся всего мира.

ГАНС ВАЛЬДОРФ
относится к плеяде молодых писателей ГДР, посвятивших себя приключенческому жанру. Он живет и работает в столице ГДР — Берлине. С выходом в свет романа «Зеленая записка» писатель сразу завоевал популярность широких читательских масс. В прошлом году Вальдорф опубликовал второй приключенческий роман — «Убийца сидел на стадионе Уэмбли», действие которого разворачивается во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Англии в 1966 году.

Написанная на основе реальных фактов, повесть Г.Вальдорфа «Зеленая записка» является своеобразным документальным подтверждением Заявления Советского правительства правительству США от 8 декабря 1967 года, в котором, в частности, говорится: «Чего добивается национал-демократическая партия ФРГ? Прежде всего — открыто выдвигается требование перекройки границ европейских государств… Неонацисты замахиваются на Северную Италию (Южный Тироль), на все территории, где мало-мальски звучит немецкая речь».
Приключенческий жанр, в котором работает писатель, служит для него средством разоблачения буржуазного общества с его неуемной страстью к наживе любыми средствами, вплоть до самого жестокого преступления — убийства. Писатель показывает, что буржуазное государство не в состоянии искоренить фашистскую идеологию и что именно на буржуазной почве растет я размножается бацилла неофашизма.

ПЬЕР ГАМАРРА
(родился в 1902 г.) — известный французский писатель — романист, поэт, критик Один из руководителей журнала «Эуроп», основанного более сорока лет назад Роменом Ролланом. Видный представитель той французской культуры, которая обращена к народу, черпает свои силы в жизни народа, полна ответственности за судьбы народа.

Романы П.Гамарры лиричны и одновременно эпичны, человек в них всегда слит с историей. «Огненный дом», «Полночные петухи», «Дети нищеты», «Женщины и река», «Сирень Сен-Лазара», «Жена Симона» — эти произведения воссоздают трагические и славные страницы предвоенных классовых битв, движения Сопротивления. В них обрисован духовный мир крестьян и рабочих, учителей и школьников. Простые люди, в трудную для страны минуту поднявшиеся к подвигу, — таковы герои романа «Пиренейская рапсодия».
Много веселых книг написал Пьер Гамарра для детей. Его приключенческие повести «Тайна Берлюретты», «Клад Трикуара», «Тайна крылатого змея», «Капитан Весна» переведены па русский язык и очень полюбились советским ребятам
Пьер Гамарра — писатель-антифашист, искренний друг Советского Союза, за многолетнюю и плодотворную работу по укреплению дружбы между народами России и Франции Пьер Гамарра награжден орденом «Знак Почета»,



Примечания

1

Руки вверх! (нем.)

2

С него уже хватит! (нем.)

3

Парки — римские богини, определяющие судьбу человека от рождения до смерти. (Прим. ред.)

4

Имя в рукописи не указано. (Прим. ред.)

5

Имеется в виду Вацлав Дворжак, не имеющий ничего общего со скульптором Зденеком Дворжаком, погибшим в Освенциме. (Прим. Г.Фучиковой.)

6

Плаха — по-чешски «пугливая». (Прим. ред.)

7

Пропуск на выход
(нем.)

8

Ты у меня смотри! (нем.)

9

Отдых
(нем.)

10

В рукописи имя не проставлено. (Прим. ред.)

11

Район Вены

12

Тирольский народный танец. (Прим. пер.)

13

Полотняная обувь на веревочной подошве. (Здесь и далее примечания переводчика.)

14

Добрый день
(испан.)

15

Бог мой
(испан.)

16

Кто знает? (испан.)

17

Господин учитель
(испан.)

18

Благодарю
(испан.)

19

Душенька (испан.)

20

Отвори-ка дверь, тяжела она. Где же, где же ключ от ее замка?
(испан.)

21

Честь
(испан.)

22

Ночь, ирисы, любовь, сердце
(испан.)

23

Любовь, сердце, розы, ночь
(испан.)

24

Кровь, ночь, розы, любовь
(испан.)

25

Да, да, сеньор… Через горы… Очень высоко… Да… Очень трудно… (испан.)

26

Голосом смерти нарушен мир твой, Гвадалквивир, голосом смерти задушен тот голос, что ярче гвоздик. (Гарсиа Лорка, Цыганский романсеро. Перевод И.Тыняновой.)

27

Хорошо, хорошо! (испан.)

28

Друг мой
(испан.)

29

Боже мой! (испан.)

30

Да, представьте себе, сеньор учитель! (испан.)

31

Просто чудо! (испан.)

32

Что за прелесть! (испан.)

33

Чертов сын
(испан.)

34

равда, сеньорита Хуанита? (испан.)

35

Перевод этой и последующих песен сделан Э.Балаевым